

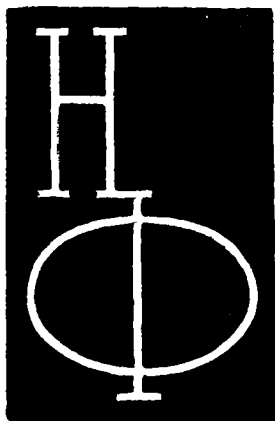


Альманах

научной

фантастики





Альманах

научной

фантастики

выпуск 3

Издательство
„Знание“
Москва 1965

P2
A57

Ольга Ларионова

ЛЕОПАРД С ВЕРШИНЫ КИЛИМАНДЖАРО

Роман

Глава I

... **Б**ирюзовая маленькая ящерка — не больше моей ладони — смотрела, как я подхожу, и пугливо прижималась к шероховатой известняковой плите. Я присел на корточки — она не убегала, а только часто-часто дышала, раздувая светлое горлышко.

— Эх, ты, — сказал я, — микрокрокодил. Сколько лет уже вас не трогают? Тысячи три. А вы все боитесь.

Ящерка смотрела на меня и мигала. Я вдруг поймал себя на мысли, что вот перед одной этой тварью я не чувствовал себя виноватым. И она слушала меня внимательно и спокойно, без того снисходительного всезнайства, которое чудилось мне в каждом моем собеседнике.

— Ладно, пасись, — сказал я ей. — В древности тебя зажарили бы да съели.

Набережная была пустынна. Вымощенная чуть розоватыми плитами и обнесенная причудливым легким барьером, она тянулась от сухумских плантаций до самого Дунайского заповедника, то спускаясь до уровня моря, то

поднимаясь над золотыми плешинами бесчисленных пляжей и иссиня-зеленой дремучестью субтропических рощ. Набережная не изменилась. Она была такая же, как и в годы школьных каникул. Тогда я так же любил гулять по ней в самый зной и шел по широким плитам, стараясь не наступать на трещины. А зачем? Вероятно, в детстве очень легко сказать самому себе: так нужно. И делать, хотя бы это было просто бессмысленной игрой. Так нужно — пройти от этого дерева до того и ни разу не наступить на трещину. Наступлю — это будет плохо. Нужно пройти, не наступив.

Когда люди становятся взрослыми, у них очень много остается от этого детского «так нужно». Наверное, потому Сана и ограничилась корректным запросом о состоянии моего здоровья. Радиозапросом без обратных позывных. Так нужно. Так нужно после того, как одиннадцать лет я просыпался с одной мыслью: жива ли она?

Контуры окаменелых раковин четко проступали на шершавой поверхности камня. Слишком четко.

Как же это я в детстве не догадывался, что эти плиты — синтетические?

С каким-то ожесточением я начал громко топтать по всем трещинам и стыкам этих проклятых плит. Пусть будет мне плохо. Мне и так плохо. И хуже — настолько трудно, что даже любопытно: а как это — еще хуже?

У себя на бугре я читал, что когда-то очень давно люди, доведенные до моего состояния, просто плевали и резко меняли сферу своей деятельности. Вероятно, в корне такого поступка лежали древние представления о несчастьях, как о проявлениях высших сил. Стоило плюнуть — и высшие силы, озадаченные таким знаком пренебрежения к своему могуществу, меняли гнев на милость. Я оглянулся и, не заметив поблизости никого, кроме далекой детской фигурки, плюнул в самый центр изящного лилового отпечатка, напоминавшего морского ежика. Вот вам. Потом круто повернулся, подошел к первому попавшемуся щиту обслуживания и вызвал себе мбиль.

Зачем я так рвался сюда? Ничего здесь не изменилось, только стало как-то удивительно безлюдно. Когда-то, когда я еще учился, даже в самые жаркие дни здесь шатались коричневые оравы, посасывающие суик и каждый час перекрашивающие свои пляжные костюмы. Но за это время, вероятно, медики пришли к выводу, что субтропики —

далеко не идеальные климатические условия для отдыха. Обычная история. Когда-то, лет двести тому назад, зону субтропиков начали спешно расширять в обоих полушариях. Говорят, тогда уничтожили великолепные плантации венерианского суика на Великих солончаках, а вот теперь — пожалуйста, безлюдье. Утром, правда, прилетело откуда-то несколько сотен мобилей; все они сели на воду, так что люди, не выходя на пляжи, ныряли прямо с плоскости носового крыла. Но машины вскоре умчались, и остался я один-одинешенек. Эта стремительность раздражала меня — за последние одиннадцать лет я привык к неторопливости. Поначалу я думал, что эта самая привычка и создает для меня видимость окружающей суеты, но прошло некоторое время, и я убедился, что темп общей жизни действительно возрос по сравнению с тем, что я наблюдал перед своим несчастным отлетом. Что же, и так когда-то было. Давно только, в начале строительства коммунистического общества. Со всем энтузиазмом, присутствующим той героической эпохе, люди начали это делать за счет своего долголетия: дышали парами разных эфиров и кислот, ртуть использовалась чуть не в каждой лаборатории! Неужели не могли изготовить миллионы манипуляторов? Как-то трудно себе представить. Гробили себя от мала до велика — от лаборантов до академиков. И героями себя не считали, и памятников погибшим не ставили. А гибли... И атмосферу испортили — две с половиной сотни лет не могли вернуть ей прежнюю чистоту. И обошлось это в такое количество энергии, что подумать страшно, даже при современных неограниченных ее ресурсах. Хотя — «неограниченных»... — громко сказано. Помнится, Сана говорила, что для запуска «Овератора» пришлось копить энергию на околоплутониевых конденсаторах чуть ли не восемнадцать лет... Да, точно, восемнадцать. Начать эксперимент должны были вскоре после моего отлета — не удивительно, что старт маленького ремонтно-заправочного корабля остался незамеченным. А было время, когда о запуске даже самой незначительной ракетки весь мир говорил не меньше недели! Мы же улетели без шума, где-то на спасательном буге — вот ведь ирония! — потеряли корабль и людей, и только через одиннадцать лет о нас удосужились вспомнить. А может, зря спасали? Остался бы я там, все Элефантусу было бы спокойнее. А то теперь, по всей вероятности, старик себе места не находит: выхаживал, нян-

чился, и вот нате вам — пациент взял да из благодарности и удрал.

Мобиль давно уже повис надо мной метрах в десяти, а я и не заметил, как он появился. Раньше мобили спускались на землю и подползали к самому щитку. Тоже мне модернизация. Что тут полагается делать? Ага, вот так, наверное. Панелька со стрелкой вниз — правильно, мобиль опустился рядом. Я невольно шарахнулся, хотя должен был бы помнить, что ни один, даже самый простейший мобиль не опустится на живую органику.

Раздвинулось и тотчас же сомкнулось за мной треугольное отверстие бокового люка. Я развалился на прохладном белом сиденье. Ладно. Буду учиться быть благодарным.

В алфографе я нашел координаты Егерхауэна — северо-восточной базы Элефантуса. Набрал шифр, и мобиль помчался сначала по прибрежному шоссе, а потом резко набрал высоту и взмыл над Крымским плоскогорьем, выбирая кратчайший и удобнейший путь.

Спустя десять минут другой мобиль поднялся всего в нескольких сотнях метров от того места, откуда взлетел я. Так как все мобили службы общего транспорта имели идентичные решающие устройства, второй мобиль полетел по той же самой трассе, что и мой, и с теми же локальными скоростями.

И прибыл он тоже в Егерхауэн.

Вероятно, Элефантусу понадобился весь такт, чтобы встретить меня с такой, я бы сказал, сдержанностью. Он качал своей птичьей головкой, глядя, как я подхожу к маленькому домику стационара, и огромные его ресницы печально подрагивали, как у засыпающего ребенка. Я подошел и остановился посередине дорожки, глядя на него сверху вниз. Он все молчал, и мне стало невмоготу.

— Спросите меня о чем-нибудь, доктор Элиа. Разве вас не интересует, где меня носило?

Элефантус поднял на меня глаза и опять опустил их.

— Меня носило на побережье. Черноморское.

Он опять промолчал. Я расставил ноги и заложил руки за спину. В детстве, когда я хотел казаться независимым, я принимал эту позу.

— Вы помните свои каникулы? Два рыжих, солнечных месяца, два месяца свободы и моря... А знаете, на что я

тратил эти два благословенных месяца? Я посвящал их плитам. Тем самым, которыми выложены набережные. Я шагал по ним и старался только не наступать на линию стыка двух плит. Я твердо верил, что если я это сделаю — со мной произойдет несчастье. Такой уж уговор был между нами — между мной и этими розовыми плитами. Они были немного шире моего шага, и порой мне приходилось пускаться бегом. А сегодня они вдруг оказались для меня узки. Глубокая философия, не правда ли? К тому же, я открыл, что они...

— Потрудитесь, пожалуйста, перечислить тех людей, с которыми вы разговаривали.

— Я был один. Мобиль, набережная, мобиль.

— М-да,— сказал он и, повернувшись, засеменил к дому. Я двинулся за ним. Он остановился.

— Извините меня,— тихо сказал он, и я понял, что идти за ним не надо.

Черт возьми, похоже, что я обидел старика. Но каким образом? Что-нибудь брякнул и сам не заметил? Да, называется одиннадцатилетнее пребывание в обществе автоматов. Мои «гномы» воспринимали лишь физическую сторону всякой информации, им нельзя было рассказать о теплых известняковых плитах. И вот первый человек, которому я попытался приоткрыть что-то свое, человеческое, не понял меня и, вероятно, принял все за неуклюжую шутку сорокатрехлетнего верзилы.

Маленький солнечно-желтый мобиль вынырнул из-за остроконечного пика и, круто спланировав, опустился за домом Элефантуса. Я немного успокоился — значит, это не я так расстроил старика. Просто он кого-то ждал. И все.

Патери Пат вылез из домика и тяжело зашагал ко мне. Багровое лицо его было мрачно в большей степени, чем я к этому привык за те десять дней, которые провел в доме Элефантуса. Он дернул головой, что, по всей вероятности, должно было означать «Пойдем!». Я пошел за ним. Патери Пат молчал, как и Элефантус.

— Патери, дружище,— сказал я не очень уверенно,— я и без твоей мрачной рожи понимаю, что я — свинья. Зачем же это подчеркивать?

Патери Пат продолжал идти молча. Мы свернули к маленькому легкому коттеджу с площадкой для мобильных на крыше. Мой спутник медленно повернул ко мне свою массивную голову:

— Ты потерял полдня,— с расстановкой, как автомат, произнес он.

Я остановился. До меня не сразу дошел смысл. А потом я захохотал.

Мягко и стремительно, как кошка, Патери Пат повернулся ко мне. Непостижимое бешенство промелькнуло в его взгляде, в его плечах, слегка подавшихся вперед, в его шее, наклонившейся чуть больше обычного. На мгновение мне показалось, что сейчас он бросится на меня. Но Патери Пат выпрямился, протянул руку к коттеджу и коротко сказал:

— Твой.— Повернулся и быстро исчез за поворотом дорожки.

Я шел по скрипучему гравию и не переставал смеяться. Милый, нелепый мир! Он сразу стал для меня прежним. Нет, надо же — человеку, который потерял одиннадцать лет, сказать, что он потерял полдня!

У входа меня поджидал маленький серо-голубой робот. Небольшое число верхних конечностей — всего две — навело меня на мысль, что это не обычный «гном» для расчетно-механических работ. Я заложил руки за спину и критически оглядел его «с ног до головы».

— Что вам угодно? — быстро спросил он мужским голосом.

— Мне угодно знать, кто ты и зачем ты здесь?

— Робот типа ЭРО-4-ММ,— скороговоркой отрекомендовался он.

Он, вероятно, думал, что я в школе проходил все типы роботов. Ладно. Поглядим, на что ты способен.

— А ты не можешь говорить помедленнее?

— Нецелесообразно. Я должен в кратчайшее время подготовить вас на механика-энергетика простейших устройств.

— Ага,— сказал я,— теперь понятно. Яйца курицу учат.

— Не вполне корректно,— неожиданно обиделся этот тип.

— А делать замечания старшим — это корректно? — взорвался я. Со своими «гномами» я привык не церемониться.

— Извините,— кротко ответил он.

— Кстати,— пришло мне в голову,— как я должен тебя звать?

— Как вам будет удобно.

— Тогда я буду звать тебя «Педель». Не возражаешь?

— Я не возражаю. Но что это такое?

— На языке древних это означало: учитель, наставник.

— Благодарю вас. Но должен предупредить вас на будущее, что древние языки не входят в мою программу.

«Ну и черт с тобой», — подумал я, но уже не произнес этого вслух. Мне хотелось отдохнуть. Километров двадцать я все-таки сегодня пробежал, это много с непривычки.

— Ты можешь быть свободен, Педель, — сказал я.

— На какой срок? — бесстрастно осведомился он.

— На шесть часов тринадцать минут сорок шесть секунд.

Не поворачиваясь, Педель заскользил к двери.

— Постой!.. Ты уже познакомился с доктором Элиа?

— Да.

— Сколько ему лет?

— Сто сорок три. Уже прожито.

Забавное создание — никакого чувства юмора. Мне показалось, что если бы я спросил, сколько еще осталось прожить Элефантусу, он ответил бы так же точно и спокойно.

— Ну, проваливай.

— Кого, что?

— Ступай, говорю.

И все-таки это лучше, чем Патери Пат.

Не спалось. На Земле мне вообще не спалось. Пока я летел сюда в крошечной, с многослойной защитой, ракете, какое-то специальное устройство внимательно следило за тем, чтобы я регулярно отсыпал шесть часов в сутки. Как только проходили следующие восемнадцать часов, меня начинало клонить ко сну. Непреодолимо, неестественно. Это раздражало, как всякая назойливая и непрошенная забота, но сделать я ничего не мог: за четыре месяца путешествия я так и не обнаружил этого проклятого «морфея». Позаботились бы лучше о создании элементарной гравитации: приходилось спать, пристегнувшись к скобам нижнего люка.

Я сдернул подушку и улегся прямо на ковре. Одиннадцать лет я проспал на полу — там, на буге, центральные помещения не были приспособлены для жилья. Это были склады и аккумуляторные.

Там Земля мне снилась редко. Чаще мне чудилось, что я все лечу и лечу и лечу неведомо куда, и всегда — один. Я жгуче мечтал, что за мной прилетят люди. А прилетели все-таки роботы. Видно, такой уж я невезучий. И снова я стал мечтать, теперь уже о том, как меня встретят... Встретили меня, мягко говоря, сугубо официально. Человек десять-двенадцать в защитных балахонах и масках, словно я был по крайней мере контейнером с каким-нибудь симпатичным изотопом. Я докладывал, а они смотрели на меня с таким видом, словно это все было им хорошо известно. Потом один из них спросил меня, не предпринимал ли я попыток спасти тех, четверых, что остались наверху. Я только пожал плечами. Нет, они не были подробно осведомлены о том, что произошло. Но тут самый низенький из них — это был Элефантус — решительно запротестовал, и меня в огромном мобиле — вероятно, с сильной защитой — привезли сюда. Мне сразу бросилась в глаза невероятная скорость, с которой мчался мобиль, так же, как и то, что сами люди двигаются, разговаривают и, похоже, даже мыслят с какой-то усиленной интенсивностью. Мне не у кого было спросить о причинах этого, потому что Элефантус был всецело поглощен исследованием моего состояния, а с Патери Патом я определенно не мог сойтись характером. Десять дней он крутил меня так и этак, все искал, не стала ли моя брменная плоть аккумулятором того неведомого излучения, которому подвергся наш буй. Но бедняге не повезло. Надо было знать, с кем связываешься. Моей невезучести всегда хватало не только на меня одного, но и на двоих-троих окружающих.

Не успел я как следует освоиться в новом жилище, как загудел входной сигнал. Видно, те, кто пришел, думали, что я сплю, и потому не воспользовались люминаторами. Я старался представить себе, кто бы это мог быть. Может, Сана?..

О, несчастный день! У двери домика застыла все та же темно-лиловая туша.

— В чем дело, Патери? И к чему эти церемонии с сигналами?

— Доктор Элиа приглашает ужинать.

— Весьма благодарен, но ты мог сообщить это по фону.

Патери Пат глянул на меня как-то искоса, как смотрят на людей, которые могли бы о чем-то догадаться.

— В твоём домике фон не работает. Завтра починят.

Я понял, что его не починят и завтра. Вернее, не подключат. Вот только почему?

— А другого сарая для меня не найдется?

— Пока нет. В соседних коттеджах размещены обезьяны и кролики, которые летели вместе с тобой.

Час от часу не легче. Четыре месяца я летел вместе с целым зверинцем и даже не подозревал об этом.

— Постой, почему же они не передохли? Кто с ними нянчился?

— «Бой».

Очень мило! Мне так не хватало элементарного комфорта, а робот для бытовых услуг был предоставлен не мне, а моим четвероногим спутникам.

— А могу я поинтересоваться, для чего была затеяна эта игра в прятки, да еще и со зверюшками, как на хорошем детском празднике?

— Проверка. Ты мог аккумулировать неизвестное излучение. А оно, в свою очередь, оказало бы необратимое влияние на другие организмы.

— К счастью, я даже в этом оказался абсолютно бездарен.

— К счастью.

— Но теперь-то вы уверены, что я могу свободно общаться с людьми?

— Отнюдь нет. Воздействие сказывается месяца через два-три. Зараженный организм как бы проходит инкубационный период. Потом — распад тканей, в первую очередь — сетчатки глаза.

— Необратимый?

— Пока — да. Мы можем пока только задержать процесс; остановить, обратить — нет.

— Постой... А откуда это тебе известно?

Патери Пат замялся. «Сейчас солжет», — безошибочно определил я.

— На трассе Венера — астероид Рапс под аналогичное излучение попал буй с контрольными обезьянами.

Мы оба понимали, что это неправда.

— Ладно. Спрошу у Элефантуса.

— Не стоит, — живо возразил Патери Пат, — не забывай, что если кто-то из нас уже заражен, то это он.

— Или ты.

— Не думаю. Я осторожнее.

Внезапно меня осенило. Багровая рожа Патери Пата явно носила следы какого-то недавнего облучения. Защитный слой! Модифицированные клетки противостоят любым лучам в несколько тысяч раз сильнее, чем обычные. Он носил как бы скафандр из собственной кожи. Тогда, до моего отлета, уже ставились такие опыты, и я читал о первых положительных результатах. Видно, за эти годы ученые сумели добиться полного защитного эффекта, но вот сопровождающий его колористический эффект... Да. Я бы предпочел остаться неосторожным.

Я тихонько глянул на Патери Пата. Он шагал вразвалку, огромные кулаки, обтянутые фиолетовой кожей, мерно качались где-то возле колен. Ничего себе монолит, ходячий символ единства физической силы и интеллекта.

— И сколько я еще буду тут торчать?

— Месяца три. Ведь четыре ты уже провел с обезьянами. И потом, как скоро ты освоишь новую профессию.

— Ну, положим, не совсем новую. Кое в чем я могу дать сто очков вперед своему Педелю.

— Кому?

— Тому субъекту цвета голубиноного крыла, которому поручено превратить меня из неуча в полноправного члена вашего высокоинтеллектуального общества.

Патери Пат промолчал. Но по этому молчанию я мог догадаться, что он отнюдь не возражает против такого самоопределения, как «неуч».

— Ладно,— сказал я.— Пойдем, закусим на скорую руку, а там я примусь за науку с упорством египетского раба.

— Египетские рабы не были упорными. Их просто здорово били.

— Милый мой, а что ты со мной делаешь?

Обед в доме Элефантуса проходил мирно. Хорошо еще, что всеобщая торопливость не коснулась процесса еды. Но зато, как я понял, обеденное время стало теперь и временем отдыха. Сразу же после еды все возвращались на рабочие места. Как при такой системе Патери Пат умудрялся оставаться толстым, для меня было загадкой. Что касается меня, то бессонница и постоянное наблюдение Элефантуса и Патери Пата благотворно сказывались на стройности моей фигуры. Я с невольной симпатией

посмотрел на Элефантуса. Гибким и легким движением он принял у «боя» блюдо с жарким и, как истый хозяин дома, неторопливо разрезал великолепный кусок мяса. Натуральное вино, только земные фрукты. Олимпийское меню. А вот Патери Пат, как ни странно, вегетарианец. Между тем, я нисколько бы не удивился, если бы увидел его пожирающим сырое мясо с диким чесноком. Словно разгадав мои мысли, он исподлобья глянул на меня. У, людоед: обсасывает спаржу, а сам, наверное, мечтает...

— О чем ты думаешь, Патери?

— Если метакронированная экстракция возбужденных клеток эндокринных желез...

Он был безнадежен.

— Простите меня, доктор Элиа, могу я задать вам несколько вопросов?

— Если мой опыт позволит мне ответить на них — я буду рад.

— Если я не ошибаюсь, вскоре после моего отлета был осуществлен запуск «Овератора»?

— Да, совершенно верно.

— Дал ли этот эксперимент результаты, которых от него ожидали?

Элефантус немного помолчал. Патери Пат перестал жевать и уставился на него.

— Мне трудно так сразу ответить на ваш вопрос, Рамон. Вам, несомненно, хотелось бы, чтобы за эти одиннадцать лет Земля неузнаваемо изменилась, появились бы фантастические сооружения, висячие бассейны величиной с Каспийское море или подземные сады в оливковом поясе... Но вы ведь этого не обнаружили, не так ли, Рамон?

Я кивнул. Действительно, я был немного разочарован, увидав, как мало изменилась Земля. Космодром, и тот остался прежним.

— Не разочаровывайтесь. С тех пор, как все промышленные центры, прекрасно управляемые на расстоянии, были перенесены на Марс, а Венера была отдана под плантации естественной органики, Земля несет на себе функции интеллектуального центра Солнечной. И, надо отдать ей справедливость, она прекрасно для этого приспособлена. Вы знаете, сколько веков трудились над этим люди и машины. Вряд ли будет целесообразно менять что-либо в корне, так что нам остаются лишь доделки.

Элефантус прикрыл глаза и медленно потягивал вино. Глянуть на него со стороны — идеальный земной интеллигент в идеальных для него условиях.

— Но вы вряд ли обратили внимание на другое, — продолжал он. — Мне сто сорок три. Вы знаете?

Я снова кивнул.

— Патери Пату вы дадите...

— Двадцать пять.

— Тридцать восемь! Кстати, его прадеду сто восемьдесят шесть. Я с ним связан — он директор австралийской базы подопытных животных. И прекрасный пловец.

Я чуть поморщился. Это уже начинало походить на популярную лекцию. Я задал вопрос в лоб:

— Значит, «Овератор» каким-то образом помог раскрыть секрет долголетия?

— Не совсем так. И до постановки эксперимента люди жили по сто пятьдесят — двести лет. Но лишь после возвращения «Овератора» все силы ученых были направлены на то, чтобы эти двести лет человек проживал не дряхлым старцем, а полным сил. Так что готовых рецептов мы не получили, и мое личное мнение, что это даже к лучшему. Зато мы научились по-настоящему ценить две вещи: время и здоровье. И я думаю, для этого стоило запускать транспространственный корабль.

В косом взгляде Патери Пата я отчетливо прочел: «Для человечества, может, и да, но лично тебе это большого счастья не принесет». Меня вдруг покорило оттого, что какие-то тайны Элефантуса были открыты этому фиолетовому тюленю.

— Если эксперимент не дал ожидаемых результатов, то почему бы его не повторить?

Элефантус улыбнулся мне, как ребенку.

— Именно так и стоит вопрос: повторять ли? И, уверяю вас, за те одиннадцать лет, которые прошли с момента этого запуска, человечество так и не смогло разрешить эту проблему. К тому же есть основания полагать, что неизвестное излучение, под которое попал ваш буй, было следствием возвращения «Овератора» в наше... пространство. — Патери Пат снова вскинул на него глаза, и я понял, что Элефантус все время чего-то не договаривает. — Я в этой области не силен, но если вас этот вопрос интересует, я попрошу у специалистов все гипотезы относительно нового излучения.

— Пока только гипотезы?

— Боюсь, что не пока, а навсегда. Итенсивность неизвестного излучения стремительно падала. Сейчас мы уже судим о нем лишь по вторичным эффектам. А они весьма любопытны — для нас, медиков, во всяком случае. Вот, в сущности, и все, что я могу сообщить вам для начала. Но позже мы к этому еще вернемся. Обдумайте все на досуге, но не советую вам терять на это много времени. Примите мое старческое ворчанье, как дружеский совет. И не спрашивайте вашего робота об «Овераторе» — он ничего о нем не знает. Используйте его по назначению.

— Кстати, когда я смогу хотя бы слушать музыку? Элефантус растерянно взглянул на Патери Пата.

— Завтра фон будет исправлен.

Педель меня изводил. С назойливой преданностью таксы он ходил за мной и бормотал, бормотал, бормотал... Я научился отключаться и не обращать внимания на его лекции, но он быстро перестроился и начал проецировать чертежи и схемы установок на стены моей комнаты. Мне не оставалось ничего, как только покориться. Сначала у меня возникала озорная мысль: доказать ему, что кое в чем я сильнее его — как-никак одиннадцать лет я только и занимался тем, что монтировал и ремонтировал установки, высасывая для них из собственного пальца энергию, из двух «гномов» делал одного, и наоборот. Но он спокойно выслушивал меня или смотрел, что я делаю, а потом бесстрастно констатировал:

— Это вы знаете. Перейдем к следующей схеме.

К концу второго месяца я не выдержал. Я наорал на него, но это не возымело никаких последствий. Он очень спокойно проинформировал меня, что курс обучения рассчитан на четыре года. Я остолбенел. Четыре года? Еще четыре года здесь?.. К чертовой бабушке! Я решительно направился к двери. Тем же бесстрастным тоном мой Педель посоветовал мне не обращаться к указанной бабушке, а продолжать занятия с ним, ибо, несмотря на мои скудные теоретические познания, он, учитывая богатый мой практический опыт, надеется закончить программу к новому году.

Это несколько примирило меня с ним. Но я буквально взял его за шиворот и велел ему исправить мой фон, ко-

торый, хоть и был подключен, но ничего, кроме музыки, не передавал. Педель послушно захлопотал около аппарата и через некоторое время доложил мне, что фон абсолютно исправен. Я подсел к верньерам, включил алфограф настройки. Треск, шорохи, матовое мерцание экрана. И четкая музыка в очень узком диапазоне.

— Педель! — позвал я.

Он появился, такой голубенький и невинный, что у меня сразу же пропали все подозрения в том, что это он испортил аппарат. Шутки шутками, и дело не в его голубой шкуре — я почувствовал волю человека, по непонятным причинам стремящегося оградить меня от всего мира. Какая-то дичь. Средневековье. Еще посадили бы меня в комнату с решетчатыми окнами!

— Педель, — сказал я спокойно, — дана задача: во-первых, выяснить, почему при абсолютной исправности фона нет связи с остальными станциями, кроме одной; во-вторых, определить, где находится станция, передающая музыку.

— Все понял. Прошу подождать.

Педель захлопотал. Он покрутился около аппарата, обнюхал стены, проворно выскользнул в соседнюю лабораторию, где у нас с ним проходили занятия по энерго-снабжающей аппаратуре, и вскоре появился, нагруженный какими-то приборами. Захватив переносный фон, он молча укатил в сад. Не успел я улечься с книгой, как Педель уже вернулся.

— Над территорией Егерхауэна создан временный наведенный экран. Поле экрана непробиваемо. Радиус экрана — шестнадцать километров. Музыка транслируется станцией, находящейся в двухстах тридцати метрах на юг отсюда.

В последнем я не сомневался.

— Ознакомься с картой окрестности и найди наиболее удобное место для выноса фона за пределы действия экрана.

Ответ последовал мгновенно:

— С картой местности знаком. В радиусе шестнадцати километров — горы, вынос фона невозможен.

Придется еще раз стать неблагоприятной скотиной и покинуть сей гостеприимный дом.

— Поднимись на крышу и вызови мне мобиль.

— Шифр вызова?

— Какой еще шифр?
— С двадцать седьмого августа мобили на территорию Егерхауэна вызываются только по шифру.
Я повернулся и вышел.

В кабинете Элефантуса сидел Патери Пат. Мне не очень-то хотелось разговаривать с ним, но пришлось.

— Где доктор Элиа?

— Улетел.

— Надолго?

— На четыре дня.

— Вызови мне мобиль.

— Тебе улетать нельзя.

Я стиснул кулаки и медленно пошел к нему.

Он поднял голову и посмотрел на меня с каким-то любопытством и очень спокойно.

— Ты никуда не полетишь,— повторил он.— Хватит и нас с Элефантусом.

Я разжал кулаки.

— Ты...— я не знал, как спросить, и рука моя виновато дотрагивалась до глаз.— Ты... уже чувствуешь?

— Пока — нет. Но ты не имеешь ни малейшего права подвергать риску кого-либо, кроме нас. Мы ведь пошли на это добровольно.

Патери Пат молча наблюдал за мной. Спокойствие его переходило в насмешку. Я решил откланяться, и, по возможности, наиболее корректно.

— Ты мне хочешь еще что-нибудь сказать? — спросил я его.

— Да нет, иди, работай.

— Послушай, ты,— не выдержал я.— Если ты думаешь, что твоя архиуникальная профессия дает тебе право обращаться со мной, как с подопытным шимпанзе, то мне хочется весьма примитивным образом доказать тебе обратное.

Патери Пат досадливо посмотрел на меня.

— Я теряю время,— кротко проговорил он.— Извини.

— Теряй,— сказал я,— мне не жалко. Но потрудись ответить, кто дал тебе право быть тюремщиком при таком же человеке, как ты сам? Я согласен отсидеть в карантине черт знает сколько, если я опасен для людей. Но зачем над Егерхауэном наведен этот экран?

На лице Патери Пата промелькнуло удивление. Он молчал.

— Вы отгородили меня от всего мира. Во имя чего? И кто подтвердит ваше право решать за меня, что для меня — лучше, а что — хуже?

Он встал. Подошел к столу Элефантуса, порылся в нем и достал совсем свежую пластинку радиogramмы. Ага, пока я сплю, экран все-таки снимается. Помедлив какую-то долю секунды, он протянул пластинку мне.

«Милый доктор Элиа, — прочел я, — я рада, что все остается по-прежнему, как я вас просила. Не бойтесь за него — после того, что он пережил, еще два месяца пройдут незаметно. Мне труднее. Но не говорите ему обо мне. Благодарю вас за все — вы ведь знаете, что расплатиться с вами я не сумею».

Два месяца пройдут незаметно... Два месяца пройдут... Все остальное уплыло, растворилось в этом неотвратимом, реальном счастье. Патери Пат потянул пластинку из моих пальцев.

— На! — сказал я, отдавая пластинку. — И выключи свою шарманку, мне будет не до музыки. Работать надо. Два месяца.

Впервые я отчетливо увидел, как в черных до лилового блеска глазах Патери Пата промелькнула обыкновенная зависть.

— Привет, старик! — крикнул я. — Два месяца!

Черт побери, как я спал в эту ночь! Голубые ящерицы мчались по моим сновидениям, они заваливались на спину и в неистовом восторге, задирая вверх лапы, кричали: два месяца!

Глухо прогудел звуковой сигнал будущего комплекса, перед закрытыми глазами взбух и лопнул световой шар — и я увидел перед собой Педеля. Он протягивал мне на ложке комочек какого-то желе:

— Сонтораин.

Лекарство было прохладное и очень кислое. Мной овладела апатия, аналогичная той, какую я испытывал в ракете. Еще минута — и я уснул, на сей раз уже без голубых ящерок.

Между тем мое отношение к Педелю вышло из всяких границ почтительности. Я хлопал его по гулкому задку цвета голубиноного крыла и, заливаясь неестественным смехом, кричал:

— Ну, что, старый хрыч, поперли к сияющим вершинам?

Он послушно возобновлял свои объяснения, но я уже ничего, решительно ничего не мог понять или запомнить, и это нисколько не пугало меня, а наоборот, развлекало, и я решил развлекаться я вовсю, и когда на другой день он попросил меня подрегулировать блок термозарядки, я умудрился миалевой полоской заземлить питание, так что бедняге приходилось каждые пять минут кататься на подзарядку. Мои потрясающе остроумные шуточки относительно расстройства его желудка не попадали в цель — он не был запрограммирован для разговоров на медицинские темы.

Иногда, словно приходя в себя, я чувствовал, что дошел уже до состояния идиотского ребячества и уже ничего не могу с собой поделать, и все смеялся над Педелем и все ждал, когда же он сделает что-то такое, что переполнит чашу моего терпения, и я окончательно потеряю контроль над собой.

Но последней каплей оказался Патери Пат.

За ужином он довольно сухо заметил мне, что я перегружаю моего робота не входящими в его программу заданиями. Я взорвался и попросил его предоставить мне развлекаться по своему усмотрению. Выражения, употребляемые мною по адресу Патери Пата, едва ли были мягче тех, которые приходилось выслушивать Педелю.

Я видел округлившиеся глаза Элефантуса и знал, как я сейчас жалок и страшен, и опять ничего не мог с собой поделать, и шел на Патери Пата, шатаясь и захлебываясь потоками отборнейших перлов древнего красноречия, почерпнутого мною на буге из старинных бумажных фолиантов.

Элефантус перепугался.

Он кинулся ко мне, схватил за руку и потащил к выходу. Он вел меня по саду, бормоча себе под нос: «Это надо было предвидеть... никогда себе не прощу...» Я отчетливо помню, как я упрямо сворачивал с дорожки на клумбы и дальше, к зарослям цветущего селиора, и рвал ветки, и перед самым домом упал и стал рвать траву, но потом

поднялся и с огромной охапкой этого сена дотащился до своей постели и рухнул на нее, зарываясь лицом в шершавые листья. Это была Земля, это была моя Земля — вся в терпкой горечи пойманного губами стебля, в теплоте измятой, стремительно умирающей травы. Я хотел моей Земли, я хотел ее одиннадцать лет царства металла, металла и металла — и я взял ее столько, сколько смог унести.

Это была моя Земля. И где-то на ней — совсем рядом со мной — была Сана, и она думала обо мне, помнила; может быть, еще любила. Главное — была, она была на Земле.

Но почему же я, счастливый такой человек, чувствовал, что схожу с ума?..

Вероятно, мне и в самом деле было очень худо. Приходили какие-то люди, шурша, наклонялись надо мной. Однажды прикатился Педель. Я рванулсЯ и изо всей силы ударил его.

— Не понимаю, — тихо сказал он и исчез.

Я засмеялся — вот ведь какие странные вещи иногда чудятся... и только уж если еще раз причудится — хорошо бы, чтобы вместо Педеля был Патери Пат.

А в комнату набегали люди, все больше и больше, и все они наклонялись надо мной, и лица их, ряд за рядом, высились до самого потолка, словно огромные соты, и все эти бесконечные лица мерно хлопали длинными жесткими ресницами и монотонно жужжали:

— Ты должен... Долж-ж-жен... Долж-ж-жен...

А потом делали со мной что-то легкое и непонятное — то ли гладили, то ли качали, и противными тонкими голосками припевали:

— Вот так тебе будет лучше... лучше... лучше...

Но лучше мне не становилось уже хотя бы потому, что мне было ужасно неловко оттого, что столько людей возятся со мной и думают за меня, что я должен делать, и как лежать, и как дышать и все другое. Все они были одинаковые, одинаково незнакомые люди, как были бы неразличимы для меня сотни тюленей в одном стаде. И отвернуться от них я не мог, потому что все тело мое было настолько легкое, что не слушалось меня. Вероятно, я находился под каким-то излучением, всецело подчинившим мою нервную систему. Изредка я приходил в себя на не-

сколько минут, искал глазами Элефантуса — и не находил, и снова погружался в тот сон, который видел каждую ночь с самого начала. Момент перехода в состояние сна я воспринимал как беспамятство, а потом во сне приходил в себя и чувствовал, что меня волокут куда-то вниз цепкими металлическими лапами, и каждый раз, как меня перетаскивали через порог очередного горизонтального уровня, мой спаситель спускал меня на пол и проделывал какие-то манипуляции, после чего раздавался тяжелый стук и низкое, натужное гуденье. Когда я понял, что это смыкаются аварийные перекрытия и включаются поля сверхмощной защиты, я заорал диким голосом и рванулся из железных объятий «гнома». Он продолжал тащить меня, не обращая внимания на мои отчаянные попытки вырваться.

— Сейчас же сними поле! — кричал я ему. — Раздвинь защитные плиты, они же не открываются снаружи!

— Невозможно, — отвечал он мне с невероятным бесстрашием.

— Там же люди, ты слышишь, там еще четыре человека!

— Нет, — невозмутимо отвечал он.

Я понял, что он вышел из строя и сейчас может натворить что угодно — ведь все «гномы» на буе были включены на особую программу, при малейшей опасности они работали исключительно на спасение людей. Они делали чудеса и спасали людей. А этот — губит.

— Брось меня и спасай тех, четверых, они же на поверхности!

— Там нет людей. Спасать нужно тебя одного.

— Да нет же, они там!

— Там нет людей. Там трупы.

Странно, как я ему поверил. Не потому, что привык, что эти существа не умеют ошибаться, — просто кругом творилось такое, что можно было верить только худшему. А остаться в этом аду в одиночестве — это и было самое худшее.

Позже я подумал, что то, что я кричал ему, он не мог выполнить, так как знал: после нескольких минут работы защитного поля, да еще включенного на максимальную мощность, на поверхности буя не могло остаться ни одной живой клетки. Я-то все равно снял бы поле и полез обратно, но он — он все взвесил и знал, что поступает наилучшим образом.

Тем временем мой «гном» опустил меня и начал давать сигналы вызова. Через несколько секунд другой точно такой же аппарат появился откуда-то снизу и подхватил меня. Первый «гном» отдал второму какие-то приказания и исчез наверху. Второй, точно так же, как и первый, закрыл за ним защитные плиты. Первый остался там, где медленно и неуклонно пробивалось сквозь металл смертоносное излучение. Почему он ушел? Позже «гномы» объяснили мне, что он уловил в себе наведенное поле непонятной природы и, не умея постичь смысла происходящего, счел за благо оставить меня на попечение других аппаратов, а сам вернулся в зону разрушающих лучей, лишь бы не создать для меня опасности своим дополнительным излучением. Он был хороший парень, этот первый «гном», он мудро и самоотверженно тащил меня за ворот обратно к жизни — недаром его программу составляли люди, не раз попадавшие в межзвездные переделки. И он поступил, как человек, сделав все для спасения другого и сам уйдя на верную гибель. Одно меня угнетало: вся эта мудрость, вся эта энергия тратились для спасения меня одного. Бесконечно косные в своем всемогуществе, эти роботы и пальцем не шевельнули для спасения тех, остальных, как только вычислили, что плотность и жесткость излучения многократно превышает смертельные дозы.

Так было тогда, и так же отчетливо я видел все это во сне теперь. Железные неласковые лапы перетаскивали меня через пороги, опускали в холодные колодцы люков, и все ниже и ниже — туда, где еще оставалась надежда на спасение. Но я рвался из этих лап и знал, что не вырвусь, и снова рвался, и так сон за сном, до бесконечности. Так искупал я минуту отчаяния, когда разум мой, одичавший от ужаса и опустившийся до уровня этих машин, поверил в гибель тех, остальных. Я поверил, и должен был поверить, и всякий другой поверил бы на моем месте, но именно этого я и не мог себе простить.

Я чувствовал бы себя совсем хорошо, если бы не эти воспоминания. И еще я жалел, что обошелся так резко с Педелем. Если оставить в стороне, что именно ему я обязан своим состоянием, то он был неплохой парень. Почему он больше не показывается? Обиделся? С него станет. Обидчивость с незапамятных времен отличала людей с низким интеллектом. Наверное, это правило сейчас распространилось и на роботов. А может, я его здо-

рово покалечил? Силы у меня на это, пожалуй, хватило бы. Приоткрыв один глаз, я смотрел, как бесшумно спуют вокруг меня белые люди. Честное слово, я с радостью отдал бы их всех за одного Педеля. К нему я привык, и когда он исчез, то среди всех этих чужих торопливых людей он вспоминался мне, как кто-то родной. Я слишком много мечтал о том, чтобы вернуться к людям, а когда мне это удалось, то вдруг оказалось, что мне совсем не надо этой массы людей, мне надо их немного, но чтоб это были мои, близкие, теплокровные, черт побери, люди, а таких на Земле пока не находилось. Меня окружало по меньшей мере полсотни человек, и все это, по-видимому, были крупные специалисты, они нянчились со мной, они старались как можно скорее поставить меня на ноги, но в своей стремительности они не оставляли места для так необходимого мне человеческого тепла.

Не засыпал я уже подолгу. Однажды я проснулся и почувствовал, что могу говорить. Но тут же подумал, что раз уж мне милостиво вернули речь, то, вероятно, первое время за мною будут наблюдать.

— Дважды два, — сказал я, — будет Педель с хвостиком. И пусть думают обо мне, что хотят.

Я не знаю, что они обо мне подумали, но вскоре раздвинулась дверь и, чуть ссутулившись, вошел Элефантус. Он сел возле меня и наклонил ко мне свои худые плечи. «Ну, вот, — подумал я, — вот теперь я живу по-настоящему. Я теперь одновременно вспоминаю тех, четверых, тоскую по Сане, маюсь от собственной непригодности к этой жизни, мчащейся со скоростью курьерских мобилей, скучаю по Педелю, и вот теперь снова буду беспокоиться об Элефантуса, который по моей милости, кажется, может ослепнуть. Если бы меня мучило что-нибудь одно — это было бы, как в плохом романе: «одна мысль не давала ему покоя...» Так бывает и во сне — одна мысль. А когда начинается настоящая жизнь — наваливаются сразу тридцать три повода для переживаний.

— Как вы себя чувствуете? — спросил я Элефантуса.

Всегда такой сдержанный, Элефантус позволил себе удивиться.

— Благодарю вас, но мне кажется, это меня должно волновать ваше самочувствие.

— Вы обращаетесь со мной, как с больным ребенком, доктор Элиа. А я хочу знать: могу ли я быть с людьми?

Представляю ли я опасность для окружающих? Мне это нужно, необходимо знать, поймите меня...

Элефантус зашевелил ресницами:

— Мы предполагали, что так может быть. Но я уверяю вас, что все наши предосторожности были напрасны — вы не несете в себе никакого излучения, ни первичного, ни наведенного.

— Но Патери Пат специалист в этой области. И он опасается...

— В какой-то мере я тоже... специалист.

Мне стало неудобно.

— Простите меня,— продолжал Элефантус.— Теперь я могу вам признаться, что мы намеренно старались оградить вас от внешнего мира. Патери Пат считал это обязательным для вашего скорейшего приобщения к ритму жизни всего человечества. Здесь, в укромном уголке Швейцарского заповедника, вы должны были без всяких помех овладеть своей специальностью в той степени, чтобы не чувствовать себя на Земле чужим и неумелым. Мы взяли на себя право решать за другого человека, как ему жить. Мы не имели этого права. Мы ошиблись, и в первую очередь виноват перед вами я, потому что согласился с Патери Патом и... еще одним человеком.

— Не нужно, доктор Элиа,— я положил руку на его сухую ладонь.— Все будет хорошо.

Он грустно взглянул на меня:

— Может быть... Может быть, у вас и будет все хорошо.— Он поднялся.— Вы здоровы, Рамон. И еще: послезавтра — Новый год. Вы помните?

— Да, да, конечно.— Не имел представления...

Он быстро, чуть наклонившись вперед, пошел к выходу. Он тоже все время куда-то торопился. Это не бросалось в глаза, потому что сам он был сухонький и легкий, как летучая мышь. Другое дело — Патери Пат. Его быстрота всегда удивляла, даже неприятно поражала, и даже смешила меня, как смешила бы человека легкость движений гиппопотама, попавшего на планетку с силой тяжести в десять раз меньше.

Проснувшись на следующий день, я совершенно неожиданно обнаружил, что за окном повсюду лежит снег, хотя я знал, что в Егерхауэне потолок субтропического

климата устанавливался на высоту до десяти метров. Но очертания гор, которые здесь были гораздо ближе, показались мне знакомыми. До них было километра полтора-два; узкая тропинка выскальзывала из-за моего дома и, уходя в темно-голубые ели, терялась там. Я закинул руки за голову и потянулся. Ну, черта с два меня теперь здесь удержат. Я возьму лыжи и уйду туда, в сизые елки, а не будет лыж — пойду так, и буду барахтаться в сугробах, ломая ветви, хватая губами снег, пока не заломит в висках от сухой и колкой его морозности. От таких мыслей в комнате запахло хвоей и еще чем-то горьковатым. Даже слишком сильно запахло. Я наклонился — у самой постели, на полу, лежала охапка жесткой, похожей на полосатую осоку, травы, и огромные цветы селиора, нарванные наспех, почти без листвы, стрелчатые жесткие звезды, не ярко-розовые, как в саду у Элефантуса, а нежно-сиреневые, дикие. И еще несколько густых еловых лап с толстыми иголочками-растопырками, со смоляной паутиной на размочаленных, неумело обломанных концах. И капли теплой воды на матово-белом, словно утопанный снег, полу.

А у двери, прислонившись к ней плечами и опустив руки, стояла Сана.

Глава II

Я очень удивился, хотя ждал ее каждый день с того самого мгновенья, как ступил на Землю. Я смотрел и смотрел на нее, и вдруг поймал себя на мысли, что мы молчим чересчур долго, чтобы после этого сказать именно то, что нужно. Конечно, мы должны были некоторое время просто смотреть друг на друга, но это продолжалось уже намного дольше, чем требовалось нам, чтобы увидеть друг в друге то главное, что важнее всего после долгой разлуки — то, что позволяет мысленно или тихо-тихо произнести: «Это ты!» И вот время полетело все быстрее и быстрее, и не было предела этому бешеному ускорению, когда за минутами летят не минуты, а часы, дни, века, и

всей толщей своей они отделяли меня от того мига, когда я мог просто сказать: «Сана...» И я стал думать, что могу, что должен сказать ей я — уже не юноша, как в дни наших встреч, а пожилой, умудренный опытом и одиночеством, проживший столько лет вне ее мира, столько сделавший и столько не смогший. Я должен был сказать самое главное, трудное и наболевшее, и я сказал:

— Те четверо... Они гибли рядом со мной, и я не сделал ничего, чтобы спасти их.

Наверное, это было то, что нужно, потому что через мгновение Сана сидела на моей постели, и рука ее лежала на моих губах, и она шептала мне тихо и растерянно:

— Не надо. Не надо об этом, милый. Я же знаю. Все знаю. Ты не мог ничего сделать. И больше не вспоминай об этом. Никогда. Не теряй на это времени. Нашего времени.

Я понял, что и она говорит не то, что думает, а говорит от мучительного счастья сказать, наконец, хоть что-нибудь, и я засмеялся в ответ ее торопливой нежности, потому что она снова стала не воспоминанием, не человеком, не женщиной — никем, а только тем единственным на Земле существом, которое называется — Моя Сана.

Я даже не спросил ее, где она поселилась и скоро ли вернется ко мне, я просто лежал, закинув руки за голову, и был полон собственным дыханием, этой чертовски прекрасной штукой, совершенной в своей соразмерности вдохов и выдохов, бесконечно мудрой в своем назначении — наполнять человека тем, что ему необходимо, наполнять всего, целиком, и делать его легким и всесильным.

Я не ждал ни шагов, ни шорохов. Я знал, что все, что со мной теперь будет, — будет хорошо. И я спокойно ждал этого хорошего будущего. Тогда бесшумно раздвинулась дверь, и бронзово-коричневый «бой» вкатил столик с ужином. Я посмотрел на него с любопытством — это был первый робот, который появился у меня за время моей болезни.

Стол был сервирован на двоих — значит, Сана меня уже больше не оставит. Шесть смуглых, почти человеческих рук быстро разливали кофе, раскладывали по тарелочкам лакомства, от которых пряно пахло суиком и школьными завтраками. Мне вдруг бросилось в глаза, что мой «бой», несмотря на свою пластическую моделировку и многоко-

нечность, значительно тяжелее обычных сервис-аппаратов и даже снабжен проектором планетарного типа.

— Кофе натуральный? — спросил я его, чтобы узнать, снабжен ли он диктодатчиком.

— Да, но могу заменить, если вы желаете.

Голос был противный — мужской, но очень высокий, с металлическими нотками.

— Не желаю. Можно ли убрать с потолка снег?

— Пожалуйста. Выполнить сейчас же?

— Через пятнадцать минут. Какое сегодня число?

— Тридцать первое декабря.

Да, я основательно провалялся.

— Что со мной было?

— Региональное расстройство сиффузорно-запоминающей канальной системы.

А откуда он это знает? Слышал? Нет, так сказать никто не мог — разве что роботехник о причине выхода из строя аппарата высокого класса. Значит, этот «бой» имеет собственное мнение о моей персоне. Забавно. А вдруг это...

— Чему равна масса типовых буюев-резервуаров на трассах Солнечной?

— От пятисот до семисот мегатонн.

— Сколько шейных позвонков у человека?

— Семь.

— Где расположены нейтринные экстрактеры в аппарате ЗИЭТР?

— Аппарат ЗИЭТР не имеет нейтринных экстрактеров.

— Сколько мне было лет, когда я в последний раз покидал Землю?

— Тридцать два.

Все было ясно. Я ткнул его кулаком в золотистое брюхо.

— Можешь кончить этот маскарад и облачиться в свой серенький капот. Кстати, твой прежний голос мне тоже больше нравился, а то сейчас ты мне напоминаешь... М-м-да. Боюсь, что в этой области ты не силен.

— Я вас понял. В данное время заканчиваю курс сравнительной анатомии.

— Зачем?

— Должен усвоить все курсы высшей медицинской школы. Буду, в свою очередь, программировать других роботов на аккумулято-диагностику.

— Ну, работа у них будет не пыльная. Кстати, кто тебя программирует?

— Самопрограммируюсь по книгам и лентам записи.
— Но кто-то задает тебе круг определенной литературы?

— Да, Патери Пат, Сана Логге.

— При подобном перечислении женщин следует называть первыми.

— Благодарю, запомнил. Сана Логге, Патери Пат.

— Вот так-то. Перекрашивайся, все останется по-старому.

— Прошло тринадцать минут.

— Ну, ладно, проваливай.

Он выскользнул из комнаты, и вскоре я заметил, что снег постепенно исчезает — сначала с краев крыши, потом все ближе к центру здания, и вот потолок стал совсем прозрачным. Бездумные сумерки обступили меня. Темно-лиловыми стали цветы селиора в гагатовых вазах, пар над тонкими чашками казался дымком.

Пришла темнота.

— Свет,— сказал я.

Потолок замерцал, несколько искр пробежало к окну, и комната стала наполняться ровным холодным светом. Излучала вся плоскость потолка, и мне вспомнилось, что именно так освещают операционные.

— Меньше света.

Потолок стал меркнуть.

— Довольно.

В комнате царил гнусный полумрак.

— Педель! — крикнул я.

Он явился тем же блестящим франтом — вероятно, ввиду того, что его система была усложнена, он счел нецелесообразным возиться со сменой капота. Он игнорировал мой каприз, и правильно сделал.

— Пригласи сюда Сану Логге...

На мгновение мне вдруг стало нестерпимо жутко.

— Если она здесь,— добавил я.

— Она разговаривает с доктором Элиа в его лаборатории.

— Это далеко отсюда?

— Семь километров сто тридцать метров.

— Пусть она придет.

— Пожалуйста. Выполнить сейчас же?

Давнишнее раздражение шевельнулось во мне. Мне захотелось к чему-нибудь придраться.

— Кстати, это ты умудрился расставить эти симметричные веники вдоль окна?

— Нет. Цветы расставляла она сама.

— Не имей привычки говорить о Сане «она». Она тебе не «она».

— Не понял.

— Говори: «Ее величество Сана Логе».

— Что значит эта приставка?

— Это титул древних королей, не больше и не меньше.

— Понял. Запомню.

— Очень рад. Можешь выполнять.

Сана почувствовала, что я жду ее. Она появилась, не дожидаясь вызова, и столкнулась в дверях с Педелем. Я наклонил голову и с интересом стал ждать, что будет.

Педель посторонился, пропуская ее, потом обернулся ко мне и с педантичной четкостью доложил:

— Полагаю, что вызов не нужен. Ее величество Сана Логе уже здесь.

Сана должна была засмеяться, постучать пальцами по бронзовой башке моего Педеля и выгнать его; но лицо ее болезненно исказилось, она глянула на меня, как матери смотрят на детей, если они делают что-то не то, совсем не то, что нужно, и бесконечно досадно, что вот свой, самый дорогой, — и непутевый, не такой, ах, какой не такой!.. Засмеяться пришлось мне и выгнать Педеля пришлось тоже мне, но я не сказал ему, чтобы он не называл больше Сану так. Мне-то ведь это нравилось. И потом, может быть на Земле хоть одна королева?

Я хотел встать, но Сана меня остановила. Она ходила взад и вперед вдоль прозрачной стены, к которой снаружи неслышно приклеивались огромные снежинки. Я понял, что если двое будут ходить по одной, не такой уж просторной комнате, то это будет слишком. Я устроился поудобнее на моем ложе и приготовился слушать. Сейчас она будет говорить, говорить бесконечно долго. И самое главное, она будет говорить, а не отвечать, как делали мои роботы; говорить, что ей самой вздумается, причудливо меняя нить беседы, путая фразы и не договаривая слова; говорить неправильно, нелогично, говорить, словно брести по мелкой воде, то шагом, бесшумно, стряхивая с гибкой босой ступни немногие осторожные капли, то вдруг пускаясь бегом, подымая вокруг себя нестрашную бурю игрушечных волн, пугаясь зеленых островков тины и внезапно останавли-

ливаясь, не в шутку наколовшись на острую гальку... Действительно, прошло столько минут с тех пор, как мы встретились, а я все еще не знал, как она прожила эти одиннадцать лет — как и с кем.

Ну, что же ты так долго колеблешься? Говори, хорошая моя. Я ведь еще не вспомнил как следует твоего голоса...

Сана подошла к столику с остывшим кофе и оперлась на него руками, словно это была трибуна. Я постарался не улыбнуться.

— Вскоре после твоего отлета был осуществлен запуск «Овератора», — ровно и отчетливо произнесла она.

«Неплохое начало для автобиографии», — подумал я.

— Я считаю нецелесообразным останавливаться подробно на физической стороне этого эксперимента, коль скоро в период, предшествовавший запуску, обо всем говорилось весьма подробно даже в начальных колледжах. К тому же скудная техническая эрудиция вряд ли позволила бы мне в достаточно популярной форме изложить этот вопрос. В основе эксперимента лежала теория Эрбера, выдвинутая около пятидесяти лет тому назад...

— Точнее — сорок шесть, — постным голосом вставил я.

— ...и устанавливающая законы перехода материальных тел в подпространство.

Я поднял голову и внимательно посмотрел на нее. Это была Сана. Это была *Моя Сана*. Но если бы два часа тому назад она не была Моей Саной, я подумал бы сейчас, что это — прекрасно выполненный робот пластической моделировки.

Одиннадцать лет ждать этого дня, этого первого разговора — и выслушивать лекцию, которую я свободно мог бы получить от любого робота-энциклопедиста.

— Когда-то ты интересовался моей работой, — невозможно продолжала Сана, — поэтому ты должен помнить, что наша группа, — тогда ею руководил Таганский, — была занята поисками человека, достаточно эрудированного для того, чтобы его мозг мог послужить образцом для создания модели электронного квазимозга.

— Ага, — сказал я, и голос мой прозвучал хрипло, так что мне пришлось откашляться. — Поиски супермена. Еще тогда я вам говорил, что это — бред сивой кобылы в темную сентябрьскую ночь.

Сана опустила уголки губ и приподняла брови. В такие моменты она становилась похожа на старинную византий-

скую икону, и это предвещало, что меня сейчас начнут воспитывать.

— За эти одиннадцать лет твоя речь приобрела излишнюю иллюстративность. Я понимаю, что ты разговаривал только с роботами и читал книги, написанные на забытых диалектах, в некоторых случаях опускающихся даже до уличного жаргона. Но теперь тебе всю жизнь разговаривать с людьми.

Она почему-то сделала едва уловимое ударение на слове «тебе», и от этого фраза получилась какой-то неправильной, шаткой, словно тело в положении неустойчивого равновесия. Сана и сама это заметила, снова недовольно вскинула брови и еще суше продолжала:

— Мы были связаны жесткими требованиями Эрбера. Он считал, что только схема, целиком воспроизводящая человеческий мозг, сможет управлять машиной в любых, самых неожиданных условиях. Технически выполнить эту работу было не так сложно. Взять хотя бы наши профилактические станции здоровья — наряду с такими физическими данными каждого человека, как снимки его скелета или объемные схемы кровеносной системы, они хранят периодически обновляемые биоквантовые снимки нейронных структур головного мозга. Это позволяет в случае потери памяти восстанавливать ее почти в полном объеме, как это делается сейчас по просьбе любого человека. Если ты хочешь вспомнить что-то, забытое тобой за эти одиннадцать лет, — обратись в Мамбг, ведь именно там мы провели последние годы перед твоим отлетом...

— Я ничего не забыл, — начал я. — Помнишь, мы...

Она подняла ладонь, останавливая меня.

— Сейчас речь не о том. Так вот. Мы отобрали нескольких наиболее видных ученых и с их разрешения создали электронные копии их головного мозга.

— Нетрудно догадаться, — сказал я раздраженно, — что из этого вышло. В одном случае вы получили робота-космогеодезиста со склонностью к энтомологии и классическому стихосложению, но абсолютно несведущего во всех других вопросах; в другом — палеоботаника, слегка знакомого со структурным анализом и теорией биоквантов, и опять же не смыслящего ничего в космонавтике, и так далее. Не понимаю, зачем старику Эрберу далась такая несовершенная вещь, как человеческий мозг.

— Я не буду приводить тебе сейчас доказательств преимущества человеческого мозга перед любой машиной. Все-таки и по сей день он остается непревзойденным творением Природы. Но ты прав — машина, уходящая в подпространство, должна была нести в себе более совершенный управляющий центр, чем слепо скопированный человеческий мозг. И тогда Элефантус предложил идею фасеточного квазимозга с наложенными нейро-биоквантовыми структурами.

— По моему убогому разумению, если вы хотели получить робота, совместившего в себе гениальность всех великих мира сего, то такое устройство вы должны были бы запрограммировать до сих пор.

— Да,— возразила Сана,— так было бы, если бы мы сами этим занимались. Но мы перевели машину на самопрограммирование. И здесь мы допустили ошибку. Чем больше узнавала машина, тем яснее она «себе представляла», как недостаточны могут оказаться ее знания. Она стала ненасытной.

— Пошла в разгон.

— Вот именно. Спасло положение лишь то, что самопрограммирование шло с непредставимой быстротой, к тому же машине были обеспечены «зеленые каналы» для любых связей.

— Вам пришлось снять питание?

— Нет, мы решили предоставить ей дойти до естественного конца, то есть перебрать всех людей, живущих на Земле.

— Ух, ты! — вырвалось у меня. — Ведь это же многие миллиарды схем!

— Ну, а что — миллиарды и даже десятки миллиардов для современной машины? Даже если учесть, что каждая схема сама по себе...

— Я не о том,— я переставал злиться, так было здорово все то, о чем она сейчас мне рассказывала. В конце концов, разве не естественно, что женщина немного хвастает своими достижениями? Тем более, что я просидел эти годы сиднем, как Иванушка-дурачок, до совершения положенных ему подвигов. — Я о том, что сделать машину умной, как все человечество сразу — это действительно «Ух, ты!». И ты — умница. И вообще — иди сюда.

Она не шевельнулась — словно я ей ничего не говорил.

— Целью всего эксперимента, как тебе это известно,

была посылка корабля на одну из ближайших звезд. — Сана легонько вздохнула, и по тому, как она переступила с ноги на ногу, как стала смотреть чуть выше меня, я понял, что говорить она собирается еще очень долго. — «Овератор» должен был совершить переход в подпространство, с тем, чтобы при обратном переходе выйти в пространство в непосредственной близости от Тау Кита. Программа исследований, поставленная перед роботом-пилотом, была чрезвычайно обширна: обзор всей планетной системы, выбор планеты с оптимальными условиями для развития на ней жизни, приближение к этой планете на планетарных двигателях, и дальше — наблюдения по усмотрению самого робота-пилота. Здесь-то в наибольшей степени был необходим аналог человеческого мозга. Если на планете находились существа, хотя бы способные передвигаться, — основное внимание должно было быть сосредоточено на них. Разумны ли они — это мог решить только человеческий мозг, но не машина. При задаче — собрать максимум информации о гипотетических «таукитянах», роботу-пилоту строжайше запрещалось вступать с ними в контакт. Даже при наличии высокой цивилизации. Затем «Овератор» должен был вернуться на Землю.

Сана сделала паузу. Черт побери, это была очень эффектная пауза. И надо же было так измываться над человеком!

— «Овератор» был выведен на орбиту Инка-восемнадцатого, самого отдаленного искусственного спутника Сатурна. Оттуда был произведен запуск, и туда же он и вернулся точно спустя пятьдесят дней. Вот тогда-то, в момент возвращения «Овератора», и возник конус загадочного излучения, не затронувшего ни Инка, ни каких-либо других спутников, ни самого Сатурна. Под излучение попал только буй, на котором находился ты.

— Мы, — сказал я, — нас там было пятеро.

Сана глянула на меня и даже не поправилась. Так, словно кроме меня для нее во вселенной никого не существовало. Но тогда зачем она мне все это рассказывала?..

— «Овератор» вернулся в Солнечную, неся на борту информацию о первой звезде, до которой, наконец, смог долететь корабль, созданный руками человека, — слова звучали отчетливо и мерно, как шаги. Шаги, когда кто-то уходит.

Вот я улетел с Земли, и она осталась на ней, чтобы ждать. И ждала. Я вернулся, хотя и несколько позже, чем

предполагал, но все-таки вернулся, и нашел ее на Земле, нашел такой же, как и оставил. Такой же?

И я увидел Сану прежней. Раньше мне это никак не удавалось. Я не мог ее вспомнить, потому что слишком хорошо знал, слишком часто видел. Если запоминаешь с одного взгляда — в памяти остается некоторый статичный образ, конкретный и отчетливый, остается вместе с местом, временем, звуками и запахами. А вот когда видишь человека сотни раз, воспоминания накладываются одно на другое, колеблются, расплываются и меркнут, не в силах создать законченного изображения. Там, на буге, у меня случайно оказался под руками простейший биоквантовый проектор, и я просиживал перед ним часами, воссоздавая образ Саны. Изображение не хотело становиться объемным, оно было плоским и тусклым, а когда я старался заставить себя припомнить какую-то отдельную черту, все лицо вдруг становилось чужим, не Саниным. Тогда я начинал тренировку: шар, куб, кристаллы различной формы, маргаритка, сосновая ветка, ящерица, моя собственная рука — лицо Саны... и все шло насмарку.

Передо мной появлялась бесформенная тень с ослепительно яркими, словно составленными из кусочков зеркала, глазами и алой полоской нечеткого рта. Волосы, светлые и тяжелые, лились, как вода — я отчетливо видел их непрерывное течение книзу. Я заставлял себя сосредоточиться — возникал овал лица и пропадали губы. Очерчивались брови — исчезали волосы. Не меркли только удивительные, нечеловеческие глаза, придуманные мною с такой силой, что настоящие, Санины, не вспомнились мне ни разу.

А теперь я вспомнил ее всю. И не такую, какой она была в день моего отлета — в этот день началась чужая, сегодняшняя Сана, — а смущенную, неуверенную, еще совсем не знакомую мне, но уже ожидающую меня. Я пытался обмануть себя, я пытался уверить себя, что и сейчас она неизменна, как древнее божество, и мне это удавалось, пока вдруг не появилась эта неумолимо прежняя Сана. Юная Сана.

Я не слышал, как праздновали на Земле чудесное возвращение «Овератора». Для меня осталось лишь горестное чудо исчезновения, растворения во времени того, что я называл в Сане «моем».

В извинение я стал смотреть на Сану широко раскрытыми

глазами, и она, бедняга, радовалась, что меня так заинтересовал этот проклятый «Овератор». Голос ее стал мягче и человечнее, и она все еще наклоняла голову чуть-чуть к правому плечу, что у нее всегда означало: я сказала, а ты должен был понять, и я буду огорчена, если ты меня не понял.

— Я все понял,— сказал я и протянул к ней руку.— Ну, довольно же, Сана.

— Но я еще не кончила,— спокойно возразила она, и четкие, весомые фразы снова неумолимо последовали одна за другой.— Собственно говоря, мне остается только сообщить тебе, что содержали нити микрозаписей информирующего блока. Этот блок состоял из пятисот рамок, причем каждая рамка имела нить емкостью в сто миллиардов знаков. Все они подверглись дешифровке и дали совершенно конкретную информацию.

Я сделал вид, что меня чрезвычайно интересует то, что последует дальше.

— А дальше,— сказала Сана,— дальше всю Солнечную облетела весть: планета, выбранная «Овератором» для наблюдений, аналогична Земле, пригодна для жизни разумных существ, эти существа есть на ней, и они достигли высокой степени цивилизации.

— Бурное ликование во всей Солнечной,— вставил я.

— Все так ждали расшифровки данных с далекой звезды, что комитету «Овератора» приходилось выпускать информационные бюллетени чуть ли не каждые два часа. Вряд ли ты можешь представить нашу радость, когда стало очевидно, что первая же попытка отыскать себе братьев по разуму увенчалась таким успехом — «таукитяне», как и мы, дышали кислородом, имели четыре конечности, среднюю массу и размеры, черты лица, объем головного мозга, развитую речь — словом, все, все, как у людей.

Я снова хотел подать реплику, как вдруг заметил, что о таком феноменальном открытии мне почему-то рассказывают грустным тоном.

— Более того,— заключила Сана,— машина не только установила тождество среднего жителя Земли и среднего «таукитянина»,— она с автоматической педантичностью, используя имеющиеся у нее параметры каждого земного индивидуума, подобрала для каждого человека аналогичного «таукитянина», похожего на него, как две капли воды.

Я оторопел:

— Антимир?

Сана невесело усмехнулась:

— Проще, гораздо проще. Подозрения зародились у нас еще тогда, когда «Овератор» заявил об абсолютном тождестве планет. Но коль скоро по программе при наличии в системе Тау Кита разумных существ все внимание должно быть перенесено на них, машина не задерживалась на физическом описании самой планеты, а принялась скрупулезно доказывать в каждом частном случае, что некоему Адамсу Ару, род. Мельбурн, 2731 г., аналогичен таукитянский Адамс Ар, род. Мельбурн, 2731—2875 гг.; Мио Киара, род. Вышний Волочок, 2715 г., имеет космического двойника с земным именем Мио Киара и тоже род. Вышний Волочок, 2715—2862 гг. И так далее, для каждого из людей, которые в момент отлета «Овератора» жили на Земле.

— Так она никуда не улетала с Земли! — Ох ты, как же это они просчитались, ведь это действительно было бы чудо, и до этого чуда было рукой подать, ох, как обидно... — Так повторите, черт побери, эксперимент! Что, энергия? Соберем! Фасеточный мозг? Ерунда! Должен лететь человек — вопрос только в том, чтобы найти такое состояние человеческого организма, в котором он сможет перенести переход Эрбера...

— «Овератор» улетел, — оборвала меня Сана, — улетел и вернулся.

— Откуда? Ты же сама говорила, что он не ушел дальше Земли.

— Совершенно верно. Он совершил переход в подпространство, и координаты его обратного выхода были смещены; но не в пространстве — во времени.

Я уже ничего не говорил. Я чувствовал себя, как новорожденный младенец времен примитивной медицины, которого попеременно суют то под холодный, то под горячий душ: запуск «Овератора» — переходы Эрбера — «таукитяне» совсем как мы — ура! — бултых в холодную воду — никаких «таукитян» — машина торчала на Земле — переход Эрбера не состоялся — минуточку! — все было, и даже не в пространстве, а во времени... а куда, собственно говоря, во времени?

— Действительно, — спросил я, — а куда?..

— Вперед. Вперед примерно на сто семьдесят лет.

Ишь ты — ровно на сто семьдесят. К этому так и тянуло придаться, и я ринулся:

— Если бы ваш драгоценный «Овератор» догадался прихватить из будущего хотя бы средние годовые земных температур...

И осекся.

Сана смотрела на меня широко раскрытыми глазами, такими глазами, каких у нее никогда не бывало и какие только я мог придумать. Смотрела так, что я понял: все эти сюрпризы фасеточного мозга — это еще ничто. А вот сейчас она скажет что-то страшное.

— «Овератор» скользил во времени. И летел он именно вперед, потому что каждому человеку, параметры которого он имел, он подобрал гипотетического «таукитянина»; и сведения об этих «таукитянах» на одну дату отличались от данных, которыми могли располагать люди.

— Что-то не заметил, — сказал я не очень уверенно.

— И мы сначала не обратили на это внимания — слишком уж это было невероятно. Так вот: для каждого «таукитянина», то есть для каждого человека, «Овератор» принес, кроме даты рождения, и год... смерти.

Я замотал головой:

— Машинный бред... Массовый гипноз... Шуточки фасеточного мозга... — я не мог, не хотел понять того, что она мне говорила.

Но Сана не возражала мне, а лишь продолжала смотреть на меня своими холодными, лучистыми, словно составленными из осколков зеркала, глазами.

Мне нечего было сказать — я твердо решил, что все равно не поверю ей; и мне оставалось только смотреть на нее, и я стал думать, что она опять не такая, как днем, и не такая, как час назад, и что если когда-нибудь людям являлись с того света прекрасные девы, чтобы возвестить смерть, — они были именно такими. Только немного помоложе. Они говорили: «Ты умрешь» — и человек верил им и умирал. Им нельзя верить. А поверить так и тянет, потому что их явление — это чудо, а у кого не появится неудержимого стремления поверить в чудо? Нет, Сана — это чудо, в которое верить нельзя. Если я поверю — я оцепенею от страха, потому что жить, зная, что завтра ты умрешь, невозможно. Это не будет жизнь. Это будет страх.

— Черт с ним, с «Овератором», — сказал я как можно естественнее. — Поздно. Иди сюда.

Сана поняла, что я заставил себя не поверить всему тому, что слышал. Она опустила руки и посмотрела куда-то выше и дальше меня.

— Завтра наступит новый год. *Мой год.*

И тогда я поверил.

Глава III

Я проснулся оттого, что луна взошла и светила мне прямо в лицо. Я проснулся и не открывал глаз, а рассматривал короткие прямые полосы, которые с медлительной неумолимостью проплывали слева направо в глубине моих закрытых век. Эти полосы сначала были серебристыми, не очень тяжелыми; но мало-помалу они начали приобретать тягостную матовую огненность плавящегося металла. Вдруг они сорвались с места и понеслись, замелькали, словно пугаясь моего пристального разглядывания... Я не выдержал и открыл глаза — это был просто лунный свет, но мне вдруг вспомнилось какое-то нелепое выражение, которое я вычитал в одной старинной книге еще там, на буге, но никак не мог понять, что это значит: «кинжальный огонь». Я попробовал повторить это выражение несколько раз подряд, но от этого смысл еще дальше ушел от меня, растворился в созвучии, пронзительном и жужжащем... Я понимал, что дело не в этом неугаданном смысле двух глупых слов, а что случилось что-то непоправимое, жуткое до неправдоподобья... И словно призрачное спасенье, подымались из черного елового своего подножья снежные горы. Я вспомнил, что хотел уйти туда, и резко поднялся. И только тогда понял, что я не один.

Я даже не удивился тому, что забыл про нее. Я удивился тому, что она спала. А спала она так спокойно, на правом боку, подложив руку под щеку. Если бы я знал то, что знает она, и вдобавок был бы женщиной, я бы делал, что угодно, но только не спал. Я наклонился над Саной. Но я забыл, что спящих людей нельзя пристально разглядывать. Я давно не смотрел на спящих людей. Брови ее дрогнули, и она начала просыпаться так же медленно и тяжело, как и я сам. Тогда я испугался, что вот сейчас она

проснется окончательно, и сразу вспомнит *это*... Я наклонился еще ниже и стал ждать, когда она откроет глаза. Она их открыла, и я стал целовать ее, не давая ей ни думать, ни говорить. Она тихонечко оттолкнула меня, но затем сразу же притянула обратно и заставила меня опустить голову на подушку. Потом положила мне руку на глаза и держала так, пока не почувствовала, что я опустил веки. Она хотела, чтобы я заснул, и я послушно притворился спящим. Тогда и она снова улеглась на бок, аккуратно подложив руку под щеку, и я услышал, что дыхание ее сразу же стало тихим и ровным. Она спала. Все было правильно — она спала, я был рядом и сторожил ее.

Я проснулся на рассвете, проснулся легко и быстро, проснулся спокойным и уверенным, потому что я знал теперь, что мне делать. Я должен повседневно, поминутно отдавать себя Сане. Как это сделать, это уже было все равно. Так, как она сама этого захочет. Сейчас, пока она еще спит, нужно собраться с мыслями и продумать, как прожить этот день, первый день *этого* года. И даже если их осталось совсем немного, этих дней, каждый из них должен быть по-своему мудр и прекрасен. Я невольно оглянулся на Сану — она смотрела на меня с кажущейся внимательностью, а на самом деле — куда-то сквозь меня, с той долей пристальности и рассеянности, которая появляется, если смотришь на что-нибудь долго-долго. Значит, проснулась она давно.

— С добрым утром,— сказал я.— Почему ты не позвала меня сразу же, как проснулась?

— С добрым утром,— ответила она так же спокойно, как говорила вчера вечером.— Сначала ты спал, а шесть часов сна тебе необходимы. Потом ты думал — я не могла тебя отвлечь, потому что ты сейчас будешь много думать, а тратить на это дневные часы нерационально. Тебе нужно работать. Учиться работать. Учиться работать быстро. Не забудь, что к тому ритму жизни, который, несомненно, поразил тебя, мы пришли за одиннадцать лет. У тебя будет меньше времени, но я помогу тебе.

Я поперхнулся, потому что чуть было не сказал ей: «Валей!».

Она оперлась на локоть и на какое-то мгновение замерла, как человек, делающий над собой усилие, чтобы встать. И я

вдруг понял, что все ее спокойствие, все эти правильные, сухие фразы, все это здравомыслие — лишь слабая защита от моей жалости. Внутри меня что-то неловко, больно перевернулось.

— Лежи, — сказал я ей как можно более холодным тоном, чтобы не оцарапать ее своей непрошенной заботливостью. — Я приготовлю завтрак.

Мне хотелось все делать для нее самому, своими руками. И еще мне хотелось спрашивать, спрашивать, спрашивать — я никак не мог понять главного: кто же допустил, что эти сведения стали известны людям? Я догадывался, что делается с Саной, и у меня голова шла кругом, когда я представлял себе, что еще сотни, тысячи людей вот так же, цепenea от самого последнего человеческого страха, просыпаются в этот первый день нового года — их года.

Я не мог понять — зачем это сделали, зачем не уничтожили проклятый корабль вместе со всей массой этих ненужных и таких мучительных сведений — но я боялся, что сделаю ей больно, напоминая о вчерашнем. Я наклонился над ней, словно желая укрыть, уберечь ее от какой-нибудь нечаянной боли, и молчал, и она улыбнулась мне прежней, юной улыбкой и принялась зачесывать кверху свои тяжелые волосы. Она подняла их высоко над головой, быстрым привычным движением намотала себе на руку и стала закалывать узкими пряжками из темно-синего металла. Я забыл обо всем на свете и сидел и смотрел, как она это делает, а когда она снова глянула на меня, я только слегка пожал плечами, словно прося извинить мое любопытство. Я так много думал о Санае, я тысячи раз представлял себе, как она идет и как наклоняет голову чуть-чуть вправо, и как она одевается, и много всего еще; но я никогда не мог представить себе, как она причесывается, просто потому, что раньше она никогда этого при мне не делала. Я вообще не помнил о том, что женщины причесываются. Поэтому я и удивлялся ее движениям, чуточку механическим, бездумным, и в то же время бесконечно древним, я бы сказал даже — ритуальным, как слегка угловатые, заученные позы индийских девочек-жриц на старинных миниатюрах.

— Бой! — позвала Сана.

Педель вкатился, как ясное солнышко, бросая золотистые блики на белый пол. Сана натянула одеяло до самого подбородка.

— Доброе утро, — сказала она Педелю. — Мой завтрак и то, что закажет Рамон.

— Привет, золотко мое, — меня насмешило то, что Сана относилась к нему, как к настоящему мужчине. — Мне то же самое, плюс кусок мяса побольше, на твой вкус.

— Вкуса мяса не знаю.

— Почитай гастрономический альманах и еще что-нибудь из древних, хотя бы о пирах Лукулла. Уж если тебя приставили мне в няньки, то курс чревоугодничества тебе необходим.

— Благодарю. Запомнил.

Педель, не оборачиваясь, укатился куда-то боком. Брови у Саны отмечали низкую степень раздражения. Тоже мне шкала настроений! И надо было звать этого членисто-рукого, когда я собирался все сделать сам. Педель вдруг показался мне огромным золотистым крабом. Живет рядом такое безобидное на вид чудовище, кротко выносит грубости, подает кофе, рассчитывает схемы, а потом, вопреки всем законам роботехники, в один прекрасный день раскроет свои железные клешни и...

— Сана, пошли ты его подальше. Я хочу все делать для тебя сам. Кормить. Одевать. Причесывать. На руках носить. Хочешь ко мне на руки?..

— Ты потерял бы слишком много времени. Завтрак доставляется из центрального поселка, а он расположен отсюда за семь километров.

— Все вы теперь фанатики времени. Почище Патери Пата.

Проглотив почти что наспех все, что подал нам шести-рукий стюард, мы поднялись и посмотрели друг на друга.

— Ты должен... — начала Сана.

Да. Я был должен. Я всем был должен. В первую очередь — ей. И единственное, что я еще хотел — это платить мой долг той монетой, которую я сам выберу. Больше я ничего не смел хотеть...

— ...а теперь наша группа — наша, потому что ты включен в нее в качестве механика по киберустройствам — вплотную подошла к созданию сигма-кида, то есть кибердиагностика, который определял бы степень поражения организма сигма-лучами, возникающими в момент совершения каким-либо материальным телом обратного перехода Эрбера. Кид — пока это будет, разумеется, стационарная установка — должен разработать также систему пре-

дупреждения на случай непредвиденного сигма-удара, а также предложить методику лечения, хотя этим вопросом параллельно занимаются Элефантус и Патери Пат.

Все это было очень мило, особенно если учесть, что ни один прибор не зафиксировал этих загадочных лучей, и судить о них можно было только по вторичным эффектам. Но меня сейчас мало интересовали технические трудности. Я не мог понять: кому нужно повторение этого эксперимента? Насколько я понял Сану, «Овератор» принес данные только о тех людях, которые в момент его отлета жили на Земле. Значит, следующее поколение избавлено от этих даров свихнувшейся машины. Так зачем же повторять все снова?

Надо было найти Элефантуса — с Саной я говорить обо всем этом не мог, улететь от нее, чтобы самому во всем разобраться, — и подавно...

— ...и составь список книг, лент и нитей записи, которые могут тебе понадобиться. Егерхауэн не располагает обширной библиотекой. Если тебе что-нибудь понадобится — позови меня, не трать времени на самостоятельные поиски.

— Может быть, мы все-таки будем работать вместе?

— Когда появится острая необходимость в этом. Но приучайся к тому, что меня не будет с тобой.

Как будто я привык быть с нею!

Так как у меня не было под рукой каталога, мне пришлось задавать круг интересующих меня вопросов. Я старался как можно четче ограничить каждую тему, чтобы список требуемых пособий не получился непомерно велик. Не дай бог, попадется чересчур усердный «гном», который будет выполнять мой заказ, и решит осветить каждый вопрос чуть не от Адама. Тогда весь мой год — наш год — уйдет на одно ознакомление с литературой. Я порядком устал и начал отвлекаться. Мне то и дело приходилось отключать мой биодиктофон, чтобы он не зафиксировал не относящихся к делу мыслей. Нет, так я далеко не уеду. Может быть, обратиться в коллегия Сна и Отдыха и попросить разрешения на год без сна? Но такое разрешение давалось лишь в крайних случаях — все-таки слишком вредны были еще препараты, поддерживающие человека в состоянии постоянного бодрствования. Потом все это сказывалось. Мне-то на это было наплевать, но я не знал, как посмотрит коллегия на мое желание провести этот год с человеком, который имел право на всего меня, всего, цели-

ком, до последней моей минуты. Ведь, наверно, таких частных случаев было немало. Я не мог ни о чем судить, потому что на Земле за время моего отсутствия произошла слишком резкая переоценка всех вещей и понятий. Если перед моим отъездом все измерялось энергией, то теперь мерой всему были годы и минуты. Так, наверное, было с теми космонавтами, которые в далекие времена покинули на Земле царство денег, а вернулись в мир, где стоимость каждой вещи уже определялась одной только затраченной энергией. С течением времени энергия начала обесцениваться, и к моему отлету лишь в таких случаях, как запуск «Овератора», поднимались разговоры о дороговизне того или иного эксперимента. С освобождением внутриэлектронной энергии, да еще и при умении ее конденсировать, эта мера стоимости изжила себя. И вот в мое отсутствие на Земле появилось новое мерило, самое постоянное и нерушимое — время. Если когда-то на золото покупались вещи, труд, энергия, то теперь время могло оценить решительно все. Даже чувства. И это была самая надежная монета, но на нее ничего нельзя было купить — ведь я готов был платить всем своим временем за мою Сану, и — не мог. Это осталось единственной сказкой, не воплощенной человеком в действительность. Так на кой черт мне были все эти ковры-самолеты и скатерти-самобранки?

— Сана! — крикнул я. — В котором часу мы обедаем?

Сана появилась на пороге. На лбу ее синела миалевая лента биодиктофона.

— Да?

— Не пора ли обедать?

— Еще двадцать минут. Не стоит делать исключения для первого дня. Пусть все будет так, как здесь заведено.

— Кем? Элефантусом?

— Да.

Значит, Патери Патом.

Между тем за дверью послышался звон посуды — наверное, Педель уже накрывал на стол. Я вдруг представил себе, как мы будем сидеть друг против друга за белоснежным столом в этой огромной, залитой ледяным светом, комнате...

— Могу я видеть доктора Элиа?

— Разумеется. Тебе что-нибудь неясно?

— Да нет, но разве мы не могли бы обедать вместе, как и прежде?

— Я думала, у тебя сохранилась антипатия к Патери Пату.

— Ерунда. Он мне аппетита не портит. А разве Элефантус не прогнал его?

— Патери Пат — светлая голова. Доктор Элиа очень дорожит им.

Я пожал плечами.

— Ужинать мы будем вместе. — Сана исчезла.

Ох, уж эти мне отношения, когда тебе десять раз на дню подчеркивают, что исполняют малейшее твое желание, а на самом деле навязывают все, до последней паршивой книжонки, до мельчайшего сервис-аппарата для подбирания окурков. Даже моего Педеля изуродовали якобы мне в угоду. Я оглядел комнату. Белое с золотом. Да еще какая стилизация! — под благородный древний ампир. Который раз уже к этому возвращаются? Шестой или седьмой. Бездарь какая! Своих мыслей не хватает. И мою железную скотинку отделали под старинную бронзу, как... Как что? Я где-то совсем недавно видел этот темный тяжелый цвет. И не мог припомнить, где именно.

Между тем дверь распахнулась, и Педель, как обычно, легкий на помине, вкатил овальный обеденный столик, уставленный прозрачными коробками с едой. Он ловко вскрывал их и выкладывал содержимое на тарелки.

— Консервы? — спросил я.

Я так привык к консервам, что трудно было бы сказать, что они мне надоели.

Сана вышла в белом обеденном платье.

— Нет, — сказала она, усаживаясь. — Все свежее. Готовится в центральном поселке каждую неделю. Кстати, составь себе меню на ближайшие десять дней.

— Возьми это на себя, если тебе не трудно.

Она наклонила голову. Кажется, я доставил ей удовольствие.

— И потом, знаешь, лунный свет мне положительно мешает спать. Сотвори какое-нибудь чудо, чтобы луна исчезла.

Она посмотрела на меня почти с благодарностью.

— Я распоряжусь, чтобы на ночь потолок затемнялся. Тебя это устроит?

— Я не требую аннигиляции всей лунной массы. Для меня достаточно и локального чуда.

Ага, вот и «сезам, откройся». Теперь все будет просто.

Вторую половину дня я занимался с Педелем. Изредка мной овладевало беспокойство, я подходил к двери и поглядывал, что делает Сана. До самой темноты она просидела в глубоком кресле, не снимая со лба миалевой полоски и не отнимая руки от контактной клавиши биодиктофона. Но панелька прибора была мне не видна, и я не знал, диктует она или просто так сидит, предаваясь своим мыслям. Почему-то я был склонен предположить второе.

В конце концов я тоже уселся в кресло, попросил Педеля оставить меня в покое и надвинул на лоб миалевый контур. Вид у меня был достаточно глубокомысленный — на тот случай, если бы Сана неожиданно появилась в комнате — так что я мог спокойно отдаться безделью. В углу бесшумно возился Педель — у него, видимо, появились какие-то соображения по поводу имитирующей схемы нашей будущей машины, и он придавал ей наиболее компактный вид. Я все смотрел на него и вспоминал, в честь чего же он окрашен в этот темный, до коричневого оттенка, бронзовый цвет. И еще мне хотелось есть.

— Педель, — сказал я, — принеси мне что-нибудь пожевать, если осталось от обеда.

— Слушаюсь. Пожевать. Сейчас принесу.

Кто знает, в котором часу мы будем теперь ужинать, а я как-то привык все время что-нибудь жевать. Собственно говоря, это было единственным разнообразием, доступным мне там, на бую. Если не считать книг, разумеется. Но книги — это что-то вроде платонической любви; как ни пытайся разнообразить их список, все равно при длительном чтении остается впечатление, что занимаешься чем-то одним и тем же, приятным, но нереальным. Другое дело — еда. Это — удовлетворяемая страсть. Я намеренно держал себя дня три-четыре на молочной или фруктовой диете, а потом устраивал пиршество с полусырым мясом, вымоченным в уксусе и вине. Ликарбовые орехи в сочетании с консервированными раками тоже оставили у меня неизгладимое впечатление. Почему, собственно говоря, я торчу здесь? Мне надо было отправиться прямо на Венеру и стать директором-контролером на какой-нибудь фрукто-перерабатывающей станции или, если так уж необходимо было сохранить свою профессию, отремонтировать бы роботы для сбора орехов или ловли летучих тунчиков. А говорят, что есть еще на Венере кретины, которые пасут гусей. Это те, которые абсолютно неизлечимы от рождения. Вот

благодать! Голубоватые луга; тонкие-тонкие, словно ледяные чешуйки, маленькие пруды под раскидистыми талами, и можно взять гибкую хворостинку и вообразить себя кудрявым голопузым мальчиком, пасущим античных гусей, трясущих жирными гузками в честь прекрасной богини. И даже если без антики и без прекрасных богинь, то самый захудалый гусенок мне сейчас был бы во сто крат милее всех многоруких и великомудрых киберов, исключая Педеля, пожалуй.

— Послушай,— спросил я,— что ты мне подсунул?

— Колбаса органическая, естественная, подвергнута прессовке под давлением в шесть атмосфер при температуре минус восемьдесят градусов по Цельсию.

— Зачем?

— По предварительным подсчетам, можете жевать от полутора до трех часов.

— Ах, ты, золотко мое! — я с восхищением уставился на него. Как мне не хватало его там, на буге! Не только его рук и головы, а вот этой заботливости, неуклюжей, но теплой,— сердца, что ли? Почему ни один из тех «гномов», которых я создал и запрограммировал сам, не был похож на Педеля? Впрочем, ответ напрашивался сам собой: именно потому, что я делал их сам и для себя. А Педеля программировали для меня другие люди. Сана. Это ее теплота, ее заботливость жила в металлической коробке многорукой машины. Вот так. О чем ни подумаю — круг замыкался и все возвращался к тому же — к Моей Сане.

Я встряхнулся, как утенок, и виновато огляделся. Нет. Даже если бы Сана и следила за мной, она была бы в уверенности, что я решаю одну из проблем кибердиагностики. А между тем я напоминаю школьника, прячущего под учебником веселую приключенческую книжонку. А сама Сана? Она ведь тоже не работает. Мне вдруг захотелось поймать ее врасплох. На цыпочках я прошел в ее кабинет и наклонился над ней. Ну да, прибор был отключен, и она не сделала никакого движения, чтобы привести его в рабочее состояние.

— Ага,— сказал я, садясь на ручку ее кресла.— Возрождение эксплуатации. Один работает, а другой погоняет.

Она посмотрела на меня с тем невозмутимым видом, которым так хорошо прикрывать свою беспомощность.

— Я редко пользуюсь биодиктофоном. То есть, я хочу сказать, что не включаю его, пока не добиваюсь четкой

формулировки целого законченного отрывка. Только тогда диктую. Я знаю, ты полагаешься на стилистику автоматов, но у тебя еще много времени впереди, и те из своих замечаний, что ты собираешься сохранить на будущее, ты всегда успеешь откорректировать.

Вот, получил. Не подглядывай, не лови. Уж если она делает вид, что работает, то, стало быть, так и надо принимать. Ведь только утром решил отказаться от всех этих мальчишеских штук!

— Я не против того, чтобы ты сидела у этого ящика, — я спасал положение. — Тем более, что эта голубая полоска тебе очень к лицу. Что-то похожее, кажется, носили весталки. Только не из такого современного материала, а из белого льна.

Сана слегка подняла брови — значит, снова я говорил не то, ох, до какой же степени совсем не то!

— Должна тебе заметить, что обратную связь на нашей машине ты проектируешь напрасно. Она утяжелит конструкцию, но не принесет видимой пользы. Конечно, это лишь мое мнение, и ты можешь не соглашаться с ним.

Я пристально посмотрел на нее. Мне отчетливо послышалось за этой фразой, «ведь скоро ты не будешь связан моими вкусами и капризами»...

И я не мог понять, от кого исходил этот подтекст — от ее грустных вечерних глаз или от меня самого? Черт побери, должен же я забыть, заставить себя забыть об *этом*; если мне это не удастся — она рано или поздно прочтет мои мысли. А это очень невеселые мысли — когда постоянно думаешь о том, что вот теряешь бесконечно дорогого, единственно дорогого человека — и ничего не можешь сделать. И снова думаешь и думаешь все об одном, и думаешь так много, что уже появляется ощущение, что ты что-то делаешь.

Сана положила два пальца на широкую клавишу ультракороткого фона. Несколько секунд просидела так, потом выключила прибор и сняла фоноклипы.

— Нас ждут.

К моему удивлению, в мобиле оказался Педель.

— Это что — выездной лакей, или в его программу входит теперь поглощение ужинов?

Сана смутилась. Видно было, что она не может так просто говорить о Педеле в его присутствии.

— Отдохнул бы ты, милый, — сказал я ему и отключил тумблер звуковых и зрительных центров. Педель, словно огромный краб, застыл в кормовой части мобиля, только руки его слегка вздрагивали, легко касаясь стен. Вид у него был недовольный и обиженный.

— Ну, так что же? — спросил я.

— Я думала, что тебе будет приятно, если он будет нас сопровождать.

— К чертям сопровождающих, — сказал я. — Хочу быть с тобой. Только с тобой одной. К чертям всех третьих. Она улыбнулась — благодарно и застенчиво:

— Мне просто показалось, что ты любишь его.

Я вытаращил глаза. Этого не доставало! Добро бы меня заподозрили в симпатии к породистой собаке — но к роботу... Впрочем, я всегда недолюбливал людей, которые к своим животным относились как к равным; от них, как правило, за версту несло мещанством. Но относиться к Педелю, как к человеку, это было уже не просто мещанство, а ограниченность, недопустимая даже в шутку. Я еще раз пожал плечами и вернул Педелю утраченную было полноту восприятия.

Ужинали мы уже при люминаторах, и в маленькой гостиной Элефантуса было теплей и уютней, чем в нашем еще не обжитом и слишком светлом доме.

Я отведал вина, которое пил Элефантус, — оно оказалось чересчур сладким. Патери Пат не пил — да я и не видел никогда, чтобы он это делал. Сначала поговорили о погоде — в горах ожидалась основательная буря. Элефантуса и Патери Пата это беспокоило так, словно их домики не были прикрыты одеялом из теплого воздуха десятиметровой толщины. Потом как-то нехотя разговор перешел на работу. Сана оживилась. Говорить было о чем, потому что пока у нас еще ничего не получалось. Патери Пат только что проанатомировал одну из обезьян, прибывших со мной. Он подозревал у нее возбужденное состояние биоквантовых сердечно-мозговых связей, и теперь не мог себе простить, что не исследовал ее в состоянии квазианабиоза, а сразу поторопился вскрыть — это была первая обезьяна, погибшая после нашего прилета. Она уцепилась за грузовой мобиль и упала с высоты примерно трехсот метров.

Я выразил свои соболезнования Патери Пату и уловил на себе его задумчивый взгляд — вероятно, он обдумывал, какие манипуляции проделать с моим телом, когда оно попадет к нему в руки. Я злорадно усмехнулся, потому что не сомневался в том, что намного переживу его — он был настолько осторожен, что рано или поздно это должно было плохо кончиться.

Потом мы поднялись и пошли в сад; Сана вышла с Патери Патом, с которым у нее был какой-то давнишний, сугубо принципиальный и, в силу своей принципиальности, бесконечный спор.

Я подождал, пока они отойдут подальше, и быстро направился к Элефантусу. Он смотрел, как я подхожу, и длинные ресницы его вздрагивали при каждом моем шаге.

— Вам очень тяжело? — спросил он меня, словно в его силах было сделать так, чтобы мне стало легче.

— Нет. Не то. Я просто не могу понять: зачем это сделали?

Элефантус был уже в рабочем халате. Он засунул руки в карманы и мелкими шажками двинулся по дорожке, глядя себе под ноги. Уже стемнело, и мне казалось, что он старательно перешагивает через тени.

— Видите ли, Рамон, мы получили информацию. Информацию настолько важную, что отказаться от нее, априори заявить о ее ненужности мы не имели права. Разумеется, были ученые, которые предлагали законсервировать данные, принесенные «Овератором». Но человечество рано или поздно повторило бы этот эксперимент, поставив перед собой все тот же вопрос: нужно ли людям такое знание?

— Может быть, вы и правы, — сказал я, хотя он меня далеко еще не убедил. — Только люди, сами люди могут решить этот вопрос. Никакая машина сделать этого не смогла бы. И все-таки я думаю, что сама постановка этого вопроса была негуманна.

Элефантус сделал какое-то неуверенное движение головой — не то кивнул, не то покачал.

— Но если не сейчас, то через несколько десятилетий проблема была бы поставлена снова. Есть такие вопросы, которые, если они однажды были заданы, должны быть решены. Рано или поздно, но кто-то другой взялся бы за решение, и мы оказались бы перед этими другими просто трусами.

Я слушал его и думал, что на самом деле это было совсем не так, и скупые, официальные фразы: «мы получили информацию», «мы взялись за решение этой проблемы» — все это лишь воспоминания, а вспоминаешь всегда немножечко не так, как было на самом деле, а так, как хотелось бы сейчас; а на самом деле был неуемный, животный страх перед собственным исчезновением, и не было никаких «мы», а только бесконечное множество отдельных «я», и каждый в одиночку побеждал этот страх; и мне все-таки хотелось знать, как же это было на самом-самом деле, и я спросил его:

— Но ведь это все-таки ужасно — узнать *свой год*...

Элефантус вдруг остановился, глянул на меня чуть-чуть снизу своими усталыми глазами старой мудрой птицы:

— Нет,— сказал он тихо,— это не страшно — узнать *свой год*. Это совсем не страшно.

Он опустил голову, слегка пожал плечами, словно не должен был мне это говорить, и теперь просил у меня прощенья.

И я тоже наклонил голову, и это было не простое согласие с его мыслями, а дань уважения тому большому и светлому страху — страху за другого, который он нес в себе и, может быть, впервые приоткрыл совсем чужому человеку.

Он пошел прочь, и вечерние тени смыкались за ним, и гравий скрипел у него под ногами: «свой-свой, свой-свой...», а потом шагов не стало слышно, и дальше он уходил уже бесшумно, словно медленно исчезал, растворялся в неестественной тишине вечно цветущих садов Егерхауэна.

Глава IV

Сану я нашел возле площадки для мобилей. Патери Пат, приняв монументальную позу, вещал ей что-то глубоко научное.

Я быстро подошел и взял ее за руку:

— Идем.

Мне хотелось поскорее утащить ее отсюда, потому что в воздухе уже повис повод для воспоминания об *этом*.

— Прощайте, желаю вам удачи,— Сана протянула Патери руку.— Я прослушаю ваше выступление по фону. Ты знаешь, Рамон, завтра Патери вылетает в Мамбгр, он закончил целый этап...

— Идем, идем.

Сана встревоженно подняла на меня лицо.

— Не волнуйтесь, Сана,— Патери Пат оглядел меня так, как смотрят на малыша, вмешавшегося в разговор взрослых.— Это бывает с теми, кто обращается в Комитет сведений «Овератора»,— а вы ведь уже обращались туда, Рамон?

Я с ненавистью оглянулся на него. Кто просил его проявлять при Сане свое любопытство? И какое ему дело до того, знаю ли я то, что знает он, или нет? И потом, мне показалось, что он не просто спрашивает меня, а зная, что я еще никуда не обращался, попросту подталкивает меня в сторону этого комитета.

Я пристально посмотрел на этого фиолетового. Ну да, он боялся. Он постоянно боялся. Хотя бояться ему было не за кого, я в этом абсолютно уверен. Он боялся за себя. И толкал меня на то же самое. Ну, ладно, встречусь я с тобой как-нибудь без лишних свидетелей. Тогда и поговорим. А сейчас я ограничился лишь высокомерно брошенной репликой:

— Я не обращался ни в какие комитеты. У меня нет времени на такие пустяки.

Хотя это тоже было порядочное детство.

Мобиль взмыл вверх и скользнул в поросшее селиграбами ущелье. Я посмотрел на Сану — она сидела, наклонив голову, и, казалось, с интересом глядела вниз, где четко обозначалась граница вечного искусственного лета и подходящей к концу неподдельной зимы. Но я знал, что она все еще думает о словах Патери Пата.

— Ну, что ты? — я постарался, чтобы мой голос звучал с предельной беззаботностью.

— Может быть, он и прав,— ответила Сана.— Тебе нужно слетать на Кипр и узнать...

— Нужно? А ты уверена, что это мне нужно?

— Разумеется, нет. Это единственное, в чем я тебе не могу даже дать совета. Каждый решает это за себя. Но мне кажется...

— Что именно?

Она помолчала.

— Нет, ничего,— сказала она наконец.— Ничего.

Я смотрел на нее и никак не мог понять: действительно ли она хочет, чтобы я стал таким же, как они, или, наоборот, неловко пытается уберечь меня от этого.

— Черт с ним, с «Овератором»,— сказал я,— мне сейчас не до того.

Она быстро глянула на меня, и я снова не понял ее взгляда.

— Правда, не до того. Ты же понимаешь, что я не боюсь. Просто я сейчас не могу думать о себе. Сейчас— только ты.

Сана опускает голову. Мы уже прилетели. Я выхожу и подаю ей руку. За нами легко выпрыгивает Педель. Надо научить его подавать руку даме, даже если с точки зрения машины это не является необходимым и целесообразным... А, впрочем, не стоит. Не так уж много придется это делать, чтобы препоручать это другому, хотя для меня и забавно было поддерживать в Сане отношение к нему, как к человеку.

Для того хотя бы, чтобы у нее постоянно был повод отвлечься от *этого*.

— Педель! — остановил я его, дав Сане пройти вперед.

Огненно-рыжее чудовище на алом снегу: солнце садилось.

— Что я должен?

Велеть: «Стой и не шевелись!»— и он будет стоять здесь и день, и год, и когда все уже будет кончено и Сана навсегда исчезнет из этого снежного мира, он будет стоять здесь и ждать следующего приказа, и выполнит его так же точно, как и все в своем существовании, и будет продолжаться это бесконечное единство жизни и существования, но для меня останется только одно — перебирать в памяти все минуты этого последнего года.

Ну, что же, заложить в этого краба условия еще одной игры, которая начнется сегодня и кончится раньше чем через год? Кому потом он будет подавать свое гибкое бронзовое щупальце?

Он поблескивал выпуклыми гранями стрекозиных фасеточных глаз.

— Педель,— тихо спросил я его,— ты хотел бы стать человеком?

— Должен,— сказал он, но я понял, что это не ответ на мой вопрос, а какой-то заскок в его электронном мышлении.

— Могу,— сказал он после небольшой паузы и снова замолчал.

— Хотеть не умею,— это был ответ.

Я пошел прочь.

Сана вернулась.

— Что с тобой? Почему ты задержался?

— Не хочется входить в дом. Надо было пройти километра два пешком. Да и ты почти не бываешь на воздухе.

— Ты прав. Хотя воздух в нашем доме не отличается от этого.

«Теперь она будет гонять меня на прогулки»,— мелькнуло у меня в голове. Я вдруг вспомнил, что хотел уйти на лыжах в горы. Хотел. А теперь я, вероятно, буду должен это делать. Ерунда какая-то. За три секунды мой Педель прекрасно разобрался в таких вещах, как долг, желание и возможность. А я вот не могу этого. Я вдруг понял, что бесчисленное количество раз путался в этих «должен», «хочу» и «могу». Примитивные понятия. Но именно сейчас я, как никогда, не способен точно определить, что же меня заставляет совершить тот или иной поступок. Я показался себе слепым щенком, плутающим в дебрях этих трех гладкоствольных, звенящих, уходящих в полуденное небо ясных слов.

— Тебе нездоровится?

— Послушай, Сана, ты можешь сказать, почему ты здесь?

— Потому что я должна быть с тобой.

Я искренне позавидовал ей.

Мы подошли к нашему коттеджу. Я наклонил голову, входя, хотя дверь была высока. Мне нужно было спросить Сану, что еще мы будем сегодня делать, но она опередила меня:

— Мне хотелось бы еще немного поработать. Если хочешь, пройдишь перед сном. Не забудь только «микки», чтобы вызвать мобиль.

Она указала на маленький овальный предмет, висевший у входа. Вероятно, в нем был смонтирован крошечный переносный фон для связи с ближайшими пунктами и сервис-станциями.

Я повертел «микки» в руках. Что я должен? Ах, да, она сказала — еще немного поработать.

— Я тоже поработаю часика два.

Я забрался в какой-то угол и, вооружившись отверткой, разобрал до последнего винтика несчастного «микки». Ничего особенного, просто элегантно оформленная игрушка. И до моего отлета таких было много.

Я провозился часа полтора, а потом откинулся на спинку кресла и стал смотреть вверх, на крупные звезды, четко вбитые в темно-синюю гуашь неба. Внезапно потолок начал заволакиваться сероватой дымкой, потом он сделался ослепительно белым и спустя некоторое время принял мягкий молочный оттенок. Я вспомнил, что за обедом жаловался Сана на слишком яркий свет луны. Значит, пора спать. Я встал и прошелся по комнате. Сейчас она меня позовет. Да, отворилась дверь, явился Педель.

— Ее величество Сана Логге приглашает вас к себе.

— Ладно. Только не надо больше этого... величества.

— Слушаюсь. Запомнил.

Сана уже лежала.

— Тебе нездоровится?

— Нет. Я привыкла ложиться рано. Уже половина седьмого. Вы свободны, Педель. Спокойной ночи.

Педель исчез. Я стоял посреди большой комнаты; белые стены, пол и потолок пересекали редкие золотые полосы. Комната казалась прозрачной, как кусок белоснежного кварца с золотыми жилами. Легкие контуры стенных шкафов, золотые замки на них, шуршащие покрывала на постелях, тоже цвета старинного золота. И белая женщина с волосами цвета... Я не мог вспомнить, что же это за тяжелый, отливающий бронзой цвет. Но я его где-то видел.

— Ночной свет,— сказал я, и потолок стал меркнуть и скоро излучал лишь едва уловимое пепельное мерцание. Все стало кругом мягким и теплым. Исчезли пронзительные золотые полосы. Мне вдруг показалось, что я все еще там, в кибернетической моего буя. Тысячи тонн сверхтяжелого, непонятным образом сжатого металла лежат у меня над головой. Мне нужно пробиться сквозь них, выйти на поверхность и лететь на Землю, к людям. Только достигнуть Земли — а там все будет хорошо...

— Почему ты не хочешь спать?

Я хочу. Я иду и ложусь. Вот и прошел этот первый из последних наших дней. День, обязанный быть прекрасным

и мудрым. День, который без остатка, до последней секунды я должен был отдать ей. И я отдавал. Да, до последней секунды мое время принадлежало ей, ее заботливости, ее нежности, глубоко запрятанной под материнской строгостью. Я честно делал все, что мог. Но этого было так мало.

Сана уже спала. Наверное, она принимала какое-нибудь снотворное, потому что стоило ей опустить голову на подушку, как я уже слышал ее ровное дыхание. Я опустил руку вниз и отыскал у изголовья кнопку. Я слегка нажал ее, и тут же в глубине комнаты засветился желтоватый прямоугольник с четкой черной надписью:

«Восемь часов пятнадцать минут по линии Терновича».

Я пожал плечами. С тех пор, как были освоены Марс и Венера, на Земле, как и на тех планетах, было установлено единое в Солнечной время. Было непонятно, как это раньше люди могли в одной и той же стране жить в разных часовых поясах. Это было так же неудобно, как говорить на разных языках. Но, как ни странно, к единому языку люди пришли раньше, чем к единому времени. И до сих пор еще указывают, по какой линии определено время. Неистребимая инерция!

Квадрат потух. Вероятно, прошла минута. Я оглянулся на Сану — она спала на редкость крепко. Я тихонько, чтобы не разбудить ее, поднялся и вышел в соседнюю комнату. Вытащил плед потеплее и отправился в энергетическую, где подзаряжался Педель.

— Доброе утро, — сказал я ему. — Принимай гостя.

Педель поднялся с горизонтального щита, на котором он сидел, как курица на насесте.

— Доброй ночи, — без тени юмора отвечал он. — Что я должен делать?

— Ох, бедняга, и тебя мучает тот же вопрос — что ты должен. Ты ничего не должен. Какой дурак тебя программировал? Кто не может желать, не должен чувствовать себя обязанным.

— Программировали Сана Логге, Патери Пат. Чувствовать не умею. Термин «должен» в программу заложен не был. Слышал его в процессе работы с людьми. Значение усвоил по словарю.

— Ты знаешь, я тоже слишком часто слышу его в процессе работы с этими людьми. А теперь включи-ка мне фон и дай «последние известия».

Я уселся в кресло с ногами и укрылся потеплее. Здесь я что-то мерз — на бую температура была градусов тридцать пять — сорок. С середины фразы возник тонкий голос:

«...урожая белковых. Ошибки, допущенные при составлении программы агронавтов, указывают на необходимость расширения стационарных контрольных ретрансляторов, передающих данные о ходе посевной в Агроцентр. В связи с этим группа механиков и энергосимильаторов выразила желание вылететь на Венеру. Транспорты с киберами специального назначения уже прибыли на Венеру с Марса.

Вчера закончился промежуточный этап розыгрыша командного первенства по статисболу между «Мобилем» (Марс) и «Сенсерионом» (координационно-вычислительный центр Месопотамии). По предварительной обработке результатов победила первая группа киберов со счетом: тридцать пять синих — тридцать семь с половиной оранжевых. Обработка результатов продолжается.

Было слышно, как зашуршала бумага, потом что-то шелкнуло, и вот вместо человеческого голоса зазвучал автомат:

«Прослушайте прогноз погоды: в связи с интенсификацией магнитной бури...»

Я не хотел его слушать. Наслушался я их там, в преисподней космоса.

— Настрой-ка мне хороший женский голос. Что — не важно. Хоть таблицу умножения.

Педель поколдовал возле фона. Послышался чирикающий девичий голосок. Сначала я не понял, в чем дело, но скоро сообразил, что это — урок какого-то древнего языка. Я давно уже заметил, что под звуки незнакомой речи очень хорошо думается.

Значит, все на Земле оставалось по-прежнему: экспедиционная группа на Марсе потирает лапы — обыграла по статисболу месопотамцев. Возникла необходимость, и вот человек двести счастливиц получают вождеденную командировку на Венеру. А чего, собственно говоря, я боялся? Увидеть Землю, залитую кровью безнадежных войн, и ползающих по ней ублюдков, глушащих наркотиками свой непробудный страх и рвущих у слабых кусок пожирнее: отдай, все равно сдохнешь раньше меня... Смешно. Земля жила, жила жизнью, естественной для Людей и достойной Людей. Жила быстрее, полнее, самоотверженнее,

чем прежде; но эта новая жизнь была как-то горше прежней. Стоило ли одно другого — вот в чем вопрос.

Я так и уснул, забравшись с ногами в кресло, при полном освещении.

Второй день я встретил уже без патетических планов относительно мудрости и высшей красоты его программы. Поэтому и прошел он проще и быстрее. Начала поступать литература, и я, по совету Саны, не ограничивался простым чтением, а тут же делал «наброски», то есть диктовал Педелю те или другие свои мысли, а он с молниеносной быстротой собирал или компоновал из отдельных блоков те схемы, которые могли быть использованы нами в аппарате кибердиагностики по аккумуляции сигма-излучения.

Вся трудность заключалась в том, что мы не могли слепо скопировать аппараты аналогичного типа с имитирующей схемой. Суть этих аппаратов заключалась в том, что они создавали внутри себя макет подопытного организма и непрерывно следили за ходом болезни и выздоровления. Но каждый такой аппарат создавался на опыте тысяч аналогичных болезней. Мы же располагали лишь воспоминаниями отдельных лиц, моими в том числе, хотя сам я не был подвержен загадочному излучению. Поэтому мы могли предложить аппарату лишь некоторые предположения о методах лечения. Хотя до кодирования было далеко, как до Эстри, я уже обдумывал все особенности этого кибера, который должен иметь еще большую самостоятельность, чем аппараты с имитирующими схемами. Чертовски это трудно было даже в воображении. Меня все это чрезвычайно занимало, я делал свои бесчисленные «наброски» и поминутно обращался к Сане; но странно — ее ответы постоянно наводили меня на мысль, что она уже сталкивалась с людьми, попавшими под сигма-излучение.

Поначалу я не придавал значения своим догадкам, но потом меня стало одолевать какое-то смутное беспокойство. Ведь в самом деле: она говорила — и не просто говорила, подчеркивала — что наш корабль был единственным, пострадавшим при возвращении «Овератора». Эксперимент больше не повторялся — уж это-то я знал твердо. И потом эта фраза, как-то проскользнувшая у Патери Пата о каких-то обезьянах, нечаянно попавших под сигма-лучи... Он тогда врал, я это сразу понял, но не был ли его вымысел

связан с каким-нибудь реальным фактом, о котором я не знаю?

Я не выдержал и задал Сане вопрос в лоб. Она с поразительным спокойствием — неестественным спокойствием — ответила мне, что никаких дополнительных данных о воздействии сигма-лучей на живой организм она сообщить мне не может.

И все.

Разумеется, подозрение осталось, но я не стал настаивать, потому что понял: то, чего они решили мне не говорить, — все равно останется для меня тайной, пока я не вырвусь из этого райского уголка. Я махнул рукой на все эти недомолвки, решив, что главное сейчас — это делать свое дело, а удовлетворить свое любопытство я смогу и после... после.

Раздражало меня еще и то, что все основные материалы для программирования должны были предоставить мне Элефантус и Патери Пат, хотя мне и хотелось делать все самому. Но я вовремя спохватился, что для этого мне пришлось бы усваивать курс высшего медицинского колледжа. Я должен создать плоть. А дух — это их забота.

Работы становилось все больше. Иногда мне приходилось посылать свои извинения и не являться к обеду. Зато Сана все чаще пропадала у Элефантуса. Я не имел бы ничего против, если бы не знал, что она работает там с Патери Патом. Разумеется, это была не ревность — ни в коей мере. Этот бурдюк с фиолетовыми чернилами в моих глазах не был мужчиной и я не мог себе представить, что женщина интересуется его настолько, чтобы он потерял ради нее хоть минуту своего драгоценного времени. Нет. Просто противно было видеть их вместе.

С тревогой стал я замечать, что работа не отвлекает Сану от каких-то своих, глубоко запрятанных от меня мыслей. Когда она возвращалась от Элефантуса, я замечал, что на первый мой вопрос, относящийся к нашей работе, она всегда отвечала не сразу, а чуть-чуть помедлив и не совсем уверенно, как человек, занятый совсем другим и с трудом возвращающийся к забытому кругу вопросов. Я делал, что мог. Попытался затянуть ее на лыжные прогулки, разыскивал для нее в нашей фонотеке прекрасные записи старинной музыки, рисовал с нее, немножко лепил — она спокойно отклоняла все мои попытки развлечь ее, но делала это удивительно мягко, без тени досады на мою неуклю-

жесть. Жуткое дело — жалеешь человека, и шито это белыми нитками, и сам это понимаешь, а ничего другого не придумаешь, и приходится продолжать, лишь бы делать хоть что-нибудь. Но в отношении Саны ко мне было не меньше жалости, потому что она знала — я останусь один, совсем один, и бог весть, что я сделаю от смертной этой тоски. Она боялась, что я снова кинусь в космос. С меня стало бы.

Потом вдруг оказалось, что наступила весна. Я это понял потому, что на столе у Элефантуса появились первые горные фиалки.

Мне и раньше приходило в голову, что он не лишен сентиментальности, а если бы я этого и не знал, то догадался бы сейчас по тому, с какой нежностью ласкал он взором эти рахитичные первоцветы с лепестками шиворот-навыворот. Я их никогда не любил. Они напоминали мне некоторых людей, которые тоже стараются распусться махровым цветом раньше всех других и оттого на всю жизнь остаются такими же чахлыми и вывернутыми. Я об этом думал и тоже механически разглядывал вазу. Сана подняла голову и увидела, что мы смотрим на цветы. По всей вероятности, она видела их с самого начала, но только сейчас, поймав наши взгляды, она вдруг поняла, что это — весна, и зима кончилась. Навсегда. Может быть, успеет выпасть первый снег, но целой зимы уже не будет.

Сана поднялась. Такой я ее давно не видел. А может быть, и совсем никогда. Такое лицо бывает у человека, которому нестерпимо больно, но который все свои силы прикладывает к тому, чтобы на лице его и в движениях ничего не было заметно. И даже нет, не то.

Все видели, что с ней происходило, и она просила, приказывала нам не замечать. И мы слушались.

— Кстати, Рамон, — заметил Элефантус, — вас не очень затрудняет отсутствие кодируемого материала?

Вопрос был как нельзя кстати.

— Говоря откровенно, весьма затрудняет, — живо откликнулся я.

— Мне кажется, в ближайшие дни мы уже передадим вам первую половину программы. Разумеется, если Сана не откажется нам помочь.

Сана кивнула. Не поглядев на меня, она вышла.

— Я оставлю тебе Педеля, — крикнул я ей вдогонку.

Но дверь уже закрылась. Меня вдруг охватило страшное предчувствие: *это* случится сейчас. Скоро. И без меня. Сана прячется, как прячутся раненые животные. Она не работает с Элефантусом, — она скрывается у него, когда чувствует внутри себя что-то глухое, стремительно нарастающее, грозящее стать таким тяжелым, что невозможно будет ни пошевелиться, ни приоткрыть глаз. Я понимал, что это — возвращение древнего, умершего раньше, чем человек стал человеком, инстинкта смерти. Пробуждение животных инстинктов — человек был слишком горд, чтобы сознаться в этом. Но, тем не менее, так было. «Овератор» принес неизмеримо больше, чем простой набор имен и дат, и неизвестно, что еще пробудит он в людях. Я был уверен, что пройдут года и обнаружатся новые следствия Знания, добытого людьми. Я один из первых усмотрел возрождение животной мудрости, объяснения которой мы не могли найти до сих пор. Так, человеческая любовь выросла из элементарного инстинкта размножения, но никакие попытки объяснить влечение одного человека к другому путем доказательства целесообразности такого акта или при помощи аналитического исследования физической и моральной красоты не давали ничего, кроме очевидного абсурда. Вот и то, что я называю инстинктом смерти, — оно не является им в прямом смысле, а выросло из него, перелилось в нечто могучее и прекрасное, дающее человеку силы побороть в себе ощущение угасания собственного «я» и жить для другого человека, передавая ему каждое свое дыхание, каждое биение пульса. Так делала Сана. А у меня вот не получалось.

Чувства мои оставались где-то внутри, а то, что могла видеть она, — было просто из рук вон...

Я медленно двинулся к выходу. Остановился на пороге. Патери Пат сопел за моей спиной:

— Если ты собираешься оставить свой мобиль Сане, то можешь взять мой, одноместный.

— Спасибо. Придется.

Он протиснулся между мной и дверью и начал колдовать над щитом обслуживания. Маленький мобиль цвета бутылочного стекла поднялся из глубины сада, стремительно перепрыгнул через деревья и мягко, словно на четыре лапки, опустился передо мной.

Патери Пат стоял и смотрел на меня, пока я усаживался. Я уже понял, что меня выпроваживают. Просто так он

не стал бы терять своих драгоценных минут на соблюдение правил элементарной вежливости. Обычно он сразу после обеда старался улизнуть в свой кабинет.

Мобиль взлетел, и я видел, как Патери Пат, казавшийся коричневым сквозь зеленоватую пластмассу корпуса, провожал меня угрюмым взглядом, ссутулившись как-то по-медвежьи.

Я включил «микки»:

— Педель, Педель, говорит Рамон, ты меня слышишь?

— Слышу отчетливо.

— Я улетаю. Ты останешься в распоряжении Саны Логге. Она находится в помещении «ноль-главный-бис». Когда я закончу разговор, ты переместишься так, чтобы держать ее в поле своего зрения. Я предупреждал, что оставляю тебя. Если поступят какие-либо распоряжения от Патери Пата, постарайся их не выполнять.

— Слушаюсь. Постараюсь.

— Но держись в рамках. Не говори, естественно, что это — мой приказ. Теперь вот что: есть у тебя биофон?

— Да.

— Приставка?

— Нет. Блок вмонтирован внутрь.

— Прекрасно. Как только прилечу на место, сразу же устанавливаю с тобой биосвязь. Будешь передавать все, что видишь, не анализируя и не вдаваясь в излишние подробности. Чистое описание. Что увидишь. Центральный объект — Сана Логге.

— Запомнил. Объект наблюдения — Сана Логге.

Когда я услышал эти слова от Педеля, они так резанули мой слух, что я чуть было не накричал на него. Но ведь он только повторил то, что перед этим сказал я. Мне пришлось сдержаться.

— В момент биотрансляции на тебе загорается индикаторная лампочка?

— Да.

— Отключи-ка ее сейчас, пока ты в мобиле.

— Исполнено.

— А теперь ступай! Связь начну минуты через три-четыре.

Мобиль вильнул, выходя из ущелья, скользнул над самыми верхушками елей так, что с них осыпался снег, и лег на брюхе у порога нашего дома.

— Назад, на место прежней стоянки в Егерхауэне,— сказал я в маленький темно-коричневый диск.— Выполнить через минуту.

Я вылез. Потоптался немного на снегу. Было прохладно. Снег, сухой и скрипучий, и не думал таять. Поземка тянулась за мной и осторожно затирала все следы. Там, где два часа тому назад Сана быстро пробежала от двери к мобиле, ничего уже не было видно.

Неожиданно, словно куропатка из-под снега, мобиль вспорхнул вверх и ринулся обратно в ущелье. Рыбкой блеснул он на фоне серых камней и исчез за скалой. Как славно было бы ловить каждый такой вот всплеск жизни, радоваться всему, кропотливо измышленному человеком или одним махом сотворенному природой, радоваться просто так, непрошенной щенячьей радостью — если бы не...

Я прошел в дом, не снимая свитера, тяжело плюхнулся на пол перед постелью и вытащил из-под нее ящичек с миалевой лентой. Я надел ее на лоб, постарался сосредоточиться. И представил себе шестирукого краба, застывшего в полумраке лаборатории: «Педель... Педель... Я Рамон... Ты должен ждать моего вызова. Я Рамон. Отвечай». Я закрыл глаза и еще крепче стиснул пальцы.

«Слышу вас, Рамон. Выполняю ваше задание», — эти слова возникли у меня в голове, где-то в висках, словно я только что их слышал, звучание их умолкло, но воспоминание, не менее яркое, чем само восприятие, еще осталось в моем мозгу.

«Где ты находишься?»

«Небольшая полутемная комната в корпусе ноль-северный».

«Что ты делаешь?»

«Стою в углу за неизвестным мне аппаратом в виде усеченного конуса вдвое выше меня».

«Что еще находится в комнате?»

«Два стола, три кресла, шесть выпуклых люминаторов, восемнадцать...»

«Есть ли люди в комнате?»

«Сана Логге, Элефантус Элиа».

«Что делает Сана Логге?»

«Сидит в кресле. Изредка что-то говорит. Плохо слышу — внутри массивного аппарата, за которым я помещаюсь, все время возникают аperiодические шумы низких тонов. Попробую переместиться ближе к объекту наблюдения...»

«Не надо. Что у нее в руках?»

«Ничего. Но на уровне лица на расстоянии полуметра расположен непрозрачный, матово-серый экран размером примерно 30 на 45».

«Может быть, приемник диктографа?»

«Имею приказ не анализировать. Передаю, что вижу».

«Правильно. Валяй дальше. Какая аппаратура работает?»

«Прошу прощения, вошел Патери Пат. Наклонился над Сапой Логге. Резко выпрямился. Идет ко мне. Гово...»

Передача оборвалась, и как я ни пытался представить себе и Педеля, и все, что находится вокруг него, — я не мог больше принять ни одной фразы. Этот лиловокожий каким-то образом унюхал, что ведется биопередача, и отключил моего сообщника. А может быть, он не хотел, чтобы Педель что-нибудь запомнил. До чего же мне осточертели все эти секреты — ведь все равно же через три-четыре дня я получу то, что они с такой тщательностью от меня скрывают. Не буду же я кодировать вслепую.

Я стянул с головы миалевый контур и растянулся на полу. Все тело слегка ныло, как после не очень тяжелой, но непривычной физической работы. Недаром на пользование биопередатчиками нужно получать специальное разрешение. Я свое получил больше двадцати лет назад. Было как-то муторно. Я закрыл глаза и положил руки на лоб. Но от этого не стало легче, потому что руки были горячие, а лоб — холодный.

Я сел.

— Педель!

Ах, черт, ведь он же там, я и забыл. Где, интересно, он берет для меня лыжи?

Я облазил весь дом и нашел-таки то, что искал. Мне бросилось в глаза то обстоятельство, что и лыж, и коньков, и роликов, и всего прочего здесь было припасено по две пары. Одни были точно моего размера, другие — женские. Почему же Сана упорно отказывалась сделать хотя бы небольшую прогулку на лыжах? Боялась какой-нибудь случайности? Но ведь я был бы рядом. Да и что может случиться? Вот ведь сегодня я был уверен, что неминуемо произойдет что-то непоправимое, а на деле вышло — я вел себя, как истеричная девочка. Стыдно будет посмотреть в глаза Патери Пату. Подглядывал, как они там творят. Разумеется, никакой тайны они из своей работы не делали, а просто не

хотели, чтобы какой-нибудь невежда торчал у них за спиной с вечными расспросами: «А это что? А это как?». Тем более, что у них не очень-то получалось. На их месте я сам прогнал бы всех посторонних.

Посторонних...

Я подпрыгнул на двух ногах. Лыжи хлопнули, словно в ладошки, и спружинили, как полагается. Палки я себе выбрал тоже по росту — я думал, что те, которые мне приносит Педель, единственные, и мирился с ними. На всякий случай, если Сана вернется раньше меня, я нажал зеленую кнопку маленького щита обслуживания и медленно продиктовал:

«Ухожу на лыжную прогулку. Вернусь часа через три-четыре. Направление — северо-восток. Надел теплый шарф».

Взяв палки, я быстро побежал к лесу, туда, где когда-то я видел легкий выющийся лыжный след. Но с тех пор было немало метелей, след уже давно замело, а новых не появлялось.

Глава V

Вечерело. Солнце светило у меня за спиной, и я то въезжал в глубокую, начинавшую сиреневеть, косую тень, то снова оказывался на чуть желтоватом, с рыжей искоркой, снегу. Склон был очень пологий, на нем не разгонишься, но я знал, что внизу, перед самой грядой камней, будет трамплин метра полтора в высоту, и сразу после него нужно будет круто повернуть вправо, чтобы не поломать лыж или ног. В первый раз мне даже пришлось завалиться на бок, потому что ничего умнее я не успел придумать. Пологий, безмятежный спуск усыплял бдительность, высокие кедровые швыряли под ноги пятна теней, и мне казалось, что я еду по шкурке огромной морской свинки. Теперь уже скоро... Гоп-ля! Четко сделано.

Я остановился и снял лыжи. Присел на большой голый камень. Возвращаться прежней дорогой не хотелось, а «микки», чтобы вызвать мобиль, я, конечно, забыл.

Егерхауэна отсюда не было видно. Он лежал в долине между двух гор, одна из которых поднималась так высоко,

что, наверное, видна и за сто километров отсюда, а слева от горы возвышался каменный гребень. Теперь, когда я смотрел на Егерхауэнскую гору, а гряда камней была у меня за спиной, справа синело ущелье, поросшее пихтами и елями в своей темной глубине, слева же, как огромный окаменелый пенёк, высилась скала с гладкими отвесными стенами и плоским верхом; она была невысока — не выше двухсот метров. Вокруг нее, слегка подымаясь, шел карниз шириной всего в два-три шага. Ниже карниза была осыпь, какие-то острые глыбы и еще черт знает какие неприятности, засыпанные сухим неглубоким снегом. Если по этому карнизу обогнуть каменный пенёк и пройти между ним и Егерхауэнской горой, то можно было бы попасть прямо к дому.

Я понимал, что этого делать не следует, что спуститься по ровному месту на лыжах — одно, а карабкаться по камням, ни разу до этого не побывав в горах, — совсем другое, но я уже лез по этому карнизу, да еще тащил на горбу свои лыжи. И хотя карниз поднимался все выше и выше, мне было ни чуточки не страшно. И с чего я взял, что мне обязательно должно быть страшно? Я считал бы себя совсем счастливым, если бы не проклятые лыжи. Я все время перекидывал их с одного плеча на другое и чертыхался, потому что надо было оставить их с самого начала. Немного беспокоило меня то, что стена начала загибаться не туда, куда нужно. Появились какие-то глубокие трещины, наконец, тропа стала такой неровной, что я бросил лыжи и пополз наверх, цепляясь за выступы и редкий кустарник, к счастью, не колючий.

Быстро темнело. Я пополз до верха, улегся животом на край и, заноса ноги на ровную площадку, невольно оказался носом вниз. Бр-р-р... Почему, собственно говоря, я не должен бояться? Я первый раз лазаю по горам и имею полное право струхнуть немного, и не буду спускаться вниз, если не найду более комфортабельного спуска. Я еще раз посмотрел вниз и впервые пожалел, что не знаю того, что знают все егерхауэнцы.

До сих пор я как-то не задумывался над тем, какие преимущества может дать знание *своего* года. А ведь знай я его — мне сейчас было бы просто смешно смотреть вниз, на этот пепельный туман, хищно подбирающийся к самому краю того камня, на котором я лежал. Я бы плюнул вниз, поднялся во весь рост и пошел напрямик, перепрыгивая

через трещины. И было бы мне чертовски легко. А ведь речь идет только об увеселительной прогулке в горах. Что же говорить о межпланетных экспедициях? Само собой разумеется, что люди, которым осталось уже немного, просто откажутся от полета. Да что там говорить о космосе! И здесь, на собственной Земле, каждый, кто задумывал начать очень большой труд, мог сопоставить время, необходимое для его завершения, с теми годами, которые оставались ему самому. Не оставалось бы неоконченных произведений искусства, брошенных на середине научных работ.

А тяжелые болезни? Насколько быстрее идет, наверное, выздоровление, если человек знает, что он поборет эту болезнь. Сколько сил он сохраняет, избавившись от мыслей о вполне вероятном трагическом исходе. Нет, положительно, если бы я был сейчас свободен — я бы ринулся на Кипр. И гулял бы после этого по всем горам и планетам Солнечной. Но я не мог позволить себе этой роскоши. Ведь кроме всего этого успокаивающего — все-таки мысль о том, что десять, двадцать, сто, двести лет, которые тебе остались, — это все равно ничтожно мало по сравнению с тем, что еще хотелось бы прожить. А это уже мысли о себе. Мысли, которые могут поглотить меня целиком — хотя бы на несколько дней. А я этого не мог. Каждый день *этого* года принадлежал не мне.

И сейчас я нахожусь здесь только потому, что так хочет она. Но мне пора. Я поднялся — разумеется, далеко не в полный рост — и начал пробираться туда, где, по моим представлениям, находился Егерхауэн.

Между тем то, что снизу виделось мне плоским срезом каменного пня, на деле оказалось ребристой поверхностью, где остроконечные каменные пласты громоздились один на другой, словно их кто-то поставил рядышком, а потом они постояли-постояли, да и повалились на бок. Гора, которую я ожидал увидеть прямо перед собой, переместилась вправо, а за ней выросла другая, почти такая же. Путь мне преграждала расщелина, не шире, правда, двух метров, но для меня и этого было достаточно, чтобы отказаться от мысли ее перепрыгнуть. Я решил пойти вдоль нее с тем, чтобы переправиться, как только она станет поуже. Но проклятые трещины плодились, разделяясь то надвое, а то и больше, и вместо того, чтобы перебираться через них и круто сворачивать вправо, я мирно уклонялся в совершенно противоположную сторону. Солнце село. Но я

знал, что до дома не больше пяти километров по прямой, и не очень беспокоился. Плохо только, если Сана уже прилетела и ждет меня. Мне ведь надо будет еще спуститься отсюда. И как это я не захватил с собой «микки»! Уж я бы что-нибудь ей наврал. Успокоил бы.

В темноте мне показалось, что расщелина стала неглубокой, и я ногами вниз сполз в нее. Дно было где-то совсем близко. Пришлось отпустить руки, и я очутился в каменной канаве не глубже трех метров. Дно как будто подымалось, я двинулся вперед.

Резко потемнело. Я понял, что это угасли снеговые вершины. Я заторопился. Вправо. Еще вправо. Руки уже достают до края расщелины. Теперь найти только небольшую трещину в стене, чтобы опереться ногой...

Наверное, я пришел в себя сразу же, потому что небо, которое я увидел над головой, еще сохраняло пепельно-синеватый оттенок. Звезды были крупны и неподвижны. Голова основательно побаливала. Я начал двигать руками и ногами, чтобы проверить, не случилось ли чего-нибудь похуже, и тут же почувствовал, что начинаю скользить еще ниже. Я вцепился руками в землю, но она оказалась покрыта предательским тонким ледком. Тогда я уперся ногами и головой в стены расщелины и принял некоторое статическое положение.

Лед под моей рукой начал таять. На мое счастье, он оказался весьма тонок, и я решил оттаять себе площадку, чтобы подняться на ноги и дотянуться до края расщелины. Приложил ладони ко льду. Стало еще холоднее. Наконец, под руками проступил шероховатый камень. Я осторожно стал на колени. Да, дела были плохи, хотя я это и отметил совершенно спокойно. Стена, которая казалась мне прямой, на деле шла под углом, наклоняясь надо мной. Ну, что же, посмотрим дальше. Я слегка приподнялся и замер на полусогнутых ногах.

В трех метрах над моей головой извивалось что-то черное и бесшумное.

Я вжался в угол. Я был безоружен. Я находился в заповеднике, где в обилии водились и рыси, и снежные алтайские барсы, и прочая нечисть из семейства леопардов, разведенная тут для экзотики всякими досужими зоологами.

В конце концов мне надоело ждать, пока на меня набросится этот из хищного семейства. Я приподнялся и начал его рассматривать.

Он продолжал двигаться, не спускаясь ниже, словно это была голова огромной змеи, которая заглядывает ко мне и мерно раскачивается, стараясь прикинуть, с какой стороны меня приятнее кушать. Но тут я заметил, что на краю, выше этого, качающегося, что-то темнеет на фоне звезд. Скорее всего — качается хвост большого зверя, наклонившегося над расщелиной. Ну да, ведь кошки всегда бьют хвостом, когда сердятся. Даже если это и очень большие и очень дикие кошки.

Кошка, а скорее всего барс сидел, слегка наклонив ко мне морду, которая была много светлее, чем вся остальная его шерсть, и молотил толстым своим хвостом по стене.

Почему он не нападал? Сыт, что ли? Или лень прыгать?

У меня появилось желание подпрыгнуть и уцепиться за этот хвост.

И тут я понял, что это вовсе не барс, а просто человек, который сидит, положив подбородок на колено, и болтает другой ногой.

Я вдруг разозлился.

— Эй! — закричал я и сам вздрогнул от непривычно громкого звука. — Что вы там делаете?

Тот, наверху, вздохнул, подобрал ногу и ответил серьезным детским голосом:

— Я вас спасаю.

Я уставился вверх. Голос принадлежал девчонке лет двенадцати-четырнадцати.

Я ничего не имел против того, чтобы меня спасали, и притом попроворнее.

— Тогда почему бы тебе не кинуть мне веревку?

Сверху опять послышался легкий вздох. Было похоже, что меня учили вежливости.

— Вы меня об этом еще не попросили.

— Ну, так я прошу.

— А что мне за это будет?

Я оценил создавшееся положение.

— Я древний могучий джинн, — сказал я загробным голосом. — Я сижу здесь три тысячи лет. В первую тысячу я надумал сделать самым красивым человеком на земле того, кто меня освободит. Но никто не пришел. Во вторую тысячу лет я мечтал подарить моему освободителю самую долгую жизнь, какую он пожелает. И опять никто не пришел. На исходе третьей тысячи лет я решил, что тот, кто

спасет меня, займет мое место на веки веков. Кидай веревку, и в знак благодарности я спихну тебя в эту канаву.

— Идет, — сказал голос довольно равнодушно, и мне на голову шлепнулся конец толстой веревки.

Я подергал ее — довольно крепко. Вылез.

Она стояла на камне, и мы очутились нос к носу. Единственное, что я смог разглядеть в темноте, были глаза, и без того огромные, да еще обведенные черной краской, так что казалось, что на лице, кроме глаз, вообще ничего нет. Я не ошибся в возрасте — ей было лет четырнадцать, не больше.

— Ну? — сказала она.

Я пожал плечами, без особого энтузиазма сгреб ее в охапку и потащил к расщелине.

Вероятно, я сделал ей больно, когда стиснул ее в своих лапах, потому что страшно замерз и движения мои были резки и неловки. Но она ничего не сказала мне, а только замерла и закрыла глаза. То, что сначала показалось мне краской, было неправдоподобными, как у Элефантуса, ресницами.

Я почувствовал, что делаю что-то не то, и опустил ее на камень. Сам присел на корточки перед ней:

— Испугалась?

Она резко вскинула подбородок:

— На языках древнего востока «джинн» означает не только «волшебник», но и...

— Дурак, — закончил я.

— Холодно? — спросила она.

— Холодно, — я не видел смысла притворяться.

— Летим в Хижину. У меня с собой ничего нет.

— Спасатели! — сказал я.

Она не потрудилась ответить.

— А что такое Хижина?

— Наша база. — Она пошла к мобиле, висящему в полуметре над камнями.

«Любопытно, что это еще за детский сад в горах?», — подумал я. И тут вспомнил, что меня ждут, что ни в какую Хижину я лететь не могу и приключения этой ночи должны закончиться.

— Послушай, — сказал я, подходя и облакачиваясь о крутой бок мобили. — А ведь мне нужно домой.

— Мама волнуется?

— Нет,— сказал я,— не мама. Жена.— И сам удивился своим словам.

Я назвал Сану женой. Впервые назвал женой. Раньше я называл ее — Моя Сана. Но почему-то перед этой девчонкой я называл ее — жена. Лучше бы я ничего не говорил.

Я посмотрел на свою спасительницу. Глаза стали еще больше и уголки их испуганно приподнялись. Она быстро проскользнула внутрь мобиля.

— Вот,— она протянула мне синеватую коробочку фона.— Свяжитесь с Егерхауэном.

Я машинально взял коробку. Егерхауэн... Сейчас я прилечу туда и обо мне начнут заботиться. Сана встанет, если только она вообще ложилась в эту ночь, подымет Элефантуса и всю компанию его роботов, включая Патери Пата, и они начнут измываться надо мной, оберегая меня от всех болезней, которые я мог подхватить, гуляя ночью по горам.

— Кто это? Кто это? — голос, молодой, звенящий тревогой, голос Моей Саны наполнил маленький мобиль.— Включите экран! Кто передает?

— Это я,— разумеется, я постарался, чтобы мой голос звучал как можно веселее и спокойнее.— Я немного заблудился, но меня спасли раньше, чем я успел испугаться или замерзнуть.

— Ты уже в Хижине?

— Да,— сказал я,— не волнуйся. Я уже в Хижине. Сейчас я выпью чашку кофе и вылечу домой.

— Нет, нет,— живо возразила она.— Не вздумай лететь ночью. Жду тебя к завтраку.

— А ты не будешь волноваться?

— Теперь я за тебя спокойна. Там ведь Илль.

— Ну, тогда доброй ночи.

— Доброй ночи, милый.

Я подержал еще немного в руках коробочку, теплую от Саниного голоса, потом повернулся к моей спутнице и постарался изобразить на своем лице, что вот, я ни в чем не виноват, просто судьба мне сегодня посетить эту самую Хижину. Но выражение ее лица было печально и строго, она не принимала больше моей игры и как бы оставляла меня один на один с правом решать, что честно, а что нет.

Тогда я стал серьезным и сразу же заметил, что она вовсе не девчонка, а девушка, хотя и очень молодая. Мне захо-

телось спросить, как ее зовут и сколько ей лет, потому что вдруг мне стало жаль, что вот сейчас мы куда-то прилетим, она сдаст меня с рук на руки каким-нибудь чужим людям, вроде тех, что лечили меня, и мы никогда больше не увидимся. Заблудиться же второй раз на том же самом месте было бы слишком пошло.

Между тем мы поднялись в воздух. Она опустилась на пол и села, вытянув ноги и прислонившись к упругой вогнутой стене. Я сел напротив нее и принял такую же позу. Тогда она подобрала ноги, обхватила колени руками и положила на них подбородок — совсем как тогда, на краю расщелины. Я стал ее рассматривать, потому что до сих пор ничего, кроме глаз, не успел заметить.

Волосы у нее были черные, пушистые, и было их столько, что не требовалось никакой шапки. Лицо было опущено, и я его опять же не мог разглядеть. Кисти рук были тонки, насколько это можно было усмотреть под черным триком, который обтягивал ее всю от кончиков пальцев до подбородка. Поверх трика был надет только легкий серебристый колет, скорее для красоты и ради карманов, потому что трик специального назначения поддерживал необходимую температуру, и в нем можно было разгуливать и на полюсе холода.

Мне вдруг стало невыносимо тоскливо: вот сегодня за завтраком я вспомню ее — что я вспомню? Что она была одета в черное. И только. А если она сейчас спросит меня: какая она, та, которую вы называли своей женой и потом испугались? И я отвечу: она носит белое с золотом. Вот и все. Я не умел видеть в людях того, чем они живут, а видел лишь то, что они носят. И это вовсе не из-за одиннадцатилетнего затворничества. Просто не уродился я. Работа по винтикам разобрать я мог, а вот когда дело доходило до человека... Вот сидит передо мной человек. Не очень-то мне нужно влезать в ее душу. Но мысль о том, что даже если бы мне этого и очень захотелось, я все равно ничего бы не достиг, угнетала меня, как сознание непоправимой неполноценности. Я тоже положил голову на колени, и даже, кажется, замычал. Удрать бы отсюда. И что это я обрадовался возможности провести ночь в незнакомом месте? Я прилечу, и начнется суета, меня станут осматривать и обнюхивать, стараться мне чем-то помочь, и будут делать все это неуклюже, хуже роботов, и с проклятой быстротой, которую они сами перестали давно замечать. Но

в этой быстроте я буду ощущать постоянный, хотя и невольный, упрек в том, что я отнимаю у них время.

Мягкий толчок — мобиль лежал на брюхе. Я вылез и молча протянул руку этой девчонке, стараясь сделать это так почтительно, словно она была стопятидесятилетней дамой. Я приготовился было откланяться и залезть обратно в мобиль, но на долю секунды задержался, чтобы набрать побольше воздуха — мы поднялись на высоту не меньше трех с половиной километров.

Луна уже взошла. То, что я увидел, было настолько неожиданным, что я решил, что черта с два я буду думать о чем-то времени, пока хоть бегло не осмотрю, где я нахожусь.

До вершины горы оставалось еще метров сорок. Здесь она была аккуратно обтесана со всех сторон, так что образовалась кольцевая галерея метров пяти шириной. Каменные кубы стояли на этой горизонтальной площадке так, что их прямые углы выдавались вперед одинаково ровно, насколько я мог видеть. Выше семи метров, вероятно, находился потолок этих циклопических сооружений, и там продолжалась неровная, кряжистая вершина. Каждый угол, ромбом выдающийся вперед, имел окно на правой грани и дверь на левой, причем все это было закрыто титановыми щитами. Наверное, ожидалась буря. В углублении между двумя соседними углами я заметил еще один мобиль и могучую фигуру механического робота на карауле возле него. По всей вероятности, это была ремонтно-заправочная база мобильных особого назначения.

Как-то неожиданно дверь на ближайшем углу откатилась вбок, и я получил приглашение проследовать внутрь таким изящным жестом, из которого я должен был понять, что галантное обращение не является для нее диковинкой. Я грустно усмехнулся. У нее, оказывается, есть время еще и кокетничать. Мне не хотелось объясняться, и я просто сделал жест, указывающий обратно.

Она удивилась. В удивлении этом было что-то надменное, не терпящее возражений. Конечно, ведь на возражения теряется бесценное время...

— Прошу меня извинить, — сказал я как можно корrekтнее, — я должен вернуться в Егерхауэн. Мое присутствие здесь не так уж необходимо, поэтому я не считаю себя вправе отнимать время у обитателей этой «Хижины».

Она наклонила голову набок и, поднеся палец к носу,

быстро провела им от кончика к переносице, словно на саночках прокатилась — вжик!

— Вы любите кашу с медвежьими шкварками? — спросила она.

Я тоже наклонил голову и посмотрел на нее. Тоненькая, вся в черном, с огромной шапкой вороных кудрей, которых не засунешь ни под какую шапочку — милый головастик. Ладно... В твоём возрасте, вероятно, элементарный акт извлечения неосторожного дурака из ледяной канавки кажется тебе чуть ли не подвигом. Пошли.

Дверь отворилась, и вместо ожидаемого блеска люминаторов я увидел перед собой квадратное отверстие, в котором полыхало самое настоящее пламя. Никаких других источников света в комнате не было. Я никак не мог припомнить, как называется такое приспособление. Стены потрясли меня не меньше. Они были сложены из стволов деревьев с ободранной корой и следами грубой полировки. Таков же был и потолок. На полу лежали огромные шкуры — морда к морде. Глубокие кресла, тоже из дерева, были обтянуты самой настоящей кожей. У огня стоял человек. Он был одет так же, и такой же серебристый колет был накинута поверх черного трика. Он был высок и удивительно молод, хотя это и не бросалось в глаза из-за прекрасной черной бороды, делавшей его похожим на капитана Немо, когда тот был еще принцем Даккаром. Теперь мне стало ясно, что к чему. Это был ее брат. Это и был Илль, о котором говорила Сана. Я обернулся к моей спутнице.

— Это Рамон, — сказала она, — и пожалуйста, без церемоний — он сегодня и так натерпелся.

Рядом с нами оказался еще один человек, славный толстый парень с мягкой улыбочивой рожей, на которой была написана абсолютная посредственность. В колледже мы таких звали «дворнягами».

Рамон, Егерхауэн. Она знала, кто я и откуда. Любопытно.

Первым подошел ее брат.

— Это — Туан, — представила она мне его, и я ощутил крепкое пожатие затянутой в трик руки. — Инструктор альпинистского заповедника и специалист по фоновой аппаратуре.

Значит, это не тот Илль, которого знала Сана. Действительно, что общего могло быть между нею и этим

бородатым юнцом? Нет, скорее Илль — это тот, который поднимается сейчас из кресла, в черной замшевой куртке и белом воротнике, с усами и бородкой, как у кардинала Ришелье, и пепельными локонами до плеч. Этот лет на десять старше Туана. Как это я его не заметил?..

— Лакост, наш кибермеханик и прочий технический бог, также самая элегантная борода Солнечной (камешек в огород брата) и автор «Леопарда».

Я не знал, что такое «Леопард» — симфония, автопортрет или рецепт коктейля, но почему-то пожал легкую сухую ладонь с невольным уважением.

— А это — Джошуа, но мы все зовем его Джáбжа, он сам это придумал. Он нас всех лечит, кормит, одевает и носы утирает.

Я так примерно и представлял его функции. Ладонь его была раза в полтора больше в ширину, чем в длину.

Я оглянулся, ожидая увидеть еще кого-нибудь, но в комнате никого больше не обнаружилось.

— Больше никого здесь и нет.— Мои мысли были угаданы.— А Илль — это я.

Мы церемонно раскланялись.

— А теперь, Джабжа, царствуйте,— крикнула Илль, прыгая на шкуру к самому огню.— Мы совсем замерзли. Нам покрепче.

Она уселась, скрестив ноги и протянув ладони к огню. Меня удивляли ее движения. Они были легки и порывисты, но я не мог понять, чем же они отличаются от движений всех других людей. Наверное, так двигалось бы какое-то инопланетное существо, внешне похожее на человека, но способное делать со своим телом все, что угодно — и вот такое существо научили: руки могут сгибаться только в локте и запястье, шея — поворачиваться на девяносто градусов, и так далее. И теперь она старается не отличаться от других людей и только поэтому сидит прямо, не сделав из себя двойной узел или архимедову спираль. Почувствовав мой взгляд, она обернулась и указала мне место рядом с собой. Мне подумалось, что если бы она захотела, то смогла бы сейчас почесать носом между лопаток. Я засмеялся и сел рядом.

За низенькой решеткой по толстым поленьям сновали рыжие светящиеся ящерицы с дымчатыми хвостами. Илль глядела на огонь, широко раскрыв глаза, и мне казалось, что она ждет только какого-то зова, чтобы скользнуть в

пламя печи и обратиться диковинной огненной зверюшкой.

— М-м? — спросила она, проворно оборачиваясь ко мне.

— Нет, я ничего. Вспомнил просто, что в древности люди верили в существование саламандр — духов огня, женщин-ящериц.

— Ну, я не дух, не рыжая и не питаюсь воздухом, что сейчас и собираюсь вам доказать.

Она вскочила. Позади нас появился деревянный стол. Джабжа, подвизавшись полотенцем, таскал тарелки и миски, закрытые крышками. Между тем я сам видел, что у них были свободные «гномы», которые могли бы сделать это и быстрее и привычнее. Туан откупоривал бутылку, Лакост терпеливо дожидался, присев на ручку кресла.

Илль повела носом.

— Главное уже на месте. Сели.

Она привычно заняла место хозяйки, указав мне на стул слева, справа поместились Туан и Лакост. Джабжа хлопотал рядом со мной. Видимо, он покорно нес обязанности кухонного мужика.

Я уставился на большую керамическую миску с толстым дном и крышкой, украшенной незатейливым орнаментом. По дну стекали капли воды, и я догадался, что блюдо подогревается простейшим способом — двойное дно посуды имело полость, заполнявшуюся горячей водой. Поистине, нужно было потратить немало труда (я мысленно тут же поправился — времени), чтобы создать эскизы, построить машины и получить такую посуду по старинным образцам. Сервировка носила следы несомненного художественного вкуса, и я не мог догадаться, кто был в этом повинен: страж кухни Джабжа, капризная хозяйка или этот автор неведомого мне «Леопарда». Джабжа взял ветку, поджег ее в огне, и комната начала освещаться по мере того, как он зажигал толстые желтые свечи в большой бронзовой люстре, висевшей над столом. В этом доме положительно были помешаны на стилизации под средневековье.

Но нельзя было сказать, чтобы я имел что-нибудь против. Хорошо бы пробраться в комнату Илль и посмотреть, нет ли там клавирина и портрета прекрасного рыцаря, шитого бледными шелками. Однако мое воображение рез-

вится сегодня более, чем обычно. На черта мне далась эта девчонка и ее комната! Посмотрим лучше, что это накладывает мне в тарелку ухмыляющийся Джабжа? Два куса почти черного мяса и гора неизвестной мне каши — у меня на бую такой в запасе не было. В глиняные бокалы с ручками и крышками полилось красное вино, пахнущее терпко и призывно. Мне до смерти хотелось водрузить локти на стол и взять вилку в кулак, как, по моим представлениям, должны были утолять свой аппетит кровожадные средневековые бароны. Но я время от времени чувствовал на себе взгляд, полный хорошо прикрытого любопытства. Это меня несколько сдерживало и не позволяло распускаться слишком поспешно, хотя я почувствовал, что обстановка к этому располагает.

Пока головы склонялись над тарелками, я бегло осмотрел всех.

Ничто так не характеризует человека, как процесс еды. Джабжа поглощал все подряд. Туан копался вилкой в тарелке. Лакост лакомился. Илль откровенно насыщалась, как человек, не сядивший за стол по крайней мере сутки. Вероятно, она была на вахте, или как это у них называется, и друзья ужинали без нее. Во всяком случае, было очевидно, что Лакост и Туан сидят за столом лишь ради общей компании и хорошего вина, которое тоже было в стиле всего этого ужина по старинке. Наверное, эта старина обошлась им в уйму времени.

Илль подняла руку с бокалом. Полный, он был тяжел, и ей пришлось обхватить его двумя руками, черными руками с длинными тонкими пальцами.

— За джиннов, которые умели благодарить своих спасителей, — сказала она мягко, без всякого вызова. Так, словно напоминала мне о чем-то очень хорошем, принадлежавшем только нам двоим.

— Объяснитесь, — по-королевски бросил Лакост.

Мне пришлось во всеуслышанье рассказать о том, как я хотел спихнуть Илль в пропасть. Я умышленно не назвал эту расщелину канавой, чтобы сгустить краски.

— Честное слово, надо было! — неожиданно перешел на мою сторону Туан. Вероятно, причуды сестры порядком ему надоели.

— Вынужден признаться, что не имел бы ничего против, — склонил голову Лакост.

— Остановка за немногим, — резюмировал Джабба. — На дворе еще ночь, и вам остается только исправить ваш промах. Пропасть в десяти шагах.

— Не поддавайтесь, вас провоцируют! — крикнула Илль. — Сами научили меня драться, а теперь хотят продемонстрировать.

Она вскочила на кресло ногами и изогнулась, опираясь на спинку. Кем она была в этот момент — ящерицей? Кошкой? Что же это за хищный гибкий зверек, бросающийся на человека и в одно мгновение перекусывающий ему сонную артерию? Ах, да, соболев. Вороной соболев. По-древнему — аскыр.

Я смотрел и ждал, когда она бросится на меня. Я был почти в этом уверен. Я представлял себе, как тонкие пальцы, черные пальцы захлестывают мне шею, но я отрываю ее от себя и тащу к обрыву, что окружает Хи-жину, — и тут я вспомнил ее, замершую на моих руках с опущенными ресницами... Я вздрогнул.

— Ага! — закричала она. — Испугались! И правильно сделали. Эти хвастуны сами не могут со мной справиться, уж разве что вдвоем. А надо было мне тогда бросить вас и не откликаться, пока бы вы не съехали под горку.

— И что тогда? — полюбопытствовал я.

— Ничего. Вы стукнулись бы ногами о противоположную стенку и спокойно выбрались бы. Глубина пропасти там не больше полутора метров.

— И вообще, — сказал я, — зачем вам было меня спасать? Ведь это не входит в ваши обязанности.

— Несколько странные представления о задачах и обязанностях персонала спасательной станции, — наклонив голову набок, задумчиво заметил Лакост.

Он, кажется, шутил.

— Спасательной? — переспросил я.

— Ну, да, — невозмутимо подтвердил он.

Это было здорово придумано. Спасательной?! Нет, вы подумайте — спасательной! Я захохотал.

— От чего же вы спасаете? Ведь каждый может узнать... Нет, молодцы, люди! Люблю здоровый юмор. Спасатели...

Все почему-то смотрели в стороны, словно тактично ждали, когда я перестану смеяться. А я не переставал. Уж очень это мне понравилось — спасать людей, которые знают, что все равно они не погибнут. Когда-то это называли «мартишкин труд».

— А вот что, ребятки,— сказал вдруг круглолицый с полотенцем,— начихаем-ка мы на законы гостеприимства, возьмем уважаемого гостя под локотки и скинем-ка его со стартовой площадки. Разбиться он, разумеется, разобьется, но что-нибудь да уцелеет. Кусочки соберем — придется мне поработать; руки-ноги заменим биоквантовыми протезами, всякие там печенки-селезенки поставим наилучшие, патентованные. Память восстановим почти полностью — это я гарантирую, запросим в профилакториуме снимок нейронной структуры... А?

Я уже не смеялся.

— Слух обеспечим отменный.— Джабжа перекинул салфетку через согнутую руку, наклонил голову, ухмыляясь.— Зрение — острейшее. Обоняние — высшей кондиции. Не угодно? И потом живите себе все положенные вам годы с миром, живите — поживайте, детей...— Он быстро глянул в сторону Илль и осекся.

— Ладно,— сказал он,— отставить избиение младенца. Присутствующим ясно, что с горок лучше не падать. Чтобы прожить свои положенные годы,— опять свирепый взгляд в мою сторону,— по возможности с собственными конечностями. Ну, а о тех, кто по тем или иным причинам не удосужился еще обратиться в Комитет «Овератора», я даже и не говорю — для них это совершенно противопоказано,— и он снова с минимальной дружелюбностью — слишком демонстративной, однако, чтобы быть искренней,— глянул на меня.

Свирепость у него была уморительная, и это несколько примирило меня с только что преподанным мне уроком. Да, годы, проведенные в одиночестве, здорово сказываются на психике.

Лакост, видимо, думал о том же:

— Вы ведь тот самый механик, который просидел одиннадцать лет на каком-то буге?

Все знают. Я кивнул.

— Какого же черта вы молчите? — вдруг взорвался Джабжа.— В кои-то веки выудишь в горах интересного человека, а ему и в голову не приходит отплатить за гостеприимство. Выкладывайте, что там с вами приключилось.

Этот Джабжа распоряжался, словно он был начальником базы. Милый дворняга. Но я был ему благодарен уже потому, что носик на черноглазой рожице поехал круто

вверх, чтобы никто не забывал, кто именно выудил меня, такого интересного, из ледяной могилы.

— Я думаю, что в общих чертах вы и сами все знаете, — попытался я скромно увильнуть от рассказа.

— Рассказывайте же! Ну!

Ишь, какой капризный головастик!

И вдруг светлое лицо Саны встало передо мной. «Не надо... Не вспоминай об этом... Не теряй на это времени — нашего времени...»

Эти ребята ждали от меня веселых приключений. Космический вояж с десятилетней остановкой. Тайна рокового буя и искушение святого Антония на современный лад. А для меня это были те, четверо, которые погибли в первые же минуты этих лет и продолжали оставаться со мной до сих пор. Я был виновен перед ними, и ни доводы собственного рассудка, ни воля Саны не могли заставить меня оправдаться или позабыть о них.

— Вы ведь были там не один. Как же произошло, что остальные не вернулись?

Я посмотрел на Джабжу с ненавистью. Что он лез ко мне? Какое он имел право спрашивать о том, в чем я был не виновен перед людьми? А уж то, что касалось меня самого, я никак не собирался раскрывать здесь, в каком-то случайном уголке, где мне суждено провести одну ночь.

— Мы осмотрели буй и кое-что подремонтировали. — Я постарался отделаться краткой информацией. — Получили с Земли «добро» на обратный вылет и поднялись с буя. Два раза обошли вокруг него, потому что, когда мы прилетали, его сигнализационная система работала нечетко. На первом витке все было хорошо, а на втором сигналы стали гаснуть. Потом нас швырнуло обратно к поверхности... Я тогда не понял, что это происходит против воли командира корабля. Я думал, что он сознательно возвращается, чтобы устранить недоделки. Мне было не до того — ведь система сигнализации целиком лежала на моей совести.

— Ну?.. — сказал сдержанный Лакост.

— Я занял межпланетный фон, так как на ультракоротком не смог бы связаться с киберцентром буя, и вызвал дежурных «гномов» из сектора приема и сигнализации. «Выходите первым!» — крикнул мне командир, и я, еще не снявший скафандра, выскочил из корабля и громадными прыжками бросился к появившимся из лифта

«гномам». В последний момент мне показалось, что командир и механик-фоновик с отчаянными лицами что-то выколачивают из межпланетного фона. Я это вспомнил потом, когда стал все вспоминать. А тогда я бежал к роботам, и самый большой из них неожиданно схватил меня и бросился в лифт. Я закричал и стал вырываться, но вы понимаете, что этого сделать нельзя, если робот выходит из подчинения. Лифт полетел вниз с ускорением не меньше земного свободного падения, и когда он остановился на среднем горизонтальном уровне, толчок был слишком силен, и я потерял сознание.

Собственно говоря, это было все. Что я мог им еще рассказать? Как мне мерещились их крики, стуки и скрежет металла? Как я боролся с роботом, мешая ему спасти меня? Как до сих пор...

— Вы были самым молодым на корабле? — тихо спросил меня Джабжа.

— Да, — ответил я, не зная, к чему этот вопрос.

— И он приказал вам выйти первым...

Да, я должен был выйти первым и спуститься в отделение фототронов. Я был самым молодым... И меня ждала Сана. Командир знал, как она меня ждала. Он приказал мне идти первым. Может быть, он еще что-нибудь передавал мне, но ультракороткие фоны уже молчали. А я даже не успел оглянуться и посмотреть, вышел ли кто-нибудь следом за мной или нет.

— Я думаю, что никто больше не вышел, — задумчиво сказал Лакост. — Раз начала отказывать аппаратура, то не могла работать и выходная камера корабля.

— Можно было вырезать люк изнутри, — предложил Туан, словно это сейчас имело какое-нибудь значение.

— Нет, — сказал Джабжа. — Время. Они не успели бы этого сделать.

— Почему на бую не было приспособления для мгновенного переноса корабля к ангарному лифту? — не унимался Туан.

Откуда я знал, почему его не было.

— Теперь это есть везде, — сказал Лакост, — но разве их спасло бы это?

Я кивнул:

— Ангар находился на глубине пятидесяти метров. Они не успели бы выйти из корабля, как излучение до-

стигло бы смертельной плотности, а металл, деформируясь, расплющил бы звездолет, как он и сделал это со всем ангаром.

— Но ведь излучение проникло вглубь не мгновенно?

— Достаточно быстро. Меня спасло еще и то, что металл, уплотняясь, сам становился изолирующим слоем. Да еще защитное поле после каждого горизонтального уровня — его включал мой «гном».

— Это же смертельно для тех, кто оставался наверху! — воскликнул Лакост.

— Киберы принимают свои решения мгновенно. Боюсь, что мой непрошенный спаситель рассчитал, что те четверо мертвы, еще раньше, чем они перестали дышать. И тогда все заботы были перенесены на одного меня.

— «Непрошенный спаситель», — передразнил меня Джабжа, — вы хоть сохранили того «гнома»?

— В нем появилось какое-то наведенное излучение, он передал меня другому роботу, а сам остался в верхнем слое.

— Его сделали хорошие люди, Рамон.

— Я знаю, Джошуа.

Мы посмотрели друг другу в глаза. Я вдруг понял, что сделал для меня этот человек.

— Все-таки остается загадкой, каким образом металл приобрел квазиалмазное кристаллическое строение, до сих пор не известное... — говорил Туан.

— В вашем «гноме» есть что-то от Леопарда... — говорил Лакост.

Иль молчала, сложив ладони лодочкой и уткнувшись в них носом. Но я видел, что она не просто слушает меня, а старается, как и все, найти тот несуществующий путь спасения тех, четверых, который стал бы моим обвинением, если бы нашелся. Я был уверен, что искали они честно и ни один не промолчал бы, если бы нашел этот путь.

— Одиннадцать лет иметь над головой эту жуткую толщу, — задумчиво сказал Джабжа, — и тех, четверых... Как вы справились с этим, Рамон?

— Заставил себя не думать. Я знал, что вырвусь. Работал. Монтировал роботов. Если бы за мной не прилетели, я все равно вышел бы на поверхность и послал восточку на Землю.

— Вам можно позавидовать.

— Не совсем,— сказал я.— Как только я вернулся сюда, все началось еще хуже.

— Сознание вины?

— Да.

— На вашем месте я ничего не мог бы сделать,— твердо сказал Джабжа.

— Я — тоже,— сказал Лакост.

Туан закусил губу и наклонил голову. Он был слишком молод, чтобы так быстро сдаться. Я знал, что он еще будет приставать к Лакосту и Джабже. Он был слишком хороший парень, чтобы этого не сделать.

Теперь молчали все, и это молчание было как отдача последних почестей тем, кто сегодня умер, чтобы больше не воскресать в моей совести. Память — дело другое. Чем светлее память, тем дольше для нее то, что для памяти называем мы вечностью.

Вечная память.

— А знаете,— сказал вдруг Туан,— лет четыреста тому назад вам поставили бы памятник. Раньше такой человек считался героем.

Мы дружно рассмеялись и поднялись из-за стола.

— Тогда они и были героями,— сказал Джабжа, положив руку на плечо Туана.— А теперь все такие. Разве ты на месте Рамона сошел бы с ума? Или повесился бы? Ты продолжал бы оставаться Человеком. Это давным-давно перестало быть героизмом, а превратилось в долг.

— Тоска,— сказал Туан.

Мы снова рассмеялись.

— Дурак,— мрачно резюмировала Иллъ.

Внезапно раздался протяжный, мелодичный звон. Одновременно все стены вспыхнули голубоватым огнем.

— Не волнуйтесь,— сказал мне Джабжа.— Это не аварийный. Это обыкновенный вызов. Кто-нибудь сломал лыжи или уронил альпеншток.

Он вместе с Туаном исчез в левой двери. Через несколько минут вернулся позеленевший Туан.

— Семьдесят четвертый квадрат? — осведомился Лакост таким безмятежным тоном, что я понял, что тут кроется какое-то издевательство.

Туан молча пошел к выходу, надевая шапочку с очками.

— Мой глубочайший поклон прекрасным дамам! — крикнул ему вдогонку Лакост.

Туан хлопнул дверью.

Вошел Джабжа.

— Нехорошо, мальчики, — сказал он, обращаясь главным образом к Илль. — Неужели его нельзя было заменить? Ведь там самой молодой — восемьдесят лет. И они вызывают его каждый раз, когда он неосторожно подходит к фону. Ну, ладно, искупи свою черствость заботой о госте. Спокойной ночи.

Джабжа и Лакост удалились.

— В чем дело? — спросил я.

— Туан мечтает встретить в горах прекрасную незнакомку. А по нему вздыхают все престарелые красотки, посещающие заповедник. Эта группа вызывает его четвертый раз. Да, красота — тяжелое бремя.

— И все-таки он у вас хороший...

Илль посмотрела на меня удивленно. Потом медленно ответила:

— Да, он у меня хороший.

С ударением на «у меня».

— А теперь пойдемте, я ведь здесь еще и что-то вроде горничной и должна с приветливой улыбкой указать вам ваши апартаменты.

— Жаль, что сейчас не дают на чай. Ваш талант в роли горничной пропадает даром в буквальном смысле слова.

— А что бы вы мне дали?

— Две серебряные монетки. Каждая по часу.

— Как мало!

— Тогда одну золотую. Золотая — это один день.

— Это значит, двадцать четыре серебряных... Все равно мало.

— Вы маленькая вымогательница. Из вас не вышло бы хорошей горничной.

— А вы предлагаете мне пышный хвост от неубитого медведя. Ведь вы же не знаете, сколько еще золотых монет бренчит в вашей сумке.

— А вы знаете?

Она кивнула.

— И что же, вам принесло это радость?

Она пожала плечами так беззаботно, что сердце мое сжалось. Я болтал здесь с этой девчонкой, а там, в Егер-хауэне, спала та, которая носила белое с золотом, но все золото, что было на ней, не могло прибавить ей и одной монетки стоимостью в один день.

— Сколько вам лет? — спросил я Илль.

Она с упреком поглядела на меня:

— Настоящая женщина скрывает не только то, сколько лет ей исполнилось, но даже и сколько ей остается.

— А все-таки?

Она тихонечко вздохнула, как там, на скале.

— Восемнадцать.

— А сколько еще осталось?

— Мне восемнадцать лет. А вы меня спрашиваете о том, что будет, у-у! И если я отвечу, то кто будет более бестактен — вы, когда спрашиваете, или я, когда отвечаю?

У нее было какое-то чутье. Она правильно сделала, что не ответила. Мне было бы слишком больно за Сану.

— Извините меня. Я и так задержал вас.

— А я не очень дорожу своими монетками. К тому же вы обокрали меня не больше чем на десять медяшек. Идите-ка спать.

— А вы?

— Я останусь здесь. Я должна быть наготове, пока Туан в отлете.

— Ну и я останусь здесь. Все равно до утра не больше трех часов. Вы не возражаете?

— В нашей Хижине закон — не мешать друг другу делать глупости.

— Благодарю.

Я растянулся перед потухающим огнем, взбил медвежьей голову, как пуховую подушку, и тотчас же начал засыпать.

«Камин»... — приплыло откуда-то издалека, — это называется «камин»...

Потом надо мною наклонилась Сана и быстро-быстро зашептала: «Не надо... Не вспоминай об этом...»

Я повернулся несколько раз, и когда это лицо исчезло, я сразу же заснул — легко и спокойно.

И так же легко проснулся, когда меня разбудил Джабжа.

Глава VI

— Илль улетела? — спросил я.

— Зачем? Прилетел Туан, они отправились спать. Если будет вызов, полечу я или Лакост.

— А форма?

— Трик? Хорош бы я был в нем. Обойдусь так. Кстати, Илль говорила, что тебе надо быть дома к завтраку.

— Действительно. А здесь мне больше не дадут?

— Знаешь что? Пошли на кухню.

Это была не сама кухня, а крошечный закуток, этакое преддверье рая. Из соседнего помещения тянуло свежим кофе и еще чем-то пряным.

— Холодного мяса, кофе и земляники, — крикнул Джабжа туда.

Тотчас же металлические руки протянули из-за двери все требуемое. Джабжа принял тарелки и поставил их передо мной.

— А ты? — спросил я.

— Мы с Лакостом только что завтракали. Ты не стесняйся. В Егерхауэне тебе не дадут медвежатины.

— А у тебя она откуда? На Венере, кажется, медведей еще не пасут.

— Поохотились, — Джабжа блаженно расплылся. — Мы ведь имеем на это право, только оружие должно быть не новее тысяча девятисотого года. В том-то и соль. Через месяц собираемся на оленя. Пошел бы с нами?

— А вы все вчетвером?

— Нет, Илль этого не любит.

— Странно. Можно подумать обратное. А ее брат?

— Какой брат?

— Туан, — сказал я не очень уверенно.

— Какой он к черту брат. Просто смазливый парень. Да они и не похожи. А стреляет он здорово, у него музейный винчестер. Так договорились?

Я кивнул.

— И вообще, переходил бы ты сюда. Мне позарез нужен еще один кибер-механик. А?

Я покачал головой.

— Нравится в Егерхауэне?

— Да, — сказал я твердо. — Мне там нравится, Джабжа.

Он посмотрел на меня и не стал больше спрашивать. Удивительно понятливый был парень.

Я взял за хвостик самую крупную земляничину и начал вертеть ее перед носом. Как все просто было в этой Хижине. Ужины при свечах, охота, винчестер вот музейный... Словно то, что потрясло все человечество, их совсем не коснулось. А может быть, они и не знают?..

— Послушай-ка, Джабжа, а все вы действительно знаете *это*?

— А как же, — он прекрасно меня понял и совсем даже не удивился.

— И кому это первому пришло в голову обнародовать такие данные? Самому Эрберу?

Теперь он посмотрел на меня несколько удивленно.

— Интересно, а как ты представляешь себе это самое: «обнародовать»? Может, ты думаешь, что на домах списки развесили или повестки разослали: «Вам надлежит явиться туда-то и тогда-то для ознакомления с датой собственной кончины...» Нет, милый. Что тогда творилось — описанию не поддается. Съезд психологов, конференция социологов, фоно пленум археопсихологов, конгресс нейрологов, симпозиум невропатологов; всеземельные фонореферендумы шли косяком, как метеоритный поток. Страсти кипели, как лапша в кастрюле. И только когда абсолютное большинство высказалось против консервации пресловутых данных и за проведение опыта на строго добровольных началах — только тогда Комитет «Овератора» принял «Постановление о доступе к сведениям...» — вот такой талмуд. Читался, как фантастический роман, — сплошные предостережения типа: направо пойдешь — сон потеряешь, налево пойдешь — аппетит потеряешь, прямо пойдешь — девочки любить не будут...

— И все-таки ты пошел?

— Дочитал — и пошел.

— Ох, и легко же у тебя все выходит... Но кто-то не пошел?

— Естественно.

— И много таких?

Джабжа слегка пожал плечами:

— Кроме тебя, в Егерхауэне трое. И все знают. У нас тут четверо. И тоже все знают. Ведь все-таки «Овератор» нес колоссальное Знание. Его надо было взять и покрутить так и эдак — посмотреть, какой из него может получиться прок.

— Эксперимент на человеке.

— Зато какой эксперимент! И ты отказался бы?

— Я поставил бы его на себе. Только на себе.

— Ага! Вот мы и дошли до истины — на себе. На деле так и оказалось — каждый решил поставить его на себе. Читал ведь, наверное, у себя на буге всякую беллетристику про Последнюю Мировую, и все такое? Помнишь: выходит командир перед строем и говорит: это нужно, но это — верная смерть. Кто? И вот выходят: первый, второй, третий, а там сразу трое, четверо, семеро, и вот все остальные делают шаг вперед — и снова перед комиссаром одна шеренга. У вас в такой шеренге — трое. У нас — четверо. Где-то, может, и никого. А где-то — тысячи, миллионы.

— Тогда надо было выбрать из них некоторых.

— Некоторых? Любопытно. Каких же это — некоторых? Кто взял бы на себя — выбрать Лакоста, а мне сказать: ты, братец, не годишься! Или наоборот. В том-то и дело, что в этом строю все были равны, слабых не было. В истории человечества наступали моменты, когда люди, все до одного, уже что-то умели. Вот они все — абсолютно все — стали ходить на двух ногах. А вот все начали разговаривать. Все, но с переменным успехом, потопали по ступеням цивилизации. И вот наступил момент, когда все люди на Земле стали членами коммунистического общества. И дело тут не в общественной формации — изнутри человек стал другим. Словно его из нового материала делать стали. Вот и пришли мы к тому, что для эксперимента Эрбера годились все.

— Все это общие рассуждения, — прервал я его. — Я-то живу с этими тремя, мне виднее. Не говоря о том, что я не допустил бы к сведениям женщин и детей, я бы еще посмотрел и на Элефантуса, и на Патери Пата...

— Насчет женщин и детей это ты брось. Детям никто ничего не сообщает, обращаться в Комитет можно только после шестнадцати лет, это уже не детский возраст. А женщины посильнее нас с тобой. Что же касается доктора Элиа и твоего Пата, то ты, братец, хоть с ними и живешь почти под одной крышей, а смотришь на них только со своей колокольни. Ты совсем недавно узнал об «Овераторе», а для них это — давно пережитое. У них, может, страшнее теперь заботы. Так что ты приглядишься к ним, подумай.

— И все-таки это негуманно, Джабжа...

— Негуманно... — он пожевал губами: гуманно или негуманно? Слово и в самом деле удивительно годилось для пережевывания и от многократного повторения стремительно теряло свой смысл. — Ну, ладно, совершим еще один экскурс в Последнюю Мировую. Представь себе, что человек вылезает из окопа и становится под пулеметную очередь. Это как?

— Если этого требовало...

— Ты не крути. По отношению к нему самому — это как, гуманно?

— Куда уж!

— Вот и я так думаю. А он, между прочим, из окопа все-таки вылезает и закрывает вражеский пулемет — собой. Так что давай кончим о гуманизме. Сейчас человечество оказалось перед теоремой. Дано — Знание. Требуется доказать — нужно ли это знание людям? И нет другого доказательства, как вынести все это на своих плечах. Донести до самого последнего, скинуть к чертовой матери и сказать...

— Не нужно! — крикнул я.

— Ишь как скоро. Эксперимент все еще идет. И остановить его нельзя, пока жив на Земле хоть один человек нашего поколения.

— Ты же сам сказал, что могут не все знать. Так что не все поколение.

— Нет, брат, именно поколение. Помнишь — поколение первой революции, гражданской войны, освоения космоса. И не важно, сколько там в процентах шло под красным флагом, носило шинель, летало в межпланетных кораблях. Важно, что были такие поколения. А иначе — как их различать? По годам? Отсчитал два десятка, и готовое поколение? Нет, брат. Поколения, прости ты меня за громкие слова, по подвигам отмечают. А подвиг — это попросту, по-человечески, — когда до смерти страшно и трудно, и все равно делаешь. Не знаю, как там в истории нас будут величать, но мы, по-моему, имеем право на то, чтобы считаться поколением.

Я посмотрел на него — кто его знает, может, они тут умели держать себя в руках, но как-то не вязалась его простодушная рожа со словом «подвиг».

Мы оба поднялись.

— Ну, я поехал.

Мы вышли на площадку. Два мобиля — один тяжелый,

набитый роботами и всяким снаряжением, а другой желтый, одноместный, дежурили у двери.

Джабжа подал мне ручищу, поросшую рыжей шерстью, выдохнул мощную струю теплого воздуха и сказал:

— Вот что... Когда твое восхищение Егерхауэном дойдет до предела, вызывай Хижину, мобиль и лети сюда. Салют, Рамон.

— Салют, Джошуа.

— Джабжа, — сказал он и расплылся. — Джа-бжа.

Я забрался в машину. Мои лыжи лежали на полу. Мир был желт и чист, словно я сидел в банке с медом и смотрел из нее на оседающие подо мной горы. Хижины уже не было видно — ее скрыли облака.

— Я не опоздал? — спросил я просто потому, что ничего другого не догадался придумать, пока летел.

— Нет, — сказала она и направилась к веранде, на которую подавалась еда.

Я пошел следом, полагая, что двойной завтрак — не столь суровая расплата за беспутно проведенные полсутки.

Я старательно запихивал в себя все, что имел глупость заказать десять дней назад.

Сана пристально смотрела на меня:

— Тебе нездоровится?

— Что ты. Просто я уже перекусил там.

— Тогда не будем терять времени, — сказала она, поднимаясь. — Я ведь тоже уже позавтракала.

Я прекрасно понимал, что это неправда.

— А мне нравится, — упрямо сказал я и продолжал давиться какой-то гнусной рыбой.

Она стояла, опершись на стол, и спокойно смотрела на меня.

Великое Знание, думал я с горечью. Великое Знание, принятое на свои плечи сильными мира сего. Посмотрел бы Джабжа на эту сцену... А ведь Знание — оно действительно велико и могуче. Если бы я был сейчас свободен, я уже летел бы к Кипру, чтобы на себе испытать, что же оно дает. Я не сомневался, что дать оно может очень много. Вопрос в том — кому? Может быть, Джабжа именно поэтому и стал таким, какой он есть. И Лакост именно поэтому создал своего мифического «Леопарда». Илль и Туан не в счет — они еще дети, они еще над всем

этим не задумывались. Но когда задумаются — это делает их более сильными, цельными, настоящими. Я в этом тоже не сомневался.

Но зачем это Сана? Чтобы иметь право мучить меня своей заботливостью? Чтобы мягко напоминать мне, что я должен идти на прогулку, и повязывать мне на шею теплый шарф, и потом сходить с ума от беспокойства, и встречать так, как она сегодня встретила меня, и снова отпускать, и снова притягивать обратно...

Я сделал последнюю попытку:

— Садись и ешь. Когда на человека смотрят, у него пропадает аппетит.

Она и не подумала сесть. Я швырнул вилку и молча пошел в кибернетическую. Ее платье шелестело за моей спиной.

Вдоль стен стояли какие-то развалины внушительных размеров.

— Это еще что за сюрпризы?

— Кибер-диагностики старого образца, без имитирующих схем. Диагностики в прямом смысле — без методики лечения. Определение самого факта заболевания. Я думала, что на первых этапах они могут натолкнуть тебя на некоторые мысли.

Я был не против того, чтобы у меня появились хоть некоторые мысли. Я подошел к первому попавшемуся киберу и сделал вид, что разбираюсь в его схеме. Хорошо, что Сана была врач, а не механик. Отвертки в руках было мне достаточно, чтобы создать видимость рабочего состояния. Когда прошло минут пятнадцать, я взглянул на Сану. Она не собиралась уходить. Она подключилась к самому грандиозному из этих бронтозавров и сосредоточенно слушала поспешный щебет, доносившийся из фоноклипов. Кажется, мое пожелание — работать вместе — с сегодняшнего утра будет выполняться.

Отступать было некуда, и я занялся схемой своего старика. Бог мой! Это был целый кибернетический город. Сочетание медицинского факультета с целым университетом — никчемные программы физики, математики, биологии, даже философии. Если бы не умение делать уменьшенные копии схем — такая машина заняла бы не меньше кубического километра. Пусть же ее посмотрит Педель и выберет, что нам подойдет.

— Сана, а где Педель?

— Он тебе нужен?

— Разумеется, я без него, как без головы.

— Кажется, он остался там.

— Не может быть. Я же велел ему следовать за тобой!

— Патери Пат его выключил.

Я не стал спрашивать, почему, чтобы не нарваться на нежелательные вопросы. Сана вышла послать дежурного «гнома» за Педелем.

Педель явился через десять минут. Саны не было. «Ага, — подумал я. — Роли переменились. Теперь за мной будет следить он».

Я подошел и ввернул на его брюхе лампочку биопередачи. Но она не загоралась. Это еще ничего не доказывало — он мог запоминать.

— Как прогулялся? — спросил я его.

— Не помню, был отключен. Включила только что Сана Логе.

— Послушай-ка, — я решил его спровоцировать. — Если бы какому-нибудь человеку для нормальной деятельности были необходимы ежедневные прогулки, лыжные, например, и человек бы их совершал — как ты думаешь, он делал бы это оттого, что он должен, может или хочет?

— Должен, — не раздумывая, изрек он. — Человек должен поддерживать способность ежедневной активной деятельности.

— Ну, спасибо, ты меня успокоил, — я казался себе последним подлецом. — Что у тебя в программе на сегодня?

Программа его была обширной, и я велел ему заниматься делом. Бедная рыжая скотинка. Когда-то разговоры с тобой развлекали меня, хоть ты и не был для меня подобием человека, как для Саны. С тобой мне было лучше, чем с некоторыми людьми. Но вот я встретил настоящих людей, и ты стал мне не нужен. Сейчас ты просто не нужен мне, но придет день, и я почувствую, что ты — мой враг. Ты — с ними, с Патери Патом, с Элефантусом и... с Саной. Ты их дитя. Нет. Ты их выкормыш. Ну, работай, работай. Кибервраг.

Педель кротко хлопотал над нашей схемой и вряд ли подозревал, что я объясняюсь ему в ненависти. Просто я сегодня спал всего около трех часов, надо было послать его подальше и завалиться где-нибудь в уголке. Но вдруг войдет Сана, и тогда придется объяснять, что я делал всю ночь, и пересказывать наши разговоры, а я чув-

ствовал, что никогда этого не могу сделать. Я уселся в кресло с книгой в руках и вытянул ноги. Конечно, два механика на один заповедник — капля в море, даже при самых совершенных подсобных роботах. Какая у них должна быть система сигнализации! Подумать страшно. Как бы Джабжа не нашел себе механиков, не дождавшись того времени, когда я смогу свободно распоряжаться собой. Не могу же я сказать ему, что привязывает меня к Егерхауэну. Хотя я не думал, что смогу говорить с чужими людьми о тех, четверых, а вот смог — и словно вылечился. Джабжа... В колледже мы называли таких «дворнягами». А из них вот кто вырастает.

Вошла Сана. Я едва успел ткнуться носом в книгу. И потом так непринужденно обернулся:

— Что, обедать?

— Нет еще.

О, четыреста чертей и спаржа в майонезе, как говорили уважающие себя пираты. Да кончится ли этот день?

Я тупо смотрел на Сану, которая задавала Педелю какие-то расчеты. Через месяц — охота на оленя. Мы договорились.

Я засучил рукава и пошел работать уже по-настоящему. Месяц можно было потерпеть.

За обедом молчали. Я невольно спрашивал себя, знают ли все о моем ночном приключении? Говорить первым я не хотел, чтобы не сесть в лужу, а вдруг они не знают, и я сам попрошусь на нежелательные расспросы. Патери Пат ел быстрее обычного и не смотрел в мою сторону. Наверное, догадался о моей вчерашней попытке сделать из Педеля шпиона. Иногда обменивались беглыми фразами о погоде — теперь-то я понимал, что здесь, на территории заповедника, это не банальный разговор, а важная информация, от которой зависят многочисленные группы людей, бредущих сейчас снежными альпийскими тропами.

Меня удивляло только одно: почему этих людей, собравшихся за обеденным столом Егерхауэна, так интересовали судьбы незнакомых альпинистов? Ведь я испытал на себе, что на простое человеческое участие у них не хватает времени. Традиционная тема? Пожалуй.

Я смотрел на Элефантуса, грустно шевелящего огромными ресницами. Он как раз говорил об обвалах. Обвалах, возникающих от громкого звука — выстрела, например. Как же это я согласился пойти на охоту, не

умея стрелять? Запасное оружие у них, несомненно, есть; научусь я быстро, сеанса за два-три. Значит, мне нужно слетать туда и взять первый урок.

Десерт я доел с аппетитом, явно порадовавшим Сану. Мы вернулись к себе, я прогнал Педеля, крутившегося у меня под ногами, и начал тренировать схему на простейшие задачи. Как ни странно, все шло хорошо. К вечеру Сана уже беспокоилась:

— Но разве так можно? — мягко выговаривала она мне. — Все утро только делал вид, что разбираешься в схемах, зато вечер проработал с утренней интенсивностью. А прогулка?

— В конце концов, могу я сам решать, что мне делать, а что — нет?

— Я не об этом. Ты изматываешь себя...

— Мне просто не хватает времени. От ежедневных прогулок придется отказаться, в лучшем случае я смогу выходить на лыжах один-два раза в неделю, но часа на четыре.

— Разумеется. Не забывай только «микки».

— Конечно, не забуду. Ты ведь знаешь, что я без няньки ни на шаг.

— Я плохая тебе нянька, милый...

— Плохая. Злая. Неласковая. Ворчливая. Вот.

— Как быстро дети вырастают из своих игрушек и своих нянек...

— А давай сделаем все наоборот. Я сам стану тебе нянькой. И, честное слово, я уж не отпущу тебя никуда одну. И не позволю работать невыспавшейся. И не уложу спать непрогулянной...

Она вдруг побледнела.

— Нет, нет, если можешь — пусть все останется, как есть...

И снова я не мог понять — читаю ли я ее мысли, или это моя фантазия, но мне отчетливо послышалось дальше: «Если ты будешь нянчиться со мной, носить меня на руках, баюкать меня — я буду каждую минуту чувствовать, что умираю».

— Ну, ладно, — сказал я ласково. — Все остается по-прежнему. А я хочу спать, нянюшка.

Я долго гладил ее золотые волосы, гладил даже тогда, когда она уснула. Потом уснул и я. Но во сне мне явилась черная девочка, и я был не рад ее приходу. Она сидела

на спине огромного оленя, обнимала его за шею и говорила: «Он у меня хороший», и я не мог понять, как она может говорить так об олене — ведь он ей вовсе не брат...

На другой день Элефантус, Сана и Патери Пат, наконец, разрешились. Это, правда, была только часть того, что я должен был закодировать, даже не половина — только симптоматика, но все равно это была уже активная работа, и я вздохнул свободно.

Для Саны наступили блаженные дни — она могла кормить меня с ложечки. Я буквально не выходил из кибернетической, куда все прибывали и прибывали старые и новые машины. В основном это были кибердиагностики, или киды, по важнейшим видам облучения. Она-то знала их прекрасно, хотя где она могла с ними сталкиваться? Как-то я не выдержал и спросил ее об этом. Сначала она сделала вид, что не расслышала, а потом сказала как-то вскользь, что последние годы заведовала радиационной лабораторией Сахарского космодрома.

Работы все еще было по горло, и Сана все стояла у меня за спиной с той именно лентой, которая могла мне понадобиться в ближайшую секунду, с бутербродом или свитером, и я примирился со всем этим.

И вдруг все кончилось. Мне казалось, что остановка только за мной, а на деле выходило, что я торопился впустую, так как дальнейшая программа не составлена еще и вчерне и ожидаются материалы из Колхарана и Мамбгра.

Сана предложила мне продолжить теоретические занятия с Педелем. Я довольно резко ответил, что он слишком перегружен подсчетом всех поглощаемых мной продуктов. Сана посмотрела на меня укоризненно и заметила, что не может делать это собственноручно только потому, что не располагает достаточным математическим аппаратом.

Я облегченно вздохнул — наконец-то у Саны пробудилось чувство юмора. Я не удержался и спросил, за кем еще из ее сахарских космонавтов она ходила с бутербродами и теплыми набрюшниками. Сана опустила голову.

— Я чувствовала, что рано или поздно ты задашь мне этот вопрос, — сказала она тихо. — Эти одиннадцать лет

я выполняла свой долг. И только. Я никого не любила кроме тебя, Рамон.

Я сжал кулаки. Ну что я мог сделать?

Больше у меня не появлялось желания напоминать ей о прошлом.

К концу обеда на третий день моего вынужденного отдыха я не выдержал.

— Послушай, Патери, — сказал я за обедом. — Может быть, ты передашь мне некоторые материалы, не дожидаясь тех, что должны прибыть с востока? Не беда, если там не все будет доработано — Сана исправит на месте.

Патери Пат вскинул голову. Лицо и шея его стали вишневыми, багровыми и, наконец, ослепительно алыми, как свежееободранная говядина.

— Если ты страдаешь от избытка свободного времени, — ответил он сквозь зубы, — можешь прогуляться на лыжах. У тебя это здорово получается.

Он уткнулся в тарелку и торопливо доел, шумно дыша и сминая скатерть. Быстро встал, отвесил неопределенный поклон и вышел. Его черный «бой» засеменил за ним.

По тому, как посмотрели друг на друга Сана и Элефантус, я понял, что они тоже ничего не понимали.

Не завидовал же он мне в конце концов?! А может, он так же, как и я, хотел бы сейчас не знать?..

Меня утешало то, что Патери Пат считался в какой-то степени талантом или даже гением, а таким даже положено быть немножко свихнувшимися.

Я преспокойно доел свои черешни и повернулся к Сане:

— Благими советами нужно пользоваться. Отдохнем немного, и — в горы. Только учти, что на сей раз я без тебя не пойду.

Сана беспомощно развела руками:

— Я не экипирована.

— Какая жалость! — я состроил постную рожу. — Ну, идем, мне придется поделиться с тобой одной лыжей.

Она тревожно глянула на меня. Попрощалась с Элефантусом. Молчала всю дорогу.

Дома я пропустил ее вперед, а сам задержался в маленьком холле. Педель, неизменно сопровождавший нас всюду, въехал в дом и покатился было на рабочую половину, но я его остановил:

— Педель,— сказал я тихо,— мои лыжи, палки и ботинки, и еще одни лыжи, палки и ботинки, те, что поменьше, в той же кладовой.

Он стоял передо мной навтыжку.

— На складе Егерхауэн-юг-два имеется только одна пара лыж, палок, ботинок.

— Что ты врешь, милый? — удивился я.— Они лежат рядом, я сам видел. Ты просто забыл.

— Совершенно верно. Забыл.

— Так принеси обе пары.

— Не могу. Помню только об одной. Другой на складе Егерхауэн-юг-два не имеется.

Мне не хотелось лезть самому. К тому же мне хотелось переиграть того, кто хотел меня обмануть.

— Совершенно верно,— сказал я.— Ты не можешь помнить о второй паре. Ее до сих пор и не было. Я положил ее туда сегодня утром. Понял? Я положил, это мое. Ты увидишь их, запомнишь, что обе пары мои. Так вот, принеси их мне.

Через минуту Педель приволок то, что мне было нужно

— А теперь пригласи сюда Сану Логе.

Когда она вошла, я обернулся к ней с самым невинным видом:

— Посмотри-ка, что нашел Педель. Вот умница! Я уверен, что все будет тебе как раз впору.

Сана величественно повернулась к роботу:

— Ступайте, Педель, продолжайте работу.

Я чуть не фыркнул. Я думал, что она удивится,— кто же, если не она, мог приказать Педелю забыть? А она отправила его с видом герцогини, выставляющей дворецкого, чтобы устроить сцену своему дражайшему супругу по всем правилам хорошего тона — наедине.

Но она опустила в кресло и молчала, глядя на меня спокойными жуткими глазами. Она умела смотреть так, что пол начинал качаться под ногами.

— Рамон,— сказала она, наконец.— Во имя той любви, которая была между нами десять лет назад и которая не сумела пережить этот срок, я прошу тебя: разреши мне дожить этот год только здесь и только с тобой.

Я схватился за голову. Я толкнул камень, и покати-лась лавина. Я мог вынести одиннадцать лет заточения, но эта патетика на горнолыжные темы...

— Ты хочешь увести меня обратно в мир, из которого

я ушла к тебе. Ведь я столько лет ждала тебя, Рамон, что не могла делить свои последние дни между собой и кем-то другим. Я хочу быть только подле тебя, и ты мне нужен сильным, полным жизни. У тебя есть все — любимая работа, уютный дом, заботливые руки и снежные горы. Живи, мой милый. Работай, забывая меня, — тогда я смогу тебе помочь. Владей этим домом, — я буду украшать и убирать его. Уходи в горы, — я стану ждать тебя, потому что уходящий и приходящий дорожке во сто крат живущего рядом. Но не зови меня с собой.

Я знал, что я должен подойти к ней, театрально грохнуться на колени и, спрятав лицо в складках платья, клясться не покидать ее до последних минут...

Я сдернул со стены «микки» и, как ошпаренный, вылетел из дома. Шагов через пятьдесят опомнился и присел на камень. По фону вызвал Педеля со всеми своими палками и свитерами и в ожидании его съежился под пронзительным весенним ветром. Черт побери, до чего люди всегда умели портить все вокруг себя! Кто бы мне поверил, что после всего этого я еще продолжал ее любить. Я сам бы не поверил. Но я ее все еще любил. Я знал, что говорить ей об этом — бесполезно, потому что она примет это лишь как утешение, а выдумывать что-нибудь я сейчас просто не мог. Сил не было. Потому что я ее любил.

Глава VII

Я мчался вперед, словно за мной по пятам гнались изголодавшиеся леопарды. Проскочил лес с такой скоростью, что за мной стоял туман осыпающегося с елей снега. Оглянулся. Нет, рано — мобиль, спускающийся сюда, будет виден из Егерхауэна. Я круто свернул влево и понесся вниз по склону. Скорость была сумасшедшей даже для такого безопасного спуска. Но я его хорошо знал. Постепенно я начал тормозить. Потом резко поставил лыжи на ребро и остановился.

«Хижина... Хижина...» — вызывал я, поднеся «микки» к самому рту, так что он стал теплым и матовым.

«Хижина слушает. Чем могу помочь?» — раздался металлический голос.

Ну, конечно, при экипаже в четыре человека дежурить у фона людям было нецелесообразно. Вероятно, роботы рассматривали все поступающие сообщения и только в крайних случаях подзывали людей.

«Прошу односторонний мобиль на пеленг,— сказал я.— Пеленг по фону».

И запустил «микки» на пеленговые сигналы.

Облаков не было, и Хижину я увидел издалека. Она стремительно неслась мне навстречу. Тонкая черная фигурка выплясывала на площадке какой-то дикий танец. Разумеется, это могли быть или Туан, или Илл. Я потянулся к щитку и поймал по фону Хижину. Из черного диска полетели восторженные вопли: «Эй, вахта, поднять сигнальные огни! На горизонте один из наших кораблей!»

Мобиль шлепнулся у самых ее ног.

— Скорее! — кричала она. — Именно сегодня вы нам нужны вот так! Ну, вылезайте, вылезайте, а то он сейчас вернется.

Именно сегодня я и не был расположен прыгать, как весенний зайчик. Мне хотелось излиться. Я хотел Джабжу. Мне нужна была его жилетка. Я вылез и начал ворчать:

— Благовоспитанная горничная не свистит в два пальца при виде гостя, словно юнга на пиратском корабле, а складывает руки под передником и вежливо осведомляется, что посетителю угодно.

— Ладно, ладно, будет вам и благовоспитанная горничная, будет даже чепчик, а сейчас ступайте вниз — нам не хватает механика.

Она схватила меня за руку и потащила в узкую щель двери.

— Скорее, скорее, — она бесцеремонно втокнула меня в кабину грузового лифта. — Мы хотим успеть, пока не вернулся Туан...

— А чем я могу быть полезен?

— Что-то не ладится с блоком звукового восприятия.

— У чего?

— У Туана.

Я не успел переспросить, как лифт остановился, и Илл потащила меня дальше, через обширные помещения, которые, насколько я мог догадываться, были аккумуляторными, кибернетическими, кладовыми и киберремонтными. Наконец, в небольшой комнате с голубоватыми мягкими стенами я увидел остальную троицу. Лакост и

Джабжа наклонились над сидящим в кресле Туаном и, кажется, причесывали его, помирая со смеху. Илль побежала и залилась так звонко, что я сам ухмыльнулся.

Наряд Туана меня потряс. Весь в белых блестящих доспехах, особенно подчеркивающих его стройность, в белоснежных замшевых перчатках, обтягивающих кисть, которой позавидовала бы и сама Илль, он развалился в кресле, предоставив товарищам подвигать и укладывать свою роскошную бороду. Аромат восточных духов плыл по комнате. Я смотрел на него и не мог понять — на кого он больше похож: на прекрасного рыцаря-крестоносца или на не менее прекрасного сарацина?

— Подымись, детка, и приветствуй дядю, — велел Джабжа и дернул Туана за роскошный ус.

Туан выпрямился.

Я обомлел. Это был Туан и не Туан. Это был самый великолепный робот на свете, с самой конфетной, слащавой физиономией, от которой настоящему Туану захотелось бы полезть на стенку.

«Туан» отвесил сдержанный, исполненный благородства поклон. Чувствовалась дрессировка Лакоста.

— Ну? — спросила Илль.

— Выставьте его в парикмахерской, — посоветовал я.

— Жаль, нет всемирной ассоциации старых дев, — сказал Лакост.

— Он фигурировал бы на вступительных испытаниях, — подхватил Джабжа.

— Мальчики, отдайте его мне, — потребовала Илль. — Ручаюсь, что снова введу идолопоклонство.

— Это все очень весело, но он работает нечетко. Рамон, вас не затруднит покопаться в одном блоке?

И мы с Лакостом бесцеремонно влезли в белоснежное брюхо этого красавца.

С полчаса мы доводили его до блеска, изредка перекидываясь шуточками. Мальчик заработал, как хронометр. Насколько я понял, он предназначался для простейших механических работ, но основной его задачей было дублировать Туана в его инструкторской деятельности. Для этого он намотал на свой великолепный ус не только пособия и инструкции по альпинизму и горнолыжному спорту, но также архивы базы со дня ее основания и все исторические документы, относящиеся к Швейцарскому заповеднику, что на деле оказалось потрясающим переч-

нем трагических событий, случившихся в этих горах. Нечего говорить — это был эрудированный парень.

Мы кончили возиться с ним как раз к тому моменту, когда раздался металлический голос:

— Мобиль «хром-три» прибыл на стартовую площадку. Мы переглянулись.

— Свистать всех наверх! — сказала Илья громким шепотом, словно с площадки нас можно было услышать.

В одно мгновение мы были в том небольшом зале, отделанном бревнами, где я провел свою первую ночь в Хижине.

Туан вошел одновременно с нами в противоположную дверь.

— Где это вы пропадаете все хором? — подозрительно спросил он.

Было похоже, что последние дни повлияли на его характер не вполне благотворно.

— Да вот, познакомили гостя с помещением, — Джабжа растянул рот до ушей.

Туан пошел навстречу мне с протянутой рукой:

— Вот здорово! А мы вас вспоминали.

Мне стало приятно оттого, что меня вспоминали здесь.

— Новости есть? — спросил он встревоженно.

— Да, и неутешительные. Тебе придется вылететь на шестнадцатый квадрат, — тоном начальника, не терпящего возражений, проговорил Джабжа.

— А что, их завалило? — с надеждой поднял на него глаза Туан.

Теперь я понял, в чем дело. Это были все те же, не моложе восьмидесяти лет.

— Еще нет, — отвечал неумолимый Джабжа. — Но они ждут этого с минуты на минуту. Учитывая их возраст, нельзя отказать им в любезности, о которой они просят.

— Что еще?

— Ты должен провести их через перевал сам.

— Я — альпинист, а не дамский угодник, а перевал — не место для прогулок. И никаких уважаемых дам я не поведу!..

— Поведешь!

— Пари!

— Десять вылетов.

— Ха! Двадцать! И приготовь свой мобиль.

Джабжа повернулся к двери.

— Туан! — крикнул он, и дверь тут же отворилась.

Мы были подготовлены к этому зрелищу, и все-таки что-то в нас дрогнуло. На пороге стоял Туан, устремив вперед задумчивый взгляд прекрасных карих глаз. Нежнейший румянец заливал его щеки там, где они не были прикрыты бородой.

Илль высунула кончик языка.

— Туан,— сказал Джабжа, и глаза робота, мерцающая золотистыми искрами, как у дикого козла, повернулись и уставились в ту точку, из которой раздался звук.— Поди сюда, ты нам нужен.

Твердыми шагами робот пересек комнату и остановился перед Джабжой. Походка его была сдержанная и легкая. От каждого его движения до того несло чем-то идеальным, что невольно хотелось причмокнуть.

— Чем могу служить? — раздался голос «Туана».

У настоящего Туана отвисла челюсть.

— Вылетишь в шестнадцатый квадрат, встретишь группу альпинистов (раздался хоровой вздох),ознакомишь их с обстановкой и проведешь через перевал. Как только перейдешь границу квадрата — вернешься сюда. Что-нибудь не ясно?

— Ясно все. Какой мобиль могу взять?

— «Галлий-один». Метеосводки блестящие, получишь их в полете. Запросишь сам.

— Могу идти?

— Ни пуха, ни пера. Ступай!

Еще один безупречный поклон, и двойник Туана исчез за дверью.

— Душка! — не выдержала Илль, посылая ему вслед воздушные поцелуи.— Пупсик! Котик!

Джабжа похлопал по плечу истинного Туана:

— И приготовь свой мобиль...

Туан, пошатываясь, поднялся во весь рост и начал демонстративно выщипывать волоски из своей бороды.

— Раз,— считал Лакост,— два, три, четыре, пять, шесть...

— Больно,— сказал Туан и махнул рукой.— Сейчас сбрую.

— Туан! — взвизгнула Илль, бросаясь к нему.— Только не это!.. Вспомни о своей незнакомке. Ради нее ты обязан нести бремя своей бороды.

— Ну, будет, будет,— Джабжа поймал ее за черные пальцы.— Борода входит в инвентарь Хижины и поэтому

остаётся неприкосновенной. А теперь нелишне было бы спросить, с чем пожаловал к нам высокий гость?

В двух словах я поведал свои опасения относительно неумения владеть огнестрельным оружием. Джабжа нахмурился.

— Все-то теперешней молодежи кажется так легко... — я был уверен, что старше его лет на пять — семь. — За один месяц ты, конечно, научишься бить бутылки, да и то, если будешь делать это ежедневно. Но на оленя я тебя с собой не возьму. А теперь пойдем, побалуемся. А ты, стриж, позаботься об ужине.

Иллэ вскинула ресницы и усмехнулась. Мне почему-то показалось, что если бы она захотела, она смогла бы шевелить каждой ресницей в отдельности.

Мы вышли на площадку. Я не то, чтобы боялся высоты, а как-то не очень радовался перспективе иметь под ногами у себя метров пятьсот свободного вертикального полета. К тому же, я не видел мишени, по которой можно стрелять. Разве что по облакам.

— Пошли! — крикнул Джабжа, но я понял, что это относится не ко мне. И действительно, справа и слева от нас поднялись два маленьких мобиля, между которыми была натянута веревка. На веревке раскачивалась дюжина бутылок. Мобили повисли метрах в тридцати от нас.

Должен сказать, что этот день был днем разочарования не только для Туана. Я сделал около пятидесяти выстрелов по облакам, четыре по правому мобилю, два — по левому, и один — по бутылке. Зато в самое горлышко.

— М-да, — сказал Джабжа и начал объяснять мне, как нужно заряжать и разряжать пистолет.

Я быстро усвоил это и, взяв пистолет, не задумываясь выстрелил ему в ногу, руку и голову. Если бы я сделал это столько же раз, как по облакам, я непременно попал бы, тем более, что стрелял почти в упор. Он еще раз все объяснил мне и стал за моей спиной. После трех безуспешных попыток самоубийства я пожал плечами и вернул ему пистолет. Он спрятал его в карман и коротко, но выразительно высказал мне свою точку зрения на то, что будут делать роботы за нас в ближайшем будущем, если мы и впредь будем так пренебрегать физическими упражнениями.

После этого мы вернулись к обществу в прекрасном расположении духа и с возросшим аппетитом.

Общество состояло из двух медвежьих шкур и Лакоста поперек них.

— Ну, как? — он поднял голову от книги.

— Я утвердился в своих пацифистских тенденциях, — сказал я, чтобы смеяться первому.

Но Лакост, по-видимому, истощил свое остроумие на Туане и теперь мирно прикрывался книгой. Я не думаю, что здесь стали бы щадить гостя. Просто на сегодня уже хватит.

Стол был уже накрыт. Никаких изысканных кушаний, вроде жаркого из медвежатины, не наблюдалось, но во всей сервировке чувствовалась та грациозная небрежность, которая сразу отличала этот стол от Егерхауэнского, где все готовилось и подавалось роботами.

— Уже явились? — раздался из-за двери звонкий голос Илль. — Отворите-ка поскорее, мне рук не хватает.

Я бросился к двери, толкнул ее — и остолбенел во второй раз за этот день. Илль скользнула в комнату, с трудом удерживая пять или шесть тарелок.

Но как она была одета!

Она была в длинном и шуршащем.

Она была в белоснежном переднике до полу.

Она была в чепце.

Но ни Джабжа, ни Лакост не только усом не повели, но даже не полюбопытствовали, какое впечатление произвел на меня сей маскарад.

«Не мешать друг другу делать глупости — закон этой Хижины», — вспомнились мне слова Илль.

Она глянула на меня так застенчиво, словно я был знаком с ней всего несколько минут и мог этому поверить, потом спрятала руки под передник и снова исчезла.

Мужчины двинулись к столу. Снова появилась Илль и передала им дымящийся кофейник. Присела на свое обычное место, подперла щеку обнаженной до локтя рукой. Ждали Туана.

— Благодетели! — завопил он, врываясь в комнату. — Нет, это надо видеть своими собственными глазами. Они сбились в кучу, а он перед ними жестикулирует с яростью христианского проповедника. Похоже, что он выкладывает им все трагические истории, происшедшие на этом перевале! Я бы дорого дал, чтобы услышать, что он там импровизирует.

— Бери даром,— сказал Лакост.— Мы учли твое любопытство, и на первых порах все его проповеди записываются. Нужно только подождать, когда он вернется — вот тогда будет потеха.

Как я и предполагал, на станции велись наблюдения за любым уголком заповедника. Интересно, территория Егерхауэна так же свободно просматривается? Надо будет спросить при случае.

Туан обеими руками пригладил волосы, одернул свитер — сегодня в форме был Лакост — и блаженно вытянулся в кресле. Илль подвинула ему тарелку и улыбнулась той странной, милой и застенчивой улыбкой, которую я никак не хотел принимать всерьез. Но остальные отнеслись ко всему, как к должному, и мне не оставалось ничего, как только поглощать ужин и исподтишка разглядывать ее наряд.

Розовый атласный чепец с двойным рядом старинных кружев и лентой цвета голубинового крыла совершенно скрывал волосы, зато белая легкая косынка оставляла открытой шею, обычно до самого подбородка затянутую триком.

Атласная куртка или блуза, или жакет — бог их знает, женщин, как они это называли,— была цвета старого пива, и рукава, поднятые выше локтя, чтобы не окунуть их в какой-нибудь соусник, позволяли видеть узенькие манжеты нижней блузки, к моей досаде, закрывавшей локти. Концы косынки уходили под четырехугольный нагрудник передника, неизвестно на чем державшийся. Юбки мне не было видно, но я помнил, что она была серая, и все время тихонечко поскрипывала под столом. Крошечные изящные ботинки были совершенно гладкие, без украшений. В сущности, все очень просто. Если не вспоминать о том, что в любой момент может раздаться тревога и нужно будет вылететь на место какого-то несчастного случая. Но если отвлечься от гор и пропастей, то я находил спецодежду горничных Хижины просто очаровательной.

Оказывается, играла музыка. Дремучая старина — чуть ли не Моцарт. Я не заметил, когда она возникла, так естественна она была в этой обстановке. Тонкие руки Илль бесшумно царствовали в сиянье неподвижных язычков свечных огней. Я глядел на эти руки, и до меня медленно доходило, какой же потрясающей женщиной

станет когда-нибудь эта девчонка, если уже сейчас она умеет так понять, что при всех распрекрасных дружеских отношениях в этом доме иногда тянет холодком бесконечного мальчишника; и она приносит им всю накапливающуюся в ней женственность, но мудро ограждает себя колдовской чертой неприкасаемой сказочности.

И сегодня рыцарем ее был Лакост, хотя она не выделяла его и не улыбалась ему больше, чем кому-нибудь, но что-то общее было в ее старинном костюме и его ультрасовременном трике с серебристым колетом, в подкладку которого так хорошо монтировались всевозможные датчики; может быть, несколько столетий тому назад она и выглядела бы в таком наряде, как служанка; но сейчас это была фея, и фея одного из самых высоких рангов. А Лакосту не хватало лишь ордена Золотого Руна. Разговор за столом велся вполголоса, я давно уже за ним не следил, и меня не тревожили, разрешая мне предаваться своим мыслям, и я удивлялся, как это в прошлый мой визит я мог подумать, что этот мальчик Туан имеет какое-то отношение к ней.

Ужин уже окончился, но никто не вставал; музыка не умолкала. Мы сидели за столом, но мне казалось, что все мы кружимся в медленном старинном танце, улыбаясь и кланяясь друг другу. И Илья танцует с Лакостом.

«А собственно говоря, почему меня так волнует, с кем она?» — подумал я, и в ту же секунду глухие частые удары ворвались в комнату. Казалось, отворилась дверь, за которой бьется чье-то исполинское сердце. Но удары тут же приглохли, и на их отдаленном фоне зазвучал бесстрастный голос:

«В квадрате шестьсот два обвалом засыпана группа людей в количестве семи человек. Приблизительный объем снеговой массы будет передан в мобиль. Продолжаю ориентировочные расчеты. Необходим вылет механика и врача».

Лакоста и Джабжу уже не было в комнате.

Я посмотрел на Илья. На ее лице появилось выражение грустной озабоченности. И только. Она поднялась и стала убирать со стола. Туан тоже встал и, как мне показалось, неторопливо удалился в центральные помещения.

Наверное, все шло, как полагается, ведь не в первый же раз в заповеднике случается обвал. Но мне казалось, что все до единого человека должны начать что-то делать,

бегать, суетиться. А они остались, словно ничего и не случилось. Илль унесла посуду и села у едва тлеющего камина, положив ноги на решетку.

— Сегодня много обвалов,— сказала она, кротко улыбувшись, словно сообщала мне о том, что набрала много фиалок.

Я понял, что это — приветливость хозяйки, которой волей-неволей приходится развлекать навязчивого гостя. Я поднялся.

— Не уходите,— живо возразила она.— Вы ведь видите, меня бросили одну.

Как будто я не знал, что она одна-одинешенька лазает ночью по горам.

— Оставайтесь же — солнце еще не село.

В прошлый раз я бы спросил: «А что мне за это будет?» — и остался бы. Сегодня я просто не знал, как с ней разговаривать — у меня перед глазами стояло тонкое, чуть насмешливое лицо Лакоста. Я подбирал слова для того, чтобы откланяться самым почтительным образом и тем оставить для себя возможность еще раз навестить Хижуину. Но вошел Туан.

— Почти ничего не видно — «гномы» поднимают стену снега. Лакост и Джабжа висят чуть поодаль и говорят, что все хорошо.

— Почему — висят? — не удержался я.

— Они не выходят из мобилей, так как никогда нельзя забывать о возможности вторичного обвала. «Гномы» сами откапывают людей и притащат их Джабже.

— А если они все-таки попадут под обвал?

— И так бывало. Тогда полечу я.

Он был уже в форме.

— А твой двойник? — напомнила Илль.

— Черт побери, из головы вылетело.

Туан повернулся и бросился обратно.

— Я уже придумала ему кличку,— сказала Илль.

— Кому?

— Двойнику. Мы будем звать его «Антуан».

Я пожал плечами. Где-то под снегом задыхались люди, а она болтала о всяких пустяках. Неужели костюм так меняет женщину?

— Не волнуйтесь, Рамон,— сказала она мягко.— Мне сначала тоже казалось, что я должна вмешиваться в каждый несчастный случай. Но я здесь уже четыре года и

знаю: когда летит Лакост — волноваться нечего. Они сделают свое дело. А через несколько минут можем понадобиться и мы. Это — наша жизнь, мы привыкли. На войне — как на войне.

Я не удержался и глянул на нее довольно выразительно. Эта горничная очень мило щебетала о войне. А сама боится ходить на охоту.

— А вы когда-нибудь держали в руках пистолет?

— Да, — просто сказала она, — я стреляю хорошо.

— А вы сами попадали под обвал?

— Несколько раз, — так же просто ответила она. — Один раз Джабжа едва разбудил меня.

Мне стало не по себе от этого детского «разбудил». Она даже не понимала как следует, что такое умереть.

— Скажите, — вдруг вырвалось у меня, — а разве не бывает здесь случаев, когда люди приходят в горы умирать? Знают, что им не избежать этого, и выбирают себе смерть на ледяной вершине, что ближе всего к небу?

— Я не совсем понимаю вас. Неужели человек, которому осталось немного, будет терять время на то, чтобы умереть в экзотической обстановке? Он лучше проживет эти последние дни, как подобает человеку, и постарается умереть так, чтобы смерть была не последним удовольствием, а последним делом.

С ней решительно нельзя было говорить на такую тему. Я продолжал лишь потому, что хотел закончить свою мысль. Может быть, когда-нибудь, с возрастом, она вспомнит это и поймет меня.

— Мне кажется, Знание, принесенное «Овератором», гораздо обширнее, чем мы предполагаем. Вряд ли вы наблюдали за этим, но мне кажется, что у человека пробудился один из самых непонятных инстинктов — инстинкт смерти. Вы знаете, как раненое животное уползает в определенное место, чтобы умереть? Как слоны, киты, акулы, наконец, образуют огромные кладбища? Их ведет древний инстинкт, утерянный человеком. И мне кажется, что сейчас этот инстинкт не только снова вернулся к человеку, но стал чем-то более высоким и прекрасным, чем слепой двигатель животных — как случилось, например, с человеческой любовью, поднявшейся из инстинкта размножения.

Илль смотрела на меня уже без улыбки.

— А вы уверены, что есть такой инстинкт — смерти? Мне почему-то всегда казалось, что люди придумали его. Есть инстинкт жизни. Если бы я была зверем, что бы я делала, смертельно раненная? Уползла бы в одной мне известное место, чтобы отлежаться,лизать раны и выжить. Именно — выжить. Звери не хотят умирать. И если они идут, как слоны, в какое-то определенное место — я уверена, что эта область или отличается здоровым климатом, или полезной радиацией, но звери идут туда жить. Иначе нет смысла идти. Но почему-то люди замечали лишь трупы не сумевших выжить, а про тех, кто оказался сильнее, кто смог подняться и уйти снова к жизни, люди забыли. Да это и не удивительно — ведь люди отыскивали этот инстинкт и называли его именно тогда, когда человеку и самому подчас жить не хотелось. Ну, подумайте, разве вы стали бы что-нибудь делать, чтобы умереть? Нет. И звери этого не делают, и я, и вы, и все...

Мне не хотелось продолжать разговор, я видел, что она не понимает меня, но это было уже не детское невосприятие сложного взрослого мира, а свой, вполне сложившийся взгляд на вещи, о которых я в таком возрасте еще не задумывался.

Я посмотрел на Илью сверху вниз. Как тебе легко! Вокруг тебя люди, с которыми не страшно ничто, даже *это*. Они растят тебя, позволяют баловаться маскарадами, свечами и каминами, играть в спасение людей. Они передали тебе свои знания, свое мужество и свою доброту. То, что ты сейчас говорила мне, — тоже не твое, а их. Всех их, даже этого смазливового мальчика Туана. И сейчас ты останешься с ними, а мне пора улетать, мне пора туда, где, стиснув зубы, я буду бессильно глядеть на то, как уходит и уходит, и никак не может уйти самый дорогой для меня человек. Этому человеку можно все — сводить меня с ума, заключать меня в каменный мешок проклятого Егерхауэна, потому что она любила меня и ждала — и теперь она имеет право на всего меня.

— Мне пора, — сказал я и пошел к выходу.

— До свидания, — услышал я за своей спиной обиженный детский голосок.

Что-то поднялось внутри меня — глухое, завистливое; я выскочил на стартовую площадку и плюхнулся на дно мобиля, кляня всех, кто живет так легко и красиво;

живут, не зная, что они вечно что-то должны. Нет, злость моя не была завистью — я мог бы остаться с ними, — а сознанием совершенного бессилия заставить Сану прожить последний свой год так, как они.

Я шел по тяжелому весеннему снегу и мне казалось, что сто́ит мне обернуться — и я увижу сверкающую в лунном свете вершину горы, где живут эти удивительно, чертовски обыкновенные люди, которые, наверное, никогда не делали проблемы из того, чего они хотят и что они должны.

Сана, разумеется, не спала. Она ходила по комнате, и походка ее была тяжела и неуверенна. Словно на каждом шагу она хотела повернуться к двери и бежать куда-то, но сдерживалась. Мне она ничего не сказала.

Я вытянулся на постели, как человек, прошедший черт знает сколько километров. Я не притворялся — я был действительно так измотан. Чуть было не улыбнулся, вспомнив «Антуана». И уже окончательно за сегодняшний вечер разозлился на себя за то, как я держался с Иллъ. Бедный ребенок. Ей бы жить да радоваться, а тут лезут всякие самодеятельные философы со своими новоявленными инстинктами. А она еще, наверное, в куклы играет. Туан с ней по горам лазает, Джабжа носик вытирает, Лакост интеллектуально развивает. Ну, чем не жизнь? Потом она в одного из них влюбится, будет очень трогательно скрывать от двух других, потом совершенно нечаянно и обязательно в героической обстановке эта любовь выплывет на свет божий, и вот — свадьба на Олимпе. Я с ожесточением принялся рисовать в уме этакую лакированную картинку: невеста, по древним обычаям, вся в белом, только очень внимательный взгляд может усмотреть между высокой перчаткой и кружевом рукава черную матовую поверхность трика. Глухие сигналы тревоги нарушают торжественное звучание мендельсоновского марша, и вот уже мощный корабль уносит юную чету навстречу первой их семейной опасности. Бестр-р-репетной рукой снимает Иллъ со своей головки подвенечную фату, а Лакост...

Почему — Лакост?

Всё во мне возмутилось.

— Что ты? — спросила Сана.

— Бывает,— сказал я.— Когда долго бегаешь, потом руки и ноги иногда возьмут вдруг и дернутся...

— Да,— сказала она,— так бывает.

Я боялся, что она сейчас начнет меня еще о чем-нибудь расспрашивать, но она уже спала. Засыпала она удивительно — словно мгновенно отключалась от всех дневных мыслей и забот. И медленно, с трудом просыпалась. Я спрашивал ее, и она объясняла это тем, что работа в Егерхауэне для нее непривычна и она очень устает. Но я понимал, что утомляет ее не работа, а вечное ожидание, вечное напряжение — я знал, что каждая ее минута полна мыслью обо мне; и день — обо мне, и ночь — обо мне, и сейчас — обо мне, и потом — обо мне, и всегда, всегда обо мне.

Глава VIII

С каждым днем Сана становилась все рассеянее. Она забывала, что собиралась делать, иногда вдруг замирала у двери и поворачивала обратно — вероятно, не могла вспомнить, куда перед этим собиралась идти. Движения ее стали намного медленнее, чем зимой. Кажется, она начинала понимать, как дешево стоит механическая быстрота. Но на смену быстроте действий пришла торопливость чувств, словно за эти несколько оставшихся нам месяцев она хотела передать мне всю свою нежность, ласку и еще что-то, горькое и щемящее, чему нет названия на человеческом языке. У вянущей травы это — запах. У человека — не знаю. Наверное, просто боль. И все это вместе было так жгуче и нестерпимо, что иногда мне приходило в голову: а осталось ли у меня к ней что-нибудь, кроме безграничной и бессильной жалости?

Но я твердо знал, что разлюбить можно только тогда, когда на смену одному чувству придет другое. Сейчас ни о чем другом не могло быть и речи. Существовала, правда, Хижина, но я прекрасно отдавал себе отчет, что никогда не полетел бы туда, если бы там меня привлекала женщина, а не замечательная четверка славных парней.

А отдав себе в этом полный отчет, я со спокойной совестью снова направился в Хижину.

На сей раз я застал только Джабжу и Лакоста. Последний был снова в форме и что-то набрасывал на небольшой темной досочке. Джабжа сидел по-турецки, на коленях его лежала толстенная «Методика протезирования кишечного тракта». Эту книгу я как-то видел у Педеля и запомнил по бесконечным таблицам аппетитных розовых внутренностей. Я всегда был высокого мнения о собственных нервах, но после получасового просматривания всех этих гирлянд меня замутило. Я убрал книгу подальше, чтобы она не попала на глаза Сане — странно, но я подчас забывал, что она — врач.

А сейчас я смотрел на блаженную физиономию Джабжи и думал: вот в силу привычки и профессионального интереса то, что мы наполнены какими-то нелепыми шлангами из естественного пластика, его не только не угнетает, а, судя по выражению лица, приводит в состояние тихого восторга. Так, может быть, и к тому, что принес «Овератор», тоже можно привыкнуть? Философски рассмотреть со всех сторон, выявить положительные факторы этого явления, и все станет на свои места, появится даже интерес... А может быть, оупение?

Тем временем меня, наконец, заметили.

— Ну, что? — спросил Джабжа вместо приветствия.

— На сей раз без всякого предлога, — смело заявил я.

— Отрадно.

— Наша Хижина начинает приобретать славу высокогорного курорта, — заметил Лакост, не поднимая головы от своего рисунка.

Значит, не один я здесь надоедаю. Странно еще, что я никого до сих пор не встречал.

— А вы можете задирать нос, Рамон, — сказал Джабжа, словно угадывая мои мысли. — Мы ведь далеко не каждого сюда пускаем, да еще и без предлога.

— От меня ждут реверанса?

— Да нет, оставь это Илль. У нее выйдет грациознее, хотя и у тебя что-то есть в движениях, — с этими словами Лакост протянул мне свой рисунок.

Это был набросок чаши или пепельницы, или еще какой-нибудь лоханки вполне античной формы. На краю чаши, свесив одну ногу, сидел обнаженный сатир. Справа от него, тоже на самом краю, лежала, распластавшись, ящерица, и сатир, полуобернувшись, смотрел на нее.

— При всех своих рожках и копытцах он чересчур строен для сатира,— сказал я.— Да и композиция того, подстать жанровой картинке. В общем, не строго.

— Ишь ты,— сказал Джабжа.— Разбирается.

Он потянул у меня рисунок, потом засмеялся, наверное, до тех пор Лакост ему не показывал. Потом кинул досочку обратно мне.

Я посмотрел и понял, что сатир — это я.

Вот чудеса! Можно было подумать, что кто-то видел, как я тогда, еще летом, разговаривал с ящерицей на побережье. Но набережная вроде была пустынная. К тому же нужна была феноменальная память, чтобы запомнить случайного прохожего, да еще и умудриться его раздеть. И еще эти рога и копыта...

— Это еще откуда? — позволил я себе удивиться.

— А так. Просто есть подходящий кусок порфирита, серый с лиловато-коричневым оттенком. Отдам в грубую обдирку по эскизу, а остальное закончу сам.

— И зачем?

— Илья под шпильки. Девочка страдает снобизмом — у нее каждый гребешок должен быть ручной работы.

— Забаловали ребенка.

— Все он попустительствует,— Лакост кивнул в сторону Джабжи. Тот только ухмылялся.

— А кстати, где она?

— На вызове. Случай пустяковый, справился бы и робот, да люди перетрусили, в первый раз — им человек нужен.

Я вспомнил себя, барахтавшегося на дне ледяной канавы и понял, что в моем случае тем более не требовался человек — достаточно было послать робота.

— Они сами вызвали помощь?

— Да нет, просто мы знали, что тропа вскоре оборвется, а сзади ее засыпало. А на тропе пятеро, все малыши. Илья полетела им носы вытирать.

— Значит, вы постоянно наблюдаете за каждым километром заповедника?

— Во-первых, не мы, а сигнальщики. Как только сигнальщик чувствует недоброе — он поднимает тревогу. Так было в прошлый твой приезд, с обвалом.

— А сигнальщики не опаздывают?

— Все, что ты тогда слышал, было передано до того, как обвал накрыл людей. Он еще двигался, а мы уже вылетали. Потому и точные координаты, и толщину

снеговой массы мы узнаем уже в мобиле. Во-вторых, за каждым километром смотрят наблюдатели, они учитывают состояние дорог, ледников, массивов снега и подобную статистику. Сигнальщики же прикреплены к людям — как только человек пересекает границу заповедника, к нему приставляется сигнальщик. Это — его ангел-хранитель.

— Посмотреть бы...

— А что ж. Товар лицом.

Мы оставили Лакоста продолжать свои псевдоантичные экзерсисы и поднялись в зал наблюдения.

Он находился этажом выше и занимал всю верхушку горы, так что потолок его конусом уходил вверх. Стены его представляли собой огромный экран, то распадающийся на отдельные участки, то сливающийся в единую панораму. Какие-то ящики ползали вдоль стен, то поднимаясь на тонких металлических лапках, то вообще повисая в воздухе, перебираясь один через другой и тыркаясь в самый экран. Вероятно, это и были сигнальщики.

— А вот и Илль, — сказал Джабжа, подводя меня к мутно-голубому экрану. Шесть темных фигурок двигались по совершенно гладкой стене, карниз не просматривался.

— Она идет первой?

— Нет, она сзади. Плохая видимость — граница квадратов.

— А далеко это отсюда?

Джабжа что-то сделал с ящиком, висящим перед этим экраном.

— Двести шестьдесят четыре километра, — голос, подававший тревогу, раздался откуда-то сверху. Он очень напоминал красивый баритон Джабжы. Ну, правильно, у каждого сигнальщика не может быть собственного диктодатчика, это было бы слишком сложно.

— Центр должен иметь колоссально много параллельных каналов, — сказал я полувопросительно.

— Еще бы! Недавно его сильно переоборудовали — станция ведь создавалась лет триста тому назад, многое ни к черту не годится, да и тесновато.

— Мы в детстве собирались в Гималаи, да я начал готовиться к полетам, — заметил я как-то вскользь.

Джабжа замахал руками.

— Тоже мне горы! Говорят, на Эверест от подножья до верхушки сделаны ступеньки с перильцами. Там же таких станций, как эта, штук двадцать, ей-ей. Санатории

и дома радости на каждом шагу. Высокогорные театры и цирки. Не заповедник, а балаган. Он же начал осваиваться первым, когда люди потянулись из Европы и Северной Америки на необжитые пастбища. Все три столетия, пока осваивался Марс, а Европа чистилась от активных осадков и шел демонтаж всех промышленных предприятий, пока города освобождались от гари и транспорта, пока фанатики древности, вроде Лакоста, носились с реконструкцией каждого города в его собственном архитектурном стиле — Швейцарский заповедник стоял пустыня пустыней. Хорошо еще, какая-то добрая душа догадалась напустить сюда всякого зверья, по паре всех чистых и нечистых. Говорят, за это время здесь даже саблезубые тигры появились. Я их не встречал, но почти верю. А когда Европу снова «открыли», пришлось создать здесь станцию по примеру Гималаев, Килиманджаро, южноамериканского «Плата» и антарктического «Мирного». Но уже здесь — никаких излишеств и курортов. Путевые хижины с комфортом, достойным каменного века. Если уж ты мамин сынок — так и катись в Гималаи. Там одних подвесных дорог, как от Земли до Луны.

Он говорил, а я все смотрел и смотрел на шесть темных черточек, движущихся вдоль светло-серой стены. Как Джабжа узнал, которая из них Илль? Я смотрел и смотрел и все не мог угадать. Для меня они были одинаковы.

— Ну, пошли вниз, — сказал Джабжа, и мы очутились в плавно закругляющемся коридоре.

— Наша кухня, впрочем, здесь ты уже был. Святая святых. У меня шеф-повар — удивительно тонкой настройки тип. Я его три года тренировал, помимо того, что в него было заложено по программе. И Лакост с Туаном повозились с ним немало.

— Понимаю, — сказал я. — Я ведь тоже через это прошел. Вероятно, самыми тонкими гурманами были настоятели монастырей.

— Дураки, если они ими не были.

— Были, иначе делать нечего.

— А у тебя был хороший повар там, на бую?

— Никакого. Мне это в голову не приходило. Да и консервы все были свежие — мы сами же их привезли.

— Консервы! Ну, тут-то я определенно повесился бы. Ну, потопали дальше. Наша гостиная на современный лад. Ничего интересного.

Действительно, ничего интересного. И вид совсем не жилой, вероятно, это у них что-то вроде конференц-зала для официальных приемов. В следующую дверь мы не заглянули.

— Здесь мое царство — можешь не портить себе настроения. Ведь не всегда можно везти пострадавшего в Женеву — там ближайшая больница. Прекрасная, конечно, но до нее полчаса полета с самых отдаленных точек. Не всегда же можно быстро маневрировать. Но на свое оборудование я не жалею. Что надо. Ну, а теперь — смотри. Только, чур, не распространяйся: веду контрабандой.

Это была мастерская скульптора. Мне не надо было говорить, что здесь все принадлежит Лакосту.

— Смотри, — сказал Джабжа почти благоговейно, — это и есть Леопард.

По наклонной скале полз вверх черный леопард. Он был мертв, он костенел, но все-таки он еще полз. Он знал, что если он доберется до вершины — он обретет жизнь. И он полз, чтобы жить, а не за тем, чтобы умереть. Столько воли, отчаяния и напряжения последних сил было в этом могучем, поджаром теле, что невозможно было подумать, что он стремится к тому, чтобы умереть. Глядя на него, я понял, о чем говорила Илль.

— Камень для него тащили чуть ли не с Альдебарана. Чудовищной величины обломок — это ведь уменьшенная копия.

— А где же подлинник? — догадался спросить я.

— На вершине, — сказал Джабжа. — На вершине Килиманджаро. Я его там видел. Кстати, там я и познакомился с Лакостом и утащил его сюда. Ну, пошли, а то еще хозяин пожалует.

Дальше комнаты следовали одна за другой, образуя чуть закругленную анфиладу — вероятно, они шли вдоль наружных стен.

Огромные машины. В центре каждой из них поднималась женская фигура, выполненная из какого-то прозрачного пластика. Легкие щупальца оплетали фигуру, словно лаская ее.

— Ну, это тоже неинтересно — пошивочные машины. Здесь колдует Илль.

Я подошел поближе и понял, что машин не так уж много, а просто все стены уставлены зеркалами. Со

всех сторон на меня смотрели мои отражения. Стенд с чертежной доской, перед ним — вычислительный аппарат. По всей вероятности, достаточно было набросать эскиз, а машины уже разрабатывали модель и передавали точные чертежи кибершвеям.

— Сколько же у нее костюмов?

— Вот уж не считал. Сшито, наверное, сотни две, но многое она передает в Женевский театр.

— Тоже мне мания.

— Да нет, это ей необходимо.

Ну, естественно, это было необходимо всем женщинам, начиная с каменного века, только не всегда мужчины с этим соглашались.

Мы прошли к следующей двери. Справа и слева стояли машины поменьше, и в центре их на тонких дисках помещались маленькие, наверное, детские, ноги. Казалось, огромные пауки захватили в плен эти ножки и цепко держат их в своих металлических лапах. В полутемной мастерской было прохладно и грустно. Здесь Илль играла, наряжая самое себя. Но здесь не пахло детским весельем. Наверное, потому, что сейчас здесь не было Илль.

— А это ее студия, — и я очутился в странной комнате. Она была треугольная, очень узкая и длинная. Здесь был такой же полумрак, как и в костюмерной мастерской. В центре стояло несколько кресел, на полу валялось три подушки. В остром углу, от которого расходились обтянутые черным репсом стены, помещалась странная установка, напоминавшая пульт биопроектора в сочетании с кабиной для физиологических исследований. Противоположная стена была вогнутая и слабо мерцала.

— Не понимаешь? Ну, садись.

Я уселся в первое попавшееся кресло.

— Смотри туда. — Джабба кивнул на мерцающую стену.

Свет погас. Странная музыка, необыкновенно мелодичная, зазвучала со всех сторон. Мне казалось, что она рождается где-то во мне. Одновременно от плоскости стены отделилась светящаяся точка и стала расти, превращаясь в трепещущее облачко. Это была юбка, или, вернее, добрый десяток юбок, сложенных вместе. Когда-то очень давно в таких одеяниях танцевали балерины. Теперь я мог уже рассмотреть руки, ноги, даже черты лица. Я удивился тому, что это была не Илль, а какая-то другая

женщина. Рядом с ней появился ее партнер, весь в темном; рассмотреть его хорошенько я не смог. И в музыке все отчетливее зазвучали два человеческих голоса — мужской и женский. Постепенно они вытеснили все инструменты и остались вдвоем, и если бы даже не было танцовщиков, а звучали только эти голоса, я, вероятно, видел бы тот же странный, медленный танец, придуманный Джабжей. Казалось, что они танцуют, не чувствуя своей тяжести, словно плавают в воде. Танцуют, все время касаясь друг друга, словно боясь разлететься в разные стороны от одного неосторожного движения и потеряться в необъятном пространстве. И, не отрываясь, смотрят друг на друга.

Но спустя несколько минут я заметил, что между ними появилось серое плотное пространство, не просто разделяющее, а отталкивающее их друг от друга; вот они расходятся дальше и дальше — вот они уже бесконечно далеки, и бесконечность, лежащая между ними, все равно не мешает им чувствовать друг друга, и каждый продолжает танцевать так, словно он чувствует руку другого, словно он видит глаза; только что сиявшие рядом, и в свободном своем паренье они все еще опираются на руку, которой нет, но которая должна поддерживать их... Странный это был танец. Символика какая-то.

В студии зажегся свет.

— Хочешь попробовать? — спросил Джабжа.

— Да нет. Я ведь и этим пробовал заниматься. Иногда что-то выйдет, но все не то, что нужно, и как-то кусочками, мертво... Ты бы еще предложил мне попробовать стихи сочинять. Так вот рифму я тебе любую подберу, а целое стихотворение — уволь. Бездарен. А я и не подумал бы раньше, что ты ко всему еще и тхеатер.

— Ну уж! Это так, для себя. Вот Илль — это голова.

— Ты тут с ней занимаешься?

Он наклонил голову, и мне вдруг почудилась такая нежность — и во взгляде, и в выражении лица, и во всем, — как он слегка приподнял руки с широкими плоскими пальцами, словно на руках его лежало что-то нежное и бесценное, и как он глотнул и не ответил, а наклонил голову, и я понял, что ни Туан, ни Лакост тут ни при чем и что круглая физиономия с глуповатой улыбкой — это лицо актера, могущего стать настолько прекрасным, насколько только он сам сможет этого захотеть, и что никто, кроме Джабжи, не даст Илль того, что ей

необходимо — бескрайней фантазии, воплощенной в реальные картины создаваемого им мира. Я знал, каких нечеловеческих усилий стоит создать одновременно и музыку, и фон, и движущихся, дышащих, живых людей, и не давать угаснуть ничему, и подчинять все это своей фантазии... Не всякий, кто напишет несколько рифмованных строк, — поэт. Но тот, кто создал хоть одну полную сцену, тот уже тхеатер. В старину в таких случаях говорили — это от бога. Вот уж воистину! Можно просидеть десятки лет, тренировать себя до умопомрачения, в совершенстве создавать геометрические фигуры, машины, здания, но придумать, создать с начала до конца хоть несколько секунд человеческой жизни — это мог только настоящий талант.

А вот они, оказывается, это умели.

Джабжа — это еще ничего. Но Илль, девчонка?..

— Джабжа, — сказал я. — Покажи мне Илль.

Он быстро взглянул на меня. Плоское, флегматичное лицо его ничего не выражало. Потом одна бровь приподнялась:

— Ишь ты! Так сразу и покажи. Да если я это сделаю, ты из Хижины не улетишь.

— А ты думаешь, мне так хочется улететь? — спросил я. — Только это было бы слишком просто, если бы из-за Илль.

Джабжа молчал. Догадывался ли он, что привязывало меня к Егерхауэну, или даже знал точно — не имело значения. Он был молодчина, что молчал. А я вот сидел верхом на каком-то табурете, и все покачивался в такт музыке — светлая и удивительно ритмичная, она никак не хотела исчезать — и говорил, говорил...

— Джабжа, — говорил я, — мир вашей Хижины чертовски древен, это другая эпоха, Джабжа. Это ушедшая эпоха пространства, где все — вверх, вперед, в стороны. Ты знаешь, как развивалось человечество? Сначала оно познавало пространство — как врага, настороженно, с оглядкой. Времени тогда люди просто не замечали — оно было выше их понимания. По мере того, как человек начал отходить от своего жилища, он стал завоевывать пространство. Тогда и возникло первое, такое смутное-смутное представление о времени. Не о том времени, что от еды до охоты. О Времени. Ты меня понимаешь. Но это представление открыло такую бездну, что лучше было обо

всем этом и не думать. И человечество занялось пространством, благо оно покорялось довольно элементарно. И вот старик Эрбер решил закончить эпоху покорения расстояний — любой уголок вселенной должен был стать доступным для человека. Но вместо того, чтобы закончить одну эпоху, он сразу открыл новую эру.

Джабжа все молчал, наклонившись над пультом и выцарапывая на его панели какого-то жука.

— Ваша Хижина осталась в милом добром пространственном веке, — продолжал я. — В нем остались и все вы, и даже те двое, которых ты только что создал передо мной. Они были легки и наполнены светом, потому что не чувствовали каждым квадратным сантиметром своей кожи того чудовищного давления времени, которое легло на плечи всех остальных жителей Земли...

— А ты ее видел, всю Землю? — быстро спросил Джабжа.

— Видел. Я видел людей, стремительных до потери человеческого тепла.

— И по одной этой быстроте ты уже заключил, что все на Земле — психи, вроде твоих коллег, я имею в виду Элефантуса и этого... Пата.

От неожиданности я даже перестал качаться. Вот тебе и на! В свете теории о подвигах поколений именно Элефантус и Патери Пат (в меньшей степени, разумеется) казались мне героями своего времени. Они отдавали себе полный отчет о кратковременности своего пути и поэтому старались как можно больше сделать. Я ведь видел, как скупой тратили они свое время на все то, что не касалось непосредственно работы. Значит, это не героизм — отдавать всю свою жизнь науке?

— Ну, Джабжа, — я только пожал плечами, — ты, братец, необъективен. Они же работают, как каторжные.

— Знаю, — сказал Джабжа, — ну и что? Работа на полный износ организма — это не заслуга. Теперь об этом только такие мальчишки, как Туан, мечтают. Да и то по глупости.

— Но если есть поколение какого-то подвига, то должны же быть и его герои!

— Вот-вот. Пара вас с Туаном. Все герои, пойми ты это. А не понимаешь — садись в мобиль и катись в любой центр, лишь бы там было много людей.

— Не сейчас, Джабжа.

Он опять промолчал.

— Вот и пойми тебя: то — «психи», то — «все герои».

— Чего тут понимать? Герои-то — люди, а люди разные бывают.

Против этого трудно было возразить.

— Да,— сказал я,— очень разные. Даже в наш век.

— Причем тут век. Вот ты тут теорию развивал, что были когда-то люди, которые не чувствовали давления времени. По скромному моему пониманию, думал ты одно, а говорил — другое. Тебе не дает покоя не Время — вообще, философски, а просто-напросто даты, принесенные «Овератором». Так?

— Так,— сознался я.

— И ты полагаешь, что люди только сейчас задумались над этим вопросом? Нет, Рамон. Узнать свой век — это с давних времен было мечтою сильных и страхом слабых. Есть такая сказка, старая-престарая, из сказок про доброго боженьку. Был такой боженька — по доброте своей людей тысячами губил, младенцами тоже не брезговал; земли целые прахом пускал. Слышал, наверное. Сотворил этот бог людей и довел до сведенья каждого, сколь быстро он его обратно в лоно свое приберет. Ну, возни у бога в те времена много было — целую метагалактику отгрохал, не скоро руки опять до Земли дошли. А когда дошли, совершил он инспекторскую поездку по некоторым районам Средиземноморья. И первый, кто попался ему на глаза, был здоровенный детина, который крушил вполне пригодный для эксплуатации дом. «Ах ты, сукин сын,— завопил добрый боженька,— что это ты делаешь с жилым фондом!» — «А то,— отвечал детина,— что завтра мне помирать, а чтоб соседу моему ничего не досталось, и дом свой поручу, и овец порежу». Проклял его бог и постановил: никому смерти своей не знать. С тех пор мир был на Земле. Относительный, конечно.

Мы помолчали.

— Дикая сказка,— сказал я. — И кто ее выдумал?

— А кто знает? Торгаш какой-нибудь. Мелочь человеческая. Странно только, что на эту сказку умные люди частенько ссылались. Ну, да черт с ней. Примерно в эти же времена жил другой человек. Поэт. И писал он по-другому. Вот послушай один его стих:

«Скажи мне, господи, кончину мою, и число дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой...»

Сдержанная сила, какое-то непоказное бесстрашие и бесконечная искренность этих скупых слов потрясли меня.

— Подстрочник Данте?

— Да нет, подревнее. Говорят, царь Давид, только не похоже — такое бесстрашие вряд ли могло быть у человека, который слишком много терял вместе с жизнью. Скорее всего — безвестный мудрец, древние цари тоже не дураки были, — Джабжа поднялся, — умели, наверное, себе референтов подбирать.

Мы снова были в коридоре. Осталось всего четыре одинаковых двери — Джабжа прошел мимо них.

— Вот, собственно, и всё. Это наши личные апартаменты — клетушки Лакоста, Туана, моя и Илль. Да вот, кстати, и она возвращается.

Я бы не сказал, что заметил хоть какой-нибудь признак ее появления.

— Не удивляйся — мы привыкли узнавать каждый подлетающий мобиль.

— Но я не слышал ни одного.

Джабжа толкнул дверь гостиной и пропустил меня первым.

— Тем не менее за то время, пока мы осматривали эти развалины, около десятка вылетело и столько же вернулось. Центральный кибер сам распоряжается всеми механизмами и вызывает нас только в крайних случаях. Ну, ладно, экскурсия окончена. Что есть, то есть. Хочешь — бери.

— Сейчас — не могу.

— Догадываюсь. Но не отказываешься — и то хлеб.

— Очень-то я тебе нужен...

— Да так, приглянулся, знаешь.

— Вот уж не подумал бы...

И тут в комнату ворвалась Илль.

— Ага! — закричала она так, что язычки свечей испуганно шарахнулись. — Мне отпуск! На целый вечер!

Туан и Лакост, сидевшие за прекрасными агальматолизовыми шахматами, даже не подняли головы.

— Ну и пожалуйста, — буркнул Туан. — Только можно без визга? Меня и так в дрожь бросает. Нет, надо же так припереть человека!

Лакост невозмутимо поглаживал бородку двумя пальцами.

— Ну, Туан, ну, миленький,— Илль не выпускала своей жертвы,— ну, покатаемся!

— Когда выиграю.

Лакост многозначительно кашлянул.

— Ну и сохни тут!— Илль махнула на него рукой.— И сам не идет, и другого не пускает. А у Джабжи насморк. Сговорились. Ироды.

И тут она увидела меня.

Я испугался, что она сейчас повиснет на моей шее. Какое-то чудо удержало ее от этого.

— Вот,— она указала одной рукой на меня, а другой на потолок.— Есть бог на небе. Определенно.

— Есть,— отвечал я.— Определенно. И это он сегодня подсказал мне не брать с собой лыжи...

— Не выйдет,— отрезала Илль.— Лыжи в мобиле. А боги не врут, у них это строго. Чуть что — и к высшей мере, как у Вагнера.

— Из вас бы такой диктатор...

— А что, горничная — плохо?

— Мне не понравилось.

— Здорово! Как честно. А эти (большим пальцем через плечо) только и врут, только и хвалят. Ну, ладно, пошли, остатки комплиментов на свежем воздухе.

— Прекрати сопротивление,— посоветовал мне Джабжа.— Бесполезно. Теперь понимаешь, почему я тебя сманиваю. Нам всем уже вот как приходится.

Илль между тем уже выталкивала меня из комнаты. Я нечаянно оглянулся.

Черт побери, глядя на эту троицу, я готов был прокладывать свои лыжи, что ни один из них не отказался бы быть на моем месте. Это была самая неподдельная, хорошая зависть. Так какого дьявола они отказались?

— Общий поклон,— сказал я.— Подчиняюсь грубой силе. Но за мою самоотверженную жертву потребую от вас двойной ужин. Скоро вернусь.

— Идите, идите!— Илль долбила меня в спину пальцем.— Еще упирается

Я, собственно говоря, уже и не упирался.

А в мобиле она опять сидела притихшая, и опять на полу, обхватив колени руками. А я сел верхом на сиденье, лицом к ней, и опять беззастенчиво глядел на нее во все глаза и все думал: что это я так радуюсь? И понял — это потому, что сегодня она — такая, какая есть, и я до по-

следней ее реснички знаю, какая же она — настоящая, а когда знаешь человека так, как умудрился я узнать Илль, тогда он тебе в какой-то мере уже принадлежит.

Я знал, что когда мобиль приземлится, мне будет худо. Уж тут-то она разочтется за то, что сейчас ей приходится сидеть, прижав к груди острые коленки, и терпеть мой беззастенчивый взгляд.

Так и было. Илль выскочила первая, едва мобиль шлепнулся на снег, я кинул ей все ее снаряжение и неловко выпрыгнул сам, слегка подвернув ногу. Хорошо еще, что она не видела: я не сомневался, что такой факт послужил бы у нее поводом для насмешек, а не забот.

Склон был великолепен. Он так и располагал к тому, чтобы свернуть себе шею на бесчисленных пнях, уступах и поворотах. Да и тени были длинноваты — солнце уже садилось.

— Готовы? — крикнула Илль. — Для начала предлагаю пятнашки, вам сто метров форы. Удирайте!

— Думаете, откажусь?

Я взмахнул палками и ринулся вниз. Где-то высоко-высоко, за моей спиной раздался пронзительный птичий крик, и тут же я почувствовал, что меня догоняют. Не прошло и двух минут, как тонкая лыжная палка весьма ощутимо приложилась к моей спине и черный проворный чертенок замелькал уже где-то впереди. Ну, ладно же, и я, вместо того, чтобы обогнуть довольно неприятный уступ, образующий трамплин не менее трех метров, ринулся прямо на него, рискуя врезаться в непрошенный кедр, который торчал явно не на месте. Но, оказывается, она ждала от меня именно этого, потому что, не видя меня, она вдруг резко затормозила и пропустила меня вперед, даже рукой помахала.

Нетрудно догадаться, что сквитать счет мне не удалось. Я присел на корточки и признал себя побежденным. Вид у меня был потрепанный. Извалялся я как медвежонок, меня можно было бы и пожалеть.

Илль подпустила меня поближе. Я так и ехал на корточках, волоча палки за собой.

— Сдаюсь, — сказал я кротко, — иссяк.

Илль слегка наклонила голову и посмотрела на меня, прищулив один глаз. Одна бровь выражала у нее презрение, а другая — сострадание.

— Вóда-вóда-неотвóда,— сказала она,— пороссячая порода.

У меня перехватило дыхание.

— Что?— догадался я переспросить.

— А то, что сорок тысяч поросят и все на ниточках висят!

Если бы я не сидел на корточках, я встал бы перед ней на колени. Я был, наконец, на Земле.

Илль почувствовала, что сейчас я брякну что-нибудь сентиментальное. Она подняла рукавичку:

— Только без лирики, я ее боюсь.

Я кивнул. Какая уж тут лирика! Я не имел на нее ни малейшего права.

Мы тихо и долго ехали вниз. В долине было уже темно. Снег почти везде стоял, лишь возле камня виднелись небольшие серые плешины. Мы присели на глыбу. Ее прикрывало что-то шероховатое — не то мох, не то лишайник. Я в этом не разбирался.

— Да,— констатировал я печально,— после инструктора по альпинизму кататься с таким дилетантом, как я...

Илль пожала плечами:

— Туан гоняется по горам один, как шальной козел. Ему нужна прекрасная незнакомка.

— Ну, взяли бы Лакоста.

— Он неженка, не любит холода.

— Что же он торчит на станции? Тоже ждет незнакомку?

— Это его Джабжа уговорил.

— Вот Джабжа и остается.

— Он-то обычно меня и прогуливает.

Так я и думал. Эта обманчивая внешность, эти занятия, даже комнаты рядом...

— Он ждет жену...— донеслось до меня откуда-то издалека. — Она уже два года в полете и вернется осенью.

В сердце у меня вдруг что-то булькнуло — горячее такое. Ох, и дурак же я! Вообразил невесть что. Я вспомнил образ женщины, созданный Джабжей и удививший меня тем, что это — не Илль. Умница, Джабжа, молодчина, Джабжа! Как это кстати, что ты женат! Как это здорово!

— А что? — спросила вдруг Илль.

— А ничего,— ответил я.

Ну что я мог, что имел право ей сказать? Я просто

спихнул ее с камня, и она, брыкнувшись, покатилась в снег.

Бац! — я получил снежок прямо в лицо. Бац! Бац! Ах, ты, задиристый чертенок! Я прыгнул, пригнул ее к земле и ласково ткнул носом в снег. И в ту же секунду почувствовал, что совершаю какой-то абсолютно противостественный кувырок. Заскрипели по снегу шаги, что-то темное бесшумно мелькнуло в небе.

— Илль! — крикнул я. — У меня отнялись руки и ноги! Тишина.

Черт побери, кому это было надо — обучать ребенка всяким диким приемам, да еще на мою голову?

Я полез осматривать все камни и трещины. Минут через пятнадцать вспомнил о «микки», вызвал Хижину.

— Чем могу быть полезен? — раздался металлический голос, но в ту же минуту его заглушил смех, в котором явно не слышалось ни доброты, ни сострадания:

— Ну, что, неблагородный рыцарь со страхом и упреком, попались? Не думайте, что разрешу кому-нибудь вылететь к вам раньше, чем доем ваш двойной ужин.

— Подумаешь, не очень-то и хотелось.

— Вот и славно. Бегу за стол.

Тем не менее, мобиль появился чересчур быстро — вероятно, она послала его сразу же, как только прибыла на станцию. Я погрузил все имущество и вдруг подумал, что один раз следовало бы вернуться домой вовремя. Для разнообразия.

— Вот, — злорадно повторил я, словно Илль только и делала, что дожидалась меня, — не очень-то и хотелось. И нехотя полетел домой.

Это я здорово придумал. И хорошо, что я придумал это именно сегодня. Во всяком случае, Сана стояла у большого окна нашей комнаты, положив пальцы на стекло, и долго-долго смотрела, как я, весь в снегу, едва передвигая ноги, приближаюсь к дому. Я махнул ей рукой, но она не ответила мне и даже не улыбнулась. Она смотрела на меня так, как можно смотреть на человека, которого сейчас вот потеряешь. И надо насмотреться на всю жизнь. Только ей надо было насмотреться не на жизнь, а на ту бесконечность, которая приходит после жизни. Я подошел и прижался лбом с другой стороны стекла. Она не шевельнулась. Мне вдруг захотелось взмахнуть руками, ударить по этому роскошному стеклу и, перешаг-

нув через осколки, схватить ее и сделать что-нибудь, встряхнуть, сломать внутри нее что-то неподатливое, что всегда заставляло ее по-чужому выпрямляться мне навстречу. Но я знал, что она лишь отступит назад и приподнимет брови, и опять я пойму, что делаю не то, что с ней так нельзя...

Я оттолкнулся от стекла и пошел в дом, не глядя больше на Сану. Старательно переоделся. Когда я вошел в нашу комнату, она уже сидела в кресле.

— Рамон,— сказала она,— я прошу тебя об одном...

Я посмотрел на потолок. Ленивая тоска поднялась откуда-то снизу и наполнила меня всего чем-то клейким, вязким, цепенящим. Смертная тоска.

— Я прошу тебя брать в такие походы оружие.

— Хорошо,— глядя вбок, отвечал я, хотя это был заповедник, где не могло быть и речи о каком бы то ни было оружии.

Наконец-то мы получили сведения из Мамбгра, что на одном из транснептуновых буев удалось зафиксировать слабый конус сигма-лучей. Дело было в том, что спустя несколько лет после возвращения «Овератора» Высший Совет открытий и изобретений никак не давал разрешения на проведение эксперимента Эрбера даже в самых ничтожных масштабах. Когда же было получено, наконец, разрешение — целый grossбух различных оговорок, поправок, ограничений, указаний и т. д. и т. п. — то оказалось, что прямой переход Эрбера не влечет за собой выброса сигма-лучей. Перепробовали все элементы таблицы Менделеева, в стартовой камере целыми граммами исчезали драгоценные «редкие земли» — эффект был нулевой. Повторять же эксперимент в том масштабе, в котором он уже был поставлен, означало бы снова подвергнуть Солнечную угрозе сигма-удара.

И вот сейчас поступило сообщение: загадочные лучи возникли, когда переходу подвергли маленькую биоквантовую схему в состоянии активной деятельности. Специальная ракета доставит на Землю пораженных излучением мышей и кроликов. Принять контейнер с животными должна была лаборатория на Рио-Негро, сейчас туда спешно направляли автоматику и убирали людей — исследования, разумеется, должны были быть дистанционными.

Я спешил, налаживая аппаратуру для приема микропередач.

Дела мои шли хорошо. Мешал только Педель, который совался всюду, куда его не просили, и скороговоркой сыпал мудрые советы. Я выпроваживал его, и если Сана была со мной, он оставлял меня в покое. Но если ее не было — через минуту он невозмутимо являлся и занимался чем угодно, лишь бы торчать возле меня. Я начал гонять его в Центральный поселок за каждой мелочью, но он сразу догадался препоручать это другим «боям», а сам возвращался на свой пост. Однажды я с раннего утра выгнал его и велел не показываться мне на глаза. Он исчез. Я славно проработал часа три — Сана плохо выпалась и осталась в спальне. Вдруг я поднял голову — у меня появилось ощущение, что за мной кто-то следит. Стены были непроницаемы — я это знал. Но вот дверь... Я подскочил и резко распахнул ее — этот негодяй стоял, прильнув к щели.

— Ну? — спросил я.

— Я принес вам кофе. По-турецки.

— Поставь на стол.

Он скользнул к столу и сразу жеткнулся в разобранный блок:

— Ретектор не выдержал напряжения. Какое несчастье! Хорошо еще, что осталась запасная...

— Ты свободен, Педель.

— Как вам угодно.

Рабочего настроения — как не бывало. Я с ожесточением пнул «гномика»-паяльщика так, что он отлетел к противоположной стене и приклеился к ней своими присосками. Из ниши выскочил «бой»-уборщик, смел паяльщика со стены в свою корзинку и потащил к мусоропроводу. Я подошел к стеклянной стене, стал смотреть на тающий снег. Завтра истекала неделя с моей памятной экскурсии по Хижине — значит, я имею право на очередное посещение. Я остановил «боя», вытащил у него из корзинки паяльщика и снова принялся за свои экраны.

А потом был вечер, и ночь, и утро, и весь день, и они пронеслись, чем-то переполненные и удивительно незаметные. Когда-то в детстве мне пришлось бежать через тлеющий торфяной луг. Я закрыл голову курткой, намоченной в канаве, и побежал, низко пригнувшись, а потом полоса дыма кончилась, и я пошел дальше, пошел очень

медленно, дыша всей грудью и остро ощущая каждый оттенок луговой травы и вообще все, чего раньше не замечал в своих прогулках. А потом снова была полоса дыма, и снова я бежал, не зная, долго ли я бегу, и что вокруг меня и кто со мной. Я сейчас так и не мог вспомнить, кто тогда был со мной.

Глава IX

Получилось так, что в Хижину я выбрался только к самому вечеру. Разумеется, следовало отложить эту поездку на завтра и с пользой провести там полдня, но я ждал целую неделю — и пропади все пропадом, если я был способен прождать еще двадцать четыре часа в этом раю.

Я сказал, что я — недалеко.

Но Илья опять же не оказалось на месте. Гнусно ухмыляясь, Джабжа тут же доложил мне, что она улетела в Париж, отмечаться в очереди на «Гамлета». На мое счастье, в скудной библиотеке буя классика была представлена сносно, и мне сейчас не приходилось гадать, что такое «Гамлет» — автопортрет, симфония или коктейль. Правда, до сих пор я не слышал, чтобы эта трагедия где-нибудь ставилась.

Джабжа покачивал головой в такт каким-то своим мыслям. Он был сегодня какой-то взбудораженный, беспокойный. Ждал Илья? А что ему за нее волноваться — она ведь не впервой улетала за несколько тысяч километров. А может быть, совсем и не Илья? Ведь он ждет, ждет уже несколько лет. А я по себе знал, как иногда, ни с того, ни с сего, ожидание вдруг становится сильнее тебя, и начинаешь действовать и говорить так, словно ты — это уже не ты, и вообще ты никого не ждешь, и все на свете — это так, шуточки; и чем больше в таких случаях стараешься, тем меньше в тебе остается тебя самого, и если ты говоришь не с дураком, то он все это прекрасно видит.

— Ну, ладно,— сказал я, имея в виду очередь на «Гамлета»,— прождать два года — не такой уж героизм.

— Ты думаешь? — быстро спросил Джабжа, и я понял, что он говорит о своем.

Я немножко разозлился:

— А тебе не кажется, что теперь стало чертовски легко ждать? Вам тут, в Хижине, наверное, на всех вместе еще лет пятьсот отпущено. Так что же — два года для одного из вас? Когда ждешь годы, то самое страшное — каждый день начинать с мысли: а жив ли тот, кого ждешь? Вам можно позавидовать. Вы прекрасно знаете, что куда бы ни улетел тот, другой, вы всегда увидите его если не вполне здоровым, то, во всяком случае, живым.

Джабжа невесело усмехнулся:

— Мы поначалу тоже так думали, — спокойно ответил он, не обращая внимания на мой раздраженный тон. — Но когда вернулся «Теодор Нетте»... Ты слышал о таком?

Собственно говоря, о «Теодоре Нетте» я знал только то, что всегда, с незапамятных времен, на Земле существовал такой корабль. Сначала это был пароход. Потом — универсальный мобиль. Затем — планетолет. Когда один корабль выходил из строя, создавали другой, еще более совершенный, и называли тем же именем. Это была давняя традиция, но с чем она связана — как-то вылетело у меня из головы.

— Так вот, — Джабжа видел, что я тщетно напрягаю свою память. — «Теодор» улетел тогда, когда ты сидел на своем бую. Ты о нем и знать не мог. Улетел на Меркурий. С людьми. Да, да, с людьми, а не с киберами, хотя и их хватало. Весь экипаж состоял из молодых, здоровенных парней, каждому из которых оставалось еще очень много... А обратно корабль привели все-таки киберы. Все люди оказались в анабиозных капсулах, куда их втащили роботы. И до сих пор не очнулся ни один...

Мы помолчали.

— Что бы там ни было, а ждать — это всегда ждать. — Джабжа тряхнул головой, словно отгоняя все эти непрощенные мысли. — Ну, мы с тобой отклонились определенно не в ту сторону. С чего мы начали? С очереди? Так вот, запись возникла сразу же, как только Сидо Перейра попросил выстроить здание для постановки «Гам-лета».

— Это — режиссер?

— Тхеатер. И колоссальный.

— Ну, что же, неплохой предлог слетать раз в месяц в Париж.

— Предлог... — Джабжа даже рукой на меня махнул. — А мы-то ломали голову, как всунуть тебя в очередь.

— Премного благодарен. Обойдусь.

— Ладно, ладно, не завидуй. А кстати, Илль ведь тоже занималась «Гамлетом». Года два. Я и то перестал понимать, хорошо все это было или ни к черту. А Сидо Перейра глянул — чуть не обалдел.

— А он-то каким чудом был здесь?

— А ты думаешь — мы одного тебя пускаем?

Я бы не сказал, что мне стало особенно приятно. Великий тхеатер, видите ли.

— Он что, занимается с вами?

— Нерегулярно и только с Илль. Я, по всей вероятности, его не потряс.

А она потрясла. Это совсем меня утешило.

— А где ребята?

— Туан с Антуаном на вылете. Лакост в мастерской. Кстати, ты не будешь скучать, если я поднимусь на минутку в наш амфитеатр?

— Постараюсь.

— Подбрось дровишек в камин, белоручка.

Я подбросил. Уселся у огня. Дверь, ведущая направо, была полуотворена. Я понимал, что я негодай, но это самоопределение не помешало мне, воровато оглянувшись, проскользнуть в коридор. Я знал, что первая дверь — в комнату Илль. Потянул ее, и она легко подавалась. Я только взглянул на клавесин и портрет рыцаря, шитый бледными шелками. Я открыл дверь — в глубине комнаты увидел узкую постель, а возле нее — на полу — огромную охапку еловых веток, широкой, похожей на полосатую осоку, травы и аметистовых звезд селиора, что прижился в ледяных ушельях и круглый год цветет там, где не растет ни одно земное растение. Обыкновенные ветки, обыкновенная трава, обыкновенные цветы. Чудо заключалось в том, что это были те самые ветки, цветы и листья, которые лежали возле меня в первый день этого года.

Я захлопнул дверь.

В гостиной налетел на Джабжу.

— Ты знаешь, я ведь только на минуту... — пробормотал я, находя дверь почти ощупью.

В мобиле я плюхнулся на сиденье и схватился за голову. Кретин, ох, какой кретин! Рвался к ней,— да, черт побери, к ней! — и как врал себе, что она — хороший парень, и что все они хорошие парни, а сам крутил головой, как гусь,— с кем она? И этого, оказывается, мало — и она, как школьница, подглядывала за каждым моим шагом, и стеклянные стены и крыша нашего дома доверчиво открывали ей все, что было между мной и Саной... Все, с первого дня. Все, до последнего цветка.

А я-то, я — маскарады, лыжные прогулки... И на все это я тратил часы, принадлежащие Моей Сане.

От опушки до дома я несея со скоростью планетолета. Перед домом бросил все на снег и, оттолкнув вездесущего Педеля, ворвался к Сане.

— Так скоро? — спокойно спросила она.

— Хватит! — я схватил ее за плечи, повернул к себе. — Плевать мне на все твои доводы, ты должна быть со мной, понимаешь? Каждый час, каждый миг! И вовсе не потому, что это — последний год. Чушь! При миллиардных количествах данных должна быть хоть одна ошибка.

Она покачала головой.

— Замолчи! — крикнул я, хотя она ничего не сказала. — Эта ошибка — ты. Ты проживешь еще сто пятьдесят лет, и все это время я буду с тобой. Потому что я тоже собираюсь жить еще сто пятьдесят лет. А теперь — иди сюда. Будем праздновать ошибку этого идиотского «Овератора».

Она подняла руки и сделала неуверенный шаг вперед. Казалось, все, что я сказал ей, страшно напугало ее, и она вдруг беспомощно остановилась перед той новой жизнью, о которой я говорил ей. Она давно примирилась с тем, что должно было произойти в этом году, и теперь ей было бесконечно трудно перестроить свои планы на будущее, которое вдруг делалось таким далеким. Но самое главное — она поверила мне, потому что то, что было в ее глазах, руках, протянутых ко мне, беспомощно подрагивающих уголках губ,— все это не могло быть ни игрой, ни благодарностью за мое утешение. Это могла быть только вера. И поверить так можно было только в чудо. И поверить так мог только вконец измученный, истрадавший человек.

И я сам протянул к ней руки, пальцы наши коснулись, но я остановил ее на расстоянии наших рук.

— Педель! — негромко позвал я, и он явился тотчас же. — Потолок и стены закрыть дымкой. И пока мы здесь, чтобы они не становились прозрачными.

— Слушаюсь.

Я видел, что где-то под кожей у Саны пробежала дрожь при словах «пока мы здесь». Лицо оставалось неподвижным, но что-то исказилось.

— И вообще я не намерен больше мерзнуть, — решительно заявил я. — Ты говорила, что южная база Элефанта находится где-то на Рио-Негро.

— Да, но ни он, ни Патери Пат не покинут Егерхауэна. Дело в том, что...

— Да провались он к дьяволу! — Меня бесила зависимость от какой-то сиреневой туши.

— Родной мой, не надо все сразу. Раз у нас появилось так много времени — позволим себе роскошь закончить работу, а потом и переберемся. Тем более, что на Рио сейчас будут работать только машины.

— Хоть в Мирный — лишь бы отсюда.

— Там будет видно, милый.

Кажется, кончался май. Кончался и никак не мог окончиться. И снова я понял, что все, решительно всё напрасно. Она превратила мои слова в игрушку для меня самого. Она теперь казалась веселой, но ее оживленная хлопотливость была лишь импровизацией на тему, которую я ей задал и которую она развивала в угоду мне. Стоило мне сказать: произошла ошибка — и она поверила, безоговорочно подхватила эту игру, в покорной слепоте своей даже не задумываясь, верю ли я в ее искренность. А я было поверил. Просто мне в голову не пришло, что можно до такой степени подчинить весь свой внутренний мир желаниям и прихотям другого человека. Если бы я ей сказал: ты умрешь завтра — на завтра она действительно умерла бы, и не бросилась бы со скалы, не подключилась бы к полю высокого напряжения. Нет, у нее просто остановилось бы и сердце и дыхание. Само собой. Когда я это понял, я дал себе слово: сойду с ума, но не сделаю больше ни одной попытки хотя бы на йоту изменить существующее положение.

У меня что-то оказалось много свободного времени — вероятно, раньше я тратил его на полеты в Хижину, —

и я готовил впрок различные блоки — диктовал Педелю, и он с молниеносной быстротой собирал микросхемы. Когда-нибудь пригодится. У меня было ощущение, что рано или поздно я запущу в своего кида чем-нибудь тяжелым, и тогда мне придется все собирать заново. Когда шло программирование, у меня появились кое-какие мысли относительно конструкции, но менять что-либо было уже поздно. Я решил накидать побольше схем, чтобы потом Педель по образцу нашего кида собрал аналогичный, но более совершенный аппарат. Я не знал, насколько это было нужно, но у меня было хоть какое-то занятие. Я все ждал, когда же кончится эта весна, и единственной радостной мыслью была та, что в таком состоянии меня уже никто не видит. Естественно, под словом «никто» я подразумевал одного человека.

А Патери Пат стал смотреть на меня как-то дружелюбнее. Во всяком случае, в его взгляде проскальзывало что-то от быка, которого ведут на убой в паре с другим обреченным, и он благодарен соседу за компанию. Я давно махнул на него рукой, потеряв надежду хоть сколько-нибудь разумно объяснить его поведение.

Иногда меня так и подмывало спросить его: ну, как там тебя, сильнейший и мудрейший, ты, решившийся на эксперимент — на такой эксперимент! — над своей драгоценной особой — установил ли ты, наконец, нужно ли *это* человечеству? Хотя что там человечеству — тебе самому? Да, да, тебе, лиловый бегемот, краса и гордость земной аккумулятопатологии? Ну, что тебе дало *это*? Что изменило оно в твоей жизни? Ведь если бы ты и не знал ничего, ты все равно дрожал бы над каждой своей минуткой, и все равно ты торчал бы здесь, потому что только тут тебе обеспечен идеальный для здоровья климат и вполне устраивающая тебя работа. И все равно ты отравлял бы существование всем нормальным людям, и все равно тебе было бы плевать на этих остальных людей. Так зачем, зачем тебе это Знание?

Тянулся пятидесятый, шестидесятый, сотый день мая, и я с каждым днем тупел все больше и больше и радовался этому той безысходной радостью, с которой человек, пытаемый в застенке, теряет сознание. Иногда, чтобы привести себя в рабочее состояние, я говорил: рано или поздно, но Егерхауэн кончится. И что тогда? Хижина? Но я понимал, что после исчезновения Саны я не смогу

прийти туда, если совесть моя не будет абсолютно чиста. Как не чиста она сейчас. Но пока еще есть время, я должен расплатиться с Саной за все, что было и что могло бы быть между нами. Ведь и сейчас мы могли бы быть с ней счастливы, мы могли бы по-прежнему любить друг друга. Виноват ли во всем проклятый «Овератор»? Первое время я был в этом уверен. Но не все ли равно, кто виноват. Главное, что любовь уходила, и если бы Сана каким-то чудом пережила этот год, не знаю, смог ли бы я остаться с ней или нет. Но я должен был ее потерять, и поэтому платил вперед за то, чего никогда уже не будет. Я запутался во всех этих рассуждениях, и подчас мне казалось, что я просто холодно отсчитываю камешки, как девочки на пляжах: я теряю этот день... и этот... и белые камешки звонко чокают, ударяясь друг о друга и по-лягушечьи упрыгивая в песок.

И просыпаясь утром, я говорил себе: чтобы уплатить долг, я обязан на этот год забыть шальную большеглазую девчонку, которая может жить по другим законам, потому что ей всего восемнадцать лет.

И работая днем, я снова думал, что должен забыть...

И засыпая ночью, я опять вспоминал, что все еще не забыл...

Так, в днях, наполненных какой-то работой, припадками самобичевания и лаской, тоже входящей в уплату долга, пришло, наконец, лето.

Как-то утром я закрутился с работой. Сана, как обычно, пропадала у Патери Пата, и Педелю пришлось напомнить мне, что все уже собрались к обеду. Я давно уже не переодевался по такому поводу и, наскоро сполоснув руки под алеаровым фонтанчиком, побежал к уже дожидавшемуся меня мобилю. Педель скользил боком, держа передо мной полотенце, распыленное на тонких шупальцах.

Добравшись до Центрального поселка, я быстро прошел через полутемные комнаты обеденного павильона. Не так давно мы стали обедать на веранде, крытой, разумеется, непрозрачным пластиком. Мне достаточно было намекнуть Сане, что я побаиваюсь весеннего ультрафиолета, от которого я порядком отвык за одиннадцать лет — и к моим услугам были целые тоннели, прячущие нас от непрошенных наблюдателей.

Внезапно я услышал веселые голоса. Да ну? Я никак не мог представить, что способно было вызвать оживление за нашим унылым столом.

С веранды снова донесся смех. «Как в Хижине»... — невольно подумалось мне. Я толкнул дверь и остановился на одной ноге.

На столе царил хаос.

Сана сидела, положив оба локтя на скатерть.

Патери Пат был в белоснежной рубашке.

Рядом с Элефантусом сидела Илль.

— Посмотри-ка на него! — сказала она Элефантусу, показывая на меня рукояткой костяного ножа.

Элефантус послушно посмотрел на меня.

— Вывих нижней челюсти, — констатировала она. — Кажется, это по вашей части, Сана?

— Вы все перепутали, — весело отвечала та. — За коstopрава у нас — Патери Пат. Рамон, закрой рот и садись. Вы ведь знакомы?

— Ага, — отвечала Илль.

— Что-нибудь случилось? — догадался я спросить.

— Ничего, — ответила Илль. — Добрый день.

И все кругом снова засмеялись. Ничего смешного не было сказано, да, вероятно, и до этого не говорилось, но у всех появилась удивительная потребность улыбаться, радоваться все равно чему. И это была не просто потребность в общении, это был направленный процесс: все улыбки, шутки и просто реплики эпического характера относились непосредственно к Илль. Особенно истекал теплотой Элефантус. Он излучал. Он радиировал. Он возвышался слева от Илль, такой потешный рядом с ней, такой старомодный, ну, просто галантный пра-прадедушка. А, может, так и есть? Они здорово похожи. Глазища. И ресницы. И эта легкость движений. Надо будет спросить как-нибудь потактичнее, сколько раз следует употреблять эту приставку «пра...». Впрочем, теперь подобные вопросы вполне лояльны. Другое дело — осведомляться о том, сколько еще осталось, вот это уже бестактность. Я усмехнулся: как забавно — со мной нельзя быть бестактным!

Мысли мои разбегались. Так кружится голова, когда вдруг наешься после длительного воздержания. Прошло около месяца с тех пор, как я бежал от Илль, и кажется, что с тех пор я ни о чем не думал. В лучшем случае у меня появлялись некоторые соображения относительно работы.

А сейчас все сразу говорили: Элефантус — о стрельбе из лука, Сана — об иммунитете триалевских клеток к сигма-лучам, Патери Пат — об английских пари, а Илль — о каком-то диком корабле, напоминающем морскую черепаху. Я сосредотачивался и вылавливал из общего гула наиболее громкую фразу, старательно таращился на Элефантуса, на Патери Пата, но ничего не мог понять. Я заставлял себя не смотреть на Илль и не слушать, о чем она говорит. Вскоре я поймал себя на том, что невольно раскачиваюсь взад-вперед. Я представил себе со стороны собственный вид и, махнув рукой на всех, уткнулся в свой бифштекс. Это прибавило мне ума, так как с момента возникновения цивилизованного человечества мясо было опорой и вдохновением всех кретинов. Я мигом уяснил, что дело все в том, что в заповедник пожаловала пара каких-то юнцов на старинном корабле, конструкция и принцип действия которого, древние, как стрельба из лука, были предметом пари обитателей Хижины. К «черепахе», возраст которой определяется несколькими сотнями лет, еще никто не успел слетать, но предполагалось, что в случае какой-нибудь аварии она может стать источником нежелательной радиации, всегда так пугавшей Сану.

В разговоре образовалась пауза, и я был рад, что могу вставить хоть какую-нибудь реплику:

— Жаль, что этот корабль — не амфибия, — с глубоким мысленным видом заметил я.

— Сохранились еще внимательные собеседники, — фыркнула Илль. — Я ведь только что говорила, что это — один из первых универсальных мобилей. Ну и работнички у тебя, папа, я бы гнала таких подальше. Впрочем, ты, кажется, говорил, что все за них делают аппараты.

Положительно, сегодня был день ошеломляющих сюрпризов. Элефантус — ее папа. Это в сто сорок с лишним лет! Я до сих пор как-то полагал, что после ста лет люди уже оставляют заботы о непосредственном продолжении рода. Еще один косвенный дар «Овератора». У меня вдруг резко поднялось настроение. Какая прелесть — теперь можно ходить в холостяках лет до ста двадцати. А если учесть все достижения медиков, которых теперь развелось на Земле несчетное число, то, может, и до ста пятидесяти.

Эта мысль так понравилась мне, что я засмеялся и открыто посмотрел на Илль. Кстати, под каким предлогом

она здесь? Визит к отцу? Вполне допустимо, но почему она не делала этого раньше? Я думал об этом и разглядывал Илль — беззастенчиво, как тогда, в мобиле. В маленьком мобиле цвета осенней листвы.

Сана, говорившая с Патери Патом, обернулась ко мне и о чем-то спросила.

— Да,— сказал я,— да, разумеется.— И, кажется, невпопад. Сана поднялась:

— Благодарю вас, доктор Элиа, и прошу меня извинить: сегодня мы ждем микропенки из Рио-Негро. До свиданья, Илль. Вы идете, Патери?

Впервые я увидел, что Патери Пат неохотно направился к двери.

Обычно он исчезал после финального блюда, не дожидаясь, пока мы все закончим обед.

— Я ведь еще увижу вас до отлета?— тише, чем этого требовала вежливость, спросил он у Илль.

— Нет,— отвечала она своим звонким голосом.— Я тороплюсь. До свиданья.

Ага, она его выставляла. Мне вдруг стало ужасно весело. Черт дернул меня, как всегда, за язык:

— Вы уже улетаете? — церемонно обратился я к Илль.— Тогда разрешите мне проводить вас до мобиля.

— Пошли,— легко сказала Илль.

Я ждал, что Патери Пат сейчас повернется и глянет на меня своим мрачным взором, напоминавшим мне взгляд апатичного животного, которого медленно, но верно довели до бешенства. Но вышло наоборот. Он весь как-то пригнулся, словно что-то невидимое навалилось на него, и медленно, не оборачиваясь, протиснулся следом за Саной в дверь.

Мы невольно замолчали; казалось, всего несколько шагов отделяли нас от царства времени, тяжесть которого не выдерживали даже исполинские плечи Патери Пата.

Я тревожно глянул на Илль. Я вдруг испугался, что тот ужас, который тяготел над Егерхауэном и который, подобно вихрю Дантова ада, всё быстрее и быстрее гнал его обитателей по временной оси жизни, это коснется ее, вспугнет, заставит бежать отсюда, чтобы больше никогда не вернуться. Но Илль — это была Илль. Она сморщила носик, потом надула щеки и весьма точно передразнила гнусную и унылую мину Патери Пата. Она даже и не поняла ничего. И слава богу.

Илль встала. Подошла к Элефантусу. Ярко-изумрудный костюм, обтягивающий ее, словно ежедневный рабочий трик, на изгибах отливал металлической синевой; по кисти рук и плечи были открыты, а на ногах я заметил узенькие светлые сандалии. Видимо, материал, из которого был изготовлен ее костюм, был слишком тонок и непрочен по сравнению с тем, что шел на трики специального назначения. Во всяком случае, даже при ходьбе по острым камням трик не требовал туфель. Сейчас же Илль напоминала что-то бесконечно хрупкое, тоненькое. Наверное, какое-нибудь насекомое. Ну, да, что-то вроде кузнечика. И двигалась она сегодня легко и чуть-чуть резковато. Вообще каждый раз она двигалась по-разному, и каждый раз как-то не по-человечьи. Надо будет ей это сказать... Потом. В будущем году.

Илль, как примерная девочка, чмокнула Элефантуса куда-то возле глаза. У него поднялись руки, словно он хотел обнять ее или удержать.

«Это совсем не страшно — узнать *свой* год...» — невольно всплыло в моей памяти. Вот за кого ты боишься, маленький, печальный доктор Элиа. Тебе, наверное, осталось немного, а ей всего восемнадцать, она еще совсем-совсем крошка для тебя. Тебе страшно, что она останется одна, и ты хочешь удержать ее подле себя, пока ты можешь хоть от чего-то уберечь ее.

Элефантус спрятал руки за спину. Ну, конечно, это я помешал — торчал тут рядом. И все-таки Илль — свиненок, могла бы почаще навещать старика. А вот это я скажу ей сегодня же.

Но когда мы пошли по саду к стартовой площадке, я уже не знал, что я ей скажу; вернее, я знал, что я хочу ей сказать, но путался, как сороконожка, в тысячах «хочу», «могу» и «должен». Обессилев перед полчищами этих мохнатых, липучих слов, я махнул рукой и решил, что я уже ничего не хочу и просто буду молчать.

Ее мобиль стоял справа. Я его сразу узнал — он был медовый, с легкой сеткой кристаллов, искрящихся на видимых гранях. Он висел совсем низко над землей, дверца входного люка была сдвинута, словно Илль знала, что она пробудет здесь совсем недолго и тотчас же умчится обратно. Я молча подал ей руку, но она не оперлась на нее, а повернулась и вдруг неожиданно села на кромку входного отверстия. Мобиль слегка качнулся — как гамак.

Мы еще долго молчали бы, но вдалеке показалась исполинская фигура Патери Пата. Он только перешел через дорожку и пропал за поворотом.

Илль засмеялась:

— Совсем как зверь лесной, чудо морское: вышел из кустов, напугал присутствующих видом скверным, безобразным — и снова в кусты.

— Вы-то за что его невзлюбили?

— А так,— Илль покачала ногой, чтобы можно было наклонить голову, словно рассматривая кончик туфельки.— Он мне сказал одну вещь...

— Если бы это был не Патери Пат, я еще мог бы предположить, что за «одну вещь» он вам сказал.

Илль хмыкнула — не то утвердительно, не то отрицательно.

— Ну, а вы?..— самым шутливым тоном, словно меня это не так уж и интересует.

— Я тоже ему сказала одну вещь...— голова наклонилась еще ниже.— Совсем напрасно сказала, сгоряча, я этого никому не говорю.

— Ни папе, ни маме, ни тете, ни дяде?

— Ни.

— Ну, а он?..— я понимал, что моя назойливость переходит уже всякие границы, но ничего не мог с собой поделать.

— А он мне сказал тогда еще одну вещь...

Илль резко подняла голову, тряхнула копной волос, так что они разлетелись по плечам:

— Ну, это все неинтересно, а я вот привезла вам билет на «Гамлета».

И достала из нагрудного кармашка узкую полоску голубоватого целлюаля.

Как же сказать ей, что я не могу, что время не принадлежит мне, что я решил до конца года не видеться с нею — и еще много такого, что можно придумать, но нельзя сказать такому человеку, как она. И я просто спросил:

— А когда?

— Послезавтра.

— Мне будет трудно улететь.

— Но вы же скажете, что идете на «Гамлета»!

Глупый маленький кузнечик. Это ты можешь сказать Джаббе: «Я иду на «Гамлета». А у нас, у взрослых, все

сложнее и хуже. Дай бог тебе этого никогда не узнать. Если ты останешься в Хижине — может, и не узнаешь.

Илль слегка покачивалась, отталкиваясь ногами от земли.

— А я должна улетать, — сказала она наконец, но не сделала никакой попытки войти в мобиль. — Меня мальчики дожидаются.

Я видел, что улетать ей не хочется, да она этого и не скрывала. И оттого, что ей хотелось остаться, она выглядела смущенной и притихшей, как всегда, когда мы оказывались одни в мобиле. Но я вдруг вспомнил, откуда она черпала все свои сведения обо мне, и не выдержал:

— Я думаю, ваши мальчики спокойны — они прекрасно видят, что вы в безопасности.

— Как видят? — спросила она самым невинным тоном. Тут настала очередь смутиться мне. Рассказать ей о моей экскурсии в ее комнату?

Но Илль смотрела на меня спокойными огромными глазами, и я не мог говорить иначе, как только правду:

— Я думал, что вы просматриваете всю территорию Егерхауэна.

— Как же можно? Это было бы неэтично.

Не поверить было невозможно. Но как же тогда та охапка цветов и листьев? Не совпадение же?

— Илль, однажды я сунул нос в вашу комнату. И там на полу...

— А, ветки селиора — совсем такие, как я однажды нарвала вам! И как пахнут! Я с тех пор раза два в неделю летаю за ними.

— Вы нарвали мне?..

— Ну, да, конечно. Ведь вы так хотели. Я ведь часто бывала у папы, только вы не знали. Вот и тогда я случайно вышла в сад и увидела, как вы идете по дорожке и рвете полные горсти травы. Потом, когда вас перенесли в дом, отец все отобрал у вас и выбросил. Но вы ведь хотели травы и листьев. Тогда я слетала вниз и снова нарвала. И бросила на полу. Вы рассердились?

— Я не знал, что это — вы.

— И рассердились на кого-то другого?

— Я не знал, что это вы. Понимаете? Несколько месяцев назад я даже не знал, что вы есть на Земле. А цветы подобрали другие люди и расставили в вазы правильными пучками.

— Чушь какая! Дикie цветы не растут правильными рядами, и когда их рвешь, надо из них устраивать просто свалку. Иначе какой смысл?

— Попробовали бы вы объяснить это Педелю!

— Но с вами ведь были люди?

— Да, люди. Люди Егерхауэна.

— Худо вам в этой тюрьме?

— Не надо об этом, Илль. То, что привязывает меня к Егерхауэну, не подлежит ни обсуждению, ни осуждению.

— Простите меня. Но я говорю о своем отце. Я не люблю бывать здесь именно потому, что он один виноват в том, что происходит в Егерхауэне.

— По-моему, в Егерхауэне уже давно ничего не происходит.

— Здесь происходит... здесь нарушается первый закон человечества — закон добровольного труда. Ну, скажите мне честно, разве вы работаете над тем, что вы сами из-брали?

Я кивнул.

— Неправда! И вам тяжело дается эта неволя. Вы прилетели на Землю для того, чтобы быть человеком, а не роботом, которому задают программу отсюда и досюда...

-- Не судите так строго своего отца, Илль. Он чист перед собой и перед всеми людьми. То, что он сделал, предоставив нам свою станцию, было наилучшим выходом для меня. Ваш отец знает обо мне намного больше, чем вы — простите меня. Он поступает правильно.

— Нет,— сказала она так твердо, что я понял — никакими словами не убедишь ее; она знает, что права.

И она действительно права.

— Мне очень жаль, Илль, что из-за меня вы изменили свое отношение к отцу. Я прошу вас — будьте добрее с ним.

Она вдруг посмотрела на меня очень внимательно. Потом засмеялась:

— Нет, вы подумайте: тысячелетиями идет борьба за предоставление человеку всех мыслимых и немыслимых благ и свобод, а когда он достигает их и начинает ими пользоваться — ему отказывают даже в какой-то охапке сена.

— Так этот парадокс и заставил вас лететь за цветами?

— Да. А разве для такого акта требовались какие-то более веские причины?

Вот и все. Все мои надежды и предположения ухнули ко всем чертям. Гордо, даже чуть заносчиво вскинут подбородок. Какой-то механик, отупевший и огрубевший за свое одиннадцатилетнее пребывание в компании роботов. И я смел... Ну, лети, лети, солнышко мое, лети к своим Джабжам, Лакостам, к великим тхеатерам. И кто еще там допускается на ваш Олимп. Я умею ждать, а тебе всего восемнадцать. Не век же я буду маленьким кибермехаником. А тогда посмотрим. Улетай, маленький кузнечик.

— А чему вы смеетесь?

— Просто представил себе, что говорил бы кузнечик, глядя на вас.

— Ну и что? Сказал бы — уродина, и коленки не в ту сторону.

— Правильно. И стрекотать не умеет.

— Неужто не умею?

— Да нет, временами получается.

— Ну, скажите папе от меня что-нибудь хорошее,

Янтарный, как и все машины Хижины, мобиль рванулся вверх и растаял в вечернем небе, набухающем предгрозовой синевой.

Я постоял, сцепив за спиной руки и запрокинув голову, и пошел искать Элефантуса, чтобы сказать ему что-нибудь хорошее.

Глава X

Я не просто думал. Я молился. Я молился всем богам, чертям, духам и ангелам. Я перебирал всех известных маленьких сошек вроде русалок и домовых. Я вспоминал всех эльфов, сильфов и альфов — подозреваю, что половину из них я придумал, надеясь, что когда-нибудь существовала и такая божественная мелюзга. Я молился с восхода солнца, когда лучи его неожиданно и тепло ткнулись в мои закрытые глаза. Я открыл их, снова зажмурился и забормотал молитву лучам восходящего солнца. Я просил так немного: пусть случается все, что угодно — но завтра. Сегодня мой день. Я давал тор-

жественные обеты не бывать в Хижине до самого тридцать первого декабря, но сегодня я должен лететь туда. Сегодня мой день. Она меня позвала, может быть — каприза ради, но она меня позвала. В первый раз. И сегодня был мой день. Так, пожалуйста, завтра я готов на все, но только не сегодня.

Илль рвала и метала. До начала оставался час с четвертью, я был даже не одет. И дернул же меня черт вырядиться в белую рубашку! Но откуда я знал, что резкие световые пятна в зале могли помешать тхеатеру и рассеять его внимание? Меня самого поразил туалет Илль: она была в черном глухом платье, чуть ли не со шлейфом, на голове — корона из стрелчатых бледно-лиловых звезд селиора. Эти цветы — грубые, напоминающие диковинные кристаллы, — удивительно шли к ней и сами теряли свою жесткость и примитивность от прикосновения к ее волосам. Пока самый скоростной из ее стационарных киберкостюмеров дошивал мой костюм, она поносила последними словами все костюмерные мастерские мира, персоналы Хижины и Егерхауэна, не смогшие присмотреть за «провинциалом», жуткую грозу, по недосмотру синоптиков превысившую все предельные мощности и задержавшую мой прилет (хотя я летел под самым ливнем), этих идиотов-старьевщиков, застрявших на своей нелепой машине и не желающих пользоваться ничьей помощью из-за своего щенячьего самолюбия, и еще многое другое, не имеющее к нашей поездке никакого отношения. В конце концов Лакост, который должен был лететь с нами, не выдержал и, заметив, что растерзание заживо никогда не было в его вкусе, оставил меня с глазу на глаз с разъяренной Илль. Надо сказать, что и у него времени оставалось только на полет до Парижа. Как успеем мы — было для меня совершенно неясно.

Но я был готов раньше, чем предполагал. Не дав мне даже взглянуть в зеркало, Илль схватила меня за руку и вытащила на площадку. Резкий ветер чуть не сбил нас с ног. Я вцепился в совсем крошечный мобиль, с трудом удерживавшийся на стартовой площадке, и помог Илль влезть в него. Надо сказать, что ее платье вряд ли было пригодно для таких видов транспорта. Я заметил, — разумеется, весьма осторожно, принимая в расчет ее далеко

не миролюбивое настроение, — что тут более всего подошел бы вместительный грузовик. Она ничего не ответила, но только выдернула из моих рук край своего платья, который я пытался затолкнуть следом за ней в мобиль. Прямо скажем, внутри не хватало комфорта. Я понял, что это спортивная одноместная модель с ручным управлением, и еще я понял — по тому, как швырнуло нас назад при старте, — что детям до тридцати лет категорически нельзя позволять пользоваться неавтоматическими машинами. Мобиль шел тяжеловато, но с предельной скоростью. Не представляю себе, как Илль умудрялась им управлять. Но, по-видимому, она прекрасно знала эту трассу, потому что я только и замечал шарахающиеся в стороны обычные пассажирские корабли, которые мы со свистом обгоняли.

Как всегда, мы молчали, пока под нами сквозь янтарную покрывку корабля не начали проступать серые контуры огромного, не совсем еще заселенного древнего города.

По тому, что мы все-таки приземлились, а не разбились вдребезги, я понял, что мы еще не совсем опоздали.

Если бы я не знал, что здание театра было построено специально по просьбе Сидо Перейры, я подумал бы, что оно стоит уже многие века — так органически вписывалось оно в панораму этого причудливого и когда-то такого веселого города. Старинные часы на готической башенке, венчавшие невысокое здание театра, показывали без нескольких минут полдень. Разумеется, и время здесь, как в древнем Париже, было местное.

Бросив свой мобиль у люка подземного ангара, мы ворвались в зал. Меня удивило, что никакого вестибюля или фойе не было; вероятно, в антрактах зрители выходили прямо на площадь, благо существовали киберсинопы, которые в такие моменты могли мигом установить райскую погоду.

Зал напоминал мне студию, которую я видел в Хижине: он так же расходился под острым углом от большой черной ложи к сцене, которая тут была несколько приподнята над зрительным залом, едва освещенным. По краям партера находились маленькие двухместные ложи. Илль уверенно подвела меня к одной из них.

— А где же Лакост? — спросил я для приличия.

— В одной из лож, — отвечала она тихо. — Мне удалось достать только одну ложу на сегодня и одну — на завтра,

так что вам просто повезло, что Сидо Перейра предложил еще одно место в своей ложе.

Ага, каждый сверчок знай свой шесток — я здесь по милости великих мира сего.

Мы уселись, и я усмехнулся, подумав, что вряд ли буду способен воспринять что-либо, кроме едва уловимого тонкого запаха умирающих, но не увядающих цветов. И откуда-то издалека-издалека пришла, промелькнула мысль — только бы ничего не случилось там, в Егер-хауэне...

Между тем, у меня появилось непреодолимое желание смотреть, не отрываясь, на сцену. Она была пуста, едва освещена пепельным сумеречным светом и, казалось, уходила в бесконечность. И, как всякая бесконечность, она так и притягивала взгляд. Внезапно в зале стало совершенно темно, и в этой темноте прозвучал спокойный, рокоchущий голос:

— Эльсинор...

И в тот же миг какие-то полотнища очень темного света рванулись сзади к сцене, но в следующий же миг я перестал их воспринимать, хотя еще несколько секунд чувствовал, что они все-таки реально существуют. Затем я забыл о них.

А передо мной, казалось, гораздо ближе, чем была до этого сцена, возник холодный каменный замок, возведенный на скале. Он был так реален, что я даже видел, как тонкой струйкой сыплется песок из щели между двумя плохо обтесанными камнями. И музыка, как-то одновременно и возникающая во мне — и прилетающая из той сероватой бесконечности, которая начиналась в глубине сцены, — она тоже была детищем Сидо Перейры, потому что только человек, смогший силой своей фантазии воздвигнуть эти исполинские громады башен и выщербленных маленькими бойницами стен, смог выдохнуть этот рокот, неумолимый и монотонный, словно невидимое, но реально ощущаемое море, омывающее подножие обреченного замка.

Вдруг что-то звякнуло. Я насторожился. Как это я сразу не заметил, что справа на узкой, огражденной каменными зубцами площадке стоит человек? Гамлет, — подумал я и стал с интересом разглядывать его шлем и доспехи. Но вот показался еще один, одетый и вооруженный так же, и я вспомнил, что это — офицеры стражи и скоро появится призрак.

И вот уже этот призрак появился, он был прозрачен, и голос его звучал так, словно он говорит из расстегнутого, но неснятого скафандра. Наверное, в средние века показать призрак было проблемой, как, впрочем, и увидеть, а теперь никто бы не удивился, если бы по ходу действия на сцену выползли протоцератопсы в масштабе один к одному. Предаваясь всем этим мыслям, я больше смотрел на волосы Илль, чем на сцену, и очень удивился, когда зазвучали фанфары и я увидел перед собой уже что-то вроде тронного зала, довольно убогого, впрочем, заполненного шуршащей толпой, разодетой в тяжелые и тусклые ткани.

Пьесу я, оказывается, помнил, то есть мог угадать, кто и что сейчас скажет. Поэтому меня больше интересовали образы. Королева была начинающей полнеть чувственной бабой лет ста, а по-тогдашнему — сорока — сорока пяти; может, и красивая, с невыющимися рыжеватыми волосами; король — типичный самец в духе всех нехороших, низких и сластолюбивых королей, каким и полагалось, по моим представлениям, быть средневековому королю. Полоний и Лаэрт тоже были хороши.

Ну вот, наконец, я разглядел и самого Гамлета. Красивый парень итало-испанского типа, нисколько не похож на королеву. Уж раз играли не актеры — могло бы быть хоть отдаленное сходство. По ходу действия мои антипатии к главному герою все усиливались. Это был прямо-таки янки при дворе короля Артура — он был нашпигован всем гуманизмом и всезнанием нашего просвещенного века. Он был полон такого холодного и обоснованного презрения ко всему Эльсинору, что прямо непонятно было — как это его до сих пор там терпели и не отправили следом за прежним королем.

Мне хотелось обменяться своими впечатлениями с Илль, и я с нетерпением ждал антракта, когда вдруг заметил, что она, и так с неотрывным вниманием следящая за всем, происходящим на сцене, вдруг подалась вперед и замерла. Потом осторожно обернулась и глянула на меня удивленно и испуганно.

С Лаэртом говорила Офелия. Трогательная, тонюсенькая девочка, чуть широкоскулая, белобрысая и, естественно, ясноглазая. Двигалась она как-то скованно, словно ее плохо научили, как это делать. Я стал вслушиваться в ее голос — он был грустный и откуда-то знако-

мый. Так, наверное, говорят дети, которых очень обидели, и вот обида забылась, а эта долгая грусть так и не успела уйти. В этой Офелии что-то было. Никогда не поймешь, что именно притягивает к таким девушкам, но именно таких и любят так, как, по-моему, и любят по-настоящему: безрассудно и чаще всего — несчастливо.

И я не успел на нее наглядеться, как сцена уже снова представляла собой площадки и переходы вокруг замка, и снова появился неинтересный и нестрашный призрак, и, наконец, наступил антракт, но Илль наклонилась вперед, положила руки на бархат ложи и так осталась, опустив голову на руки. Я не стал ее тревожить. Я смотрел на ее склоненную голову, обвитую, словно гигантским черным тюрбаном, пушистыми волосами, и мысли мои были далеки от классической драматургии. Вскоре зал стал наполняться людьми, вот уже все места снова были заняты, и в последний момент перед тем, как погас свет, снова мелькнула прежняя недобрая мысль: а там, в Егер-хауэне... И снова почти молитва: только бы не сегодня.

Я забыл, должна ли выходить Офелия во втором акте, и напрасно прождал ее появления. Хорошо, пожалуй, было лишь то, что Гамлет потерял в какой-то мере свою принадлежность к нашему современному миру, обнаружив чисто средневековую склонность к интригам и мышеловкам. И все-таки у него еще оставалось что-то бесконечно наше, и не вообще присущее этому веку, а именно сегодняшнему дню — дню той Земли, которую я нашел по возвращении из моей тюрьмы. Но это, по-видимому, было традицией каждой эпохи — взваливать на датского принца все противоречия своего времени.

И снова — антракт, и снова Илль, как оцепеневшая, не тронулась с места. Мне показалось, что я разглядел Лакоста, и, извинившись, я вышел, но не нашел его и вернулся ни с чем. Она сидела в той же позе, положив голову на руки, и не заметила, что я опустился рядом с ней. Проклятый день. Столько я мечтал, что буду с ней в театре, и вот мы были здесь, но она была не со мной. Я не смел заговорить с ней, не смел потревожить ее. И своей отрешенностью она не позволяла и мне воспринимать все то, чему я, казалось, должен был так радоваться. После одиннадцатилетнего перерыва попасть в театр, и на такую пьесу, и в таком исполнении, и с такой спутницей — и все шло прахом, потому что я не мог думать ни

о чем ином, как о том, что Илль — совсем чужая, ни капельки не моя...

И вдруг я вздрогнул. «Если бы...» — сказала Илль.

Я поднял голову. Действие уже шло. Она сказала это на весь зал, но никто не оглянулся на нее; она сидела, опершись локтем на барьер ложи и касаясь пальцами виска. Губы ее были плотно сжаты и сухи. Может быть, мне показалось? Но я явственно слышал ее голос. Между тем, со сцены торопливо убегали король и его придворные, оставляя замершую у решетчатого окна Офелию. И вот оттуда, куда она с такой тревогой смотрела, тяжело, не замечая ничего кругом, вышел Гамлет.

Он заговорил тихо, но я отчетливо слышал каждое его слово. Он решал то, что уже сам знал — и тут-то я и понял, что с самого начала я называл в нем «современным» — он знал, что — не быть. И сейчас он знал, что срок его определен. А настоящий Гамлет не мог этого знать. Этот же знал даже, что срок его краток, и поэтому нерешительность его была мне непонятна. Заметила ли Илль это противоречие? Наверное, нет. Мне вдруг так захотелось увидеть ее лицо, что я готов был взять ее голову в ладони и повернуть к себе. Но едва я наклонился к ней, как снова услышал ее голос:

Мой принц,
Как поживали вы все эти дни?

Офелия шла навстречу своему принцу, протягивая гибкие руки, такие знакомые мне, и все ее движения были скованны, неловки, словно она может сделать со своим телом все, что пожелает, но ее научили вести себя именно так, и она двигается по законам движения людей, а не тех высших существ, к которым она принадлежит. И я уже давно знал и эту походку, и эту левую руку, невольно касающуюся виска, когда не приходит на ум нужное слово, и я вспомнил, как удивленно и испуганно оглянулась на меня Илль в первом акте, едва завидев своего двойника, а я, дурак, как всегда, не видел дальше белобрых локонов и курносого носа.

Это было чудо, принадлежащее нам двоим, и я схватил руку Илль выше запястья, и она снова обернулась ко мне, и я увидел ее глаза, смотревшие как-то сквозь меня — ей, наверное, казалось, что рядом сидит сам

великий Сидо Перейра, и поэтому она не отняла руки, и острые лепестки селиора царапали мне лицо; но мне было наплевать, за кого она меня принимает, потому что наступило то, ради чего я пошел на предательство, на проклятье этого дня, которое неминуемо настигнет меня где-нибудь на закате, но сейчас еще был день, и мы сидели рядом, просто рядом для всех, кто мог бы увидеть нас, но на самом деле мы были так близки, что между нашими глазами не было места для взгляда, между нашими губами не было места для вдоха, между нашими телами не было места для человеческого тепла...

И тогда действие замелькало, понеслось с непостижимой быстротой. Я не успевал увидеть, услышать — не успевал наглядеться, послушаться. Но разве это можно успеть? Я вдруг понял, что Гамлету уже все равно, быть ему самому или не быть, а только бы всей силой своего ума, всей любовью своей и всей своей жестокостью оградить от гибели эту тоненькую девочку, — и он понимал, что не в силах сделать этого; и тогда, не дожидаясь, пока это сделают другие, он сам губил ее, поджигая ее крылья, и она сгорала, таяла, как Снегурочка, и мы, замирая и цепenea, видели, как, не подчиняясь уже никаким людским законам, трепещут, изгибаются ее руки, отыскивая воображаемые цветы; и она скользила по сцене бесшумно и невесомо, словно уже плыла, словно уже тонула; вот и последняя ее песня — о нем же, все о нем, и уже совсем без грусти, совсем спокойно, потому что где-то совсем близко — соединение, потому что:

В раю да воскреснет он!
И все христианские души...

И тихое, всепрощающее: «Да будет с вами бог».

Но никакого бога не было с этими людьми, а была только ненависть, и ложь, и яд, и рапиры, и справедливая месть, которая ничего не могла искупить.

И рука Илья была в моей руке.

Мы уходили, как всегда это бывает после чего-то подавляющего, медленно и молча. Лакоста уже не было — наверное, он видел нас и тактично исчез, предоставив нам возвращаться в том же крошечном одноместном корабле.

Мы взлетели совсем спокойно. Я по-прежнему сидел сзади нее на полу — другого места в этой малютке и не

было — и думал, как же она простится со мной; я ведь понимал, что нелепо и бессовестно было бы с моей стороны пользоваться тем, что потрясло ее совсем еще ребячье воображение; что будь на моем месте Лакост или даже Туан — для нее не было бы никакой разницы.

Пусть она выбирает сама, куда мы полетим, и если захочет — пусть сама заговорит. Нам осталось совсем немного — несколько минут. А потом останется несколько месяцев. А потом мы будем вместе, и это так же верно, как тогда, когда я сидел на своем бугре, не имея ни тысячного шанса на спасение — и у меня даже не возникало сомнений в том, что рано или поздно я вернусь на Землю. И теперь будет так же. Ты — моя Земля, мое счастье, и вся жизнь моя. И что мне до того, что сейчас я не нужен тебе. У нас с тобой еще всё впереди... Если только там, куда я возвращаюсь, ничего не произошло за эти несколько часов. Но ничего не могло произойти. Что — несколько часов перед целым годом? Ничего не могло произойти. Ну, вот и мои горы. Скажи мне на прощанье несколько вежливых, ничего не значащих слов. Они действительно ничего не будут значить после тех минут, когда я держал твою руку и смотрел на тебя — на вторую Илль, прячущуюся под белокурым париком датчанки. Ну, придумывай же эти слова — вот ведь и синяя долина Егерхауэна.

Наш мобиль тихо скользнул вниз и повис там, где обычно я выходил, когда возвращался после наших встреч в Хижине. Илль повернулась ко мне, тихонечко вздохнула, как тогда, в самый первый раз, и сказала: — Больше не буду тебя выкрадывать. А сегодня не могла иначе. Я ведь люблю тебя, Рамон.

Я схватил ее за руки и замер, глядя снизу на ее губы. Сейчас она скажет, что это не так. Она перепутала. Пошутила. Сошла с ума. Но я увидел, что это — правда, но только ничего больше не будет и она не переступит того заколдованного круга, которым сама себя очертила.

— Я сказала. А теперь — иди.

— Что-о? — во мне вспыхнула какая-то веселая, буйная ярость. — Идти? Теперь?

Одной рукой я обхватил ее так, что она не могла и шевельнуться, а другой нащупал кнопку вертикального полета. Нас швырнуло об стенку, и мобиль, задирая нос вверх, полез в высоту. Четыре тысячи метров... Пять... Пять с половиной... Мы задохались. Мобиль шел почти

вертикально, и волей-неволей я ее выпустил. Она вскинула руки к пульту, и мобиль, описывая плавную дугу, помчался куда-то на юг на самой дикой скорости. Теперь мы шли вниз, и сквозь прозрачное янтарное дно я видел, как мелькают смутные контуры лесов, городов и озер; Илль теперь тоже сидела на полу, опираясь плечами на сиденье и запрокинув голову, и мне казалось, что она уплывает от меня по стремительно мчащемуся потоку, и я вижу мельканье причудливого дна, тянущего ее к себе.

Ну же, тони, гigni, исчезай! Мы посмотрим, кто кого. Мы посмотрим, как это я позволю тебе уплыть от меня.

— Сударыня, могу я прилечь к вам на колени?

— Нет, мой принц!

— Я хотел сказать — положить голову к вам на колени...

— Нет, Рамон.

— Да, Илль! И не смотри на меня так. Я ведь все посмею. Все, чего хочу я... и чего хочешь ты. Не вырывайся. Я буду груб. Я знаю, что ты сильнее меня. К чертям всех хрупких и беззащитных. С тобой можно только так. Ты ведь сама этого хочешь.

— Откуда...

— Не спрашивай. Знаю.

— Нет.

— Скажи, что все — неправда, и я разобью мобиль.

— Я люблю тебя, Рамон. С того утра, как увидела тебя на набережной. Почти год назад. Я прилетала к отцу и видела тебя. Я только видела тебя. Не целуй меня. Мне нужно только видеть тебя.

Ее голова лежала на моих ладонях. И она хотела, чтобы я не целовал ее.

— Ты слишком близко. Я не вижу тебя.

— Это — губы. Это — руки. Это — сердце. Все.

— Нет, — прошептала она. — Это не все.

И тут я понял. Она видела меня — не одного.

— Это — все! — крикнул я. — Все! Слышишь? Эта скорлупа — и мы. И никто больше!

— Нет, ты сам знаешь, что нет.

— Тогда зачем же все это? Поверни мобиль обратно.

Рука ее приподнялась — и упала. И я вдруг понял, что от ее силы и мужества не осталось и следа. И еще

я понял, что мои губы были первыми, и огромная нежность к этим тихим рукам, зацелованным мною, поднялась и переполнила меня. Я приподнял ее и прижал к себе.

— Илья,— шептал я, не отрываясь от ее губ и чувствуя, что эта нежность будет моим последним разумным, человеческим ощущением.— Моя Илья. Моя.

— Нет. Нет. Нет.

— Все равно — да или нет. Теперь уже все равно. Ты любишь меня. Я люблю тебя.

— Но этого ведь так мало...

Она еще пыталась спрятаться за шаткую ограду слов, но я закрыл ее губы своими губами и целовал их, пока хватало дыхания. Но когда его не хватило, я услышал:

— Ты знаешь, отчего умирает Сана Логе?

Наверное, я ослышался.

— Они полетели на твой буй. Пять летчиков и она — врач. Они полетели за тобой. Корабль шел до тех пор, пока не почувствовал излучения. Тогда они вернулись, и... Теперь очередь Саны.

— Почему это знаешь ты?

— Мне сказал Патери Пат.

Так вот что сказал ей Патери Пат!

— Почему этого не знаю я?

— Значит, так хочет Сана Логе. И я на ее месте не сказала бы.

— Почему?

— Не знаю. Наверное, у меня было бы ощущение, что я прошу у тебя благодарности за то, что я сделала.

Я положил руки на колени и опустил на них голову. Мобиль резко накренился, помчался еще быстрее. Я не знаю, сколько мы летели. Наконец, он скользнул вниз и остановился.

— Я не должна была говорить тебе этого. Она сама никогда бы не сказала.

— Да, она не сказала бы.

— Прощай.

Я посмотрел на нее.

— Я люблю тебя, Илья.

Она кивнула.

Я неловко вылез. Мобиль рванулся вверх так, что меня отбросило в сторону. Я поднялся и пошел к дому.

Сана сидела в глубоком кресле. Я вошел и остановился. Если бы я знал, что сказать! Я стоял и разглядывал ее. Даже не ее. Платье. Она надела самое богатое. Прическу. Она выбрала самую изящную. Она всегда умела убирать свои волосы. Тяжелые, с матовым отливом, волосы. Волосы цвета... Педеля.

— Сядь, Рамон.

Хорошо. Пусть она говорит. Сегодня я буду слушать ее не так, как всегда. Как это сказала Илль — чувствовать благодарность. Я буду чувствовать благодарность. Какое хорошее слово! Оно исполнено уважения и совсем не обязывает к любви. Я наклонил голову. Мне не хотелось, чтобы она разбиралась в моей мимике. Ведь сама она не требовала от меня благодарности. И никогда не требует.

— Мне тяжело говорить об этом, Рамон, но я не хочу, чтобы после того, как меня не станет, тебе рассказывали об этом посторонние люди. Помнишь, в день нашего расставания я дала тебе слово не улетать с Земли. Но я его не сдержала. Это случилось тогда, когда гибель вашего корабля стала очевидной, но осталась слабая надежда на то, что кто-нибудь сумел опуститься на нижние горизонты буя. Нас было шестеро. Я хочу рассказать тебе об этих людях, потому что сейчас в живых остались только двое — второй пилот и я. Ты должен знать о тех...

Я поднял голову.

— Не надо о них. Ведь ты говоришь о себе. Говори о себе.

Она не поняла. Вероятно, она приписала мои слова тому, что ее сообщение потрясло меня.

— Хорошо. Я не стану рассказывать, как мы летели. Мы ожидали самого худшего. И ожидание превратилось в уверенность, когда наши приборы начали фиксировать наведенное излучение, а кое-какая аппаратура просто вышла из строя. Тогда командир отдал приказ начать разведку на одиночных ракетах. На большом корабле остались командир, второй пилот и я.

Стены и потолок голубели — это опускались сумерки, тихие сумерки после утренней грозы.

А где-то, в не постижимом удалении от мира этих летних сумерек, стремительно неслись два корабля: один — в пространстве, другой — во времени; один, воскрешенный словами женщины в белом, принадлежал миру прошлого:

другой, неотвязно преследующий меня своей ненужностью, был послан в будущее. Первый, движимый воспоминанием этой женщины, летел навстречу бесполезной гибели шести человек: вместо них должны были лететь машины, но если кто-то в опасности — на выручку ему бросаются живые люди. Так всегда было и так всегда будет на Земле. Но лучше бы они не летели.

Второй нес в себе машину, пусть мудрую, но все-таки косную в своей формальной логичности. Вместо нее должен был лететь человек. Этот корабль еще где-то впереди нас, но мы никогда не сможем связаться с ним, и не только потому, что по программе он должен был уклоняться от контакта с жителями планеты, на которую прибудет. Просто мы еще не знаем, что это такое — тело,двигающееся во времени. Мы даже представить себе этого не можем. Он летит впереди нас, и в то же время он уже вернулся одиннадцать лет тому назад, и то, что он принес, всегда было страхом слабых и мечтою сильных...

— ... Но несмотря на то, что ни один сигнал не доносился к нам с мертвого буя, меня не покидало ощущение, что ты — там, и я не согласилась бы на отлет...

Джабжа прав — слабых на Земле больше нет. Значит, все — сильные. Значит, *это* нужно всем. Машинная логика! Когда-то люди — сильные люди — мечтали иметь крылья. И что было бы, если бы эта мечта сейчас исполнилась? Я тихонечко повел плечами. Ненужная тяжесть, улиткин домик. Человек уже давно крылат, и наши машины — от могучих и многоместных мобилей-экспрессов до крошечных индивидуальных антигравиторных «икаров» — не идут в сравнение с весьма несовершенными перепончатыми придатками, нарисованными воображением древних мечтателей.

— ... Было очевидно, что дальнейшее пребывание на орбите грозит гибелью и остальным членам экипажа. Я потребовала, чтобы мы перешли на более безопасную орбиту, но командир получил указания с Земли...

Почему мысли мои неуклонно возвращаются к «Овератору»? Что движет ими — страх? Я наклонил голову, рассматривая себя то с одной стороны, то с другой. Страх... Смешно. Я давно уже понял, что бояться можно только за кого-нибудь другого. Не зная своего года, я уже боялся за Сану, боялся до такой степени, что не позволял себе узнать свой год даже под угрозой того, что окружающие

сочтут это трусостью. Я не позволял себе думать ни о чем другом, кроме одного: как же заплатить ей за все то, что она для меня сделала, и за то, что она могла бы еще сделать, если бы не уходила первой. Но так бояться можно только за того человека, который бесконечно дорог тебе, и я искал в себе этот страх, и хотел найти его, и не находил. И не знал, что же было раньше: ушла ли любовь, а за нею — страх за любимую, или же я просто устал бояться... Наверное, последнее. Во всяком случае, мне было легче думать, что один проклятый «Овератор» виновен во всем.

— ...Но всю обратную дорогу меня не покидала уверенность, что мы просто не там искали, что ты жив, и может быть, находишься в самом неожиданном месте, — например, на каком-нибудь корабле, потерявшем связь с Землей; я обратилась ко всем оповещательным центрам Солнечной...

Мне было не легче. Потому что я знал: «Овератор» здесь ни при чем. Не знай она *этого* — она все равно сочла бы себя вправе запереть меня в эту клетку, все равно она распорядилась бы мною, как Педелем; все равно люди Егерхауэна вели бы эту каторжную жизнь, так наивно принятую мной за подвиг. Элефантус — не простивший себе просчета с фасеточным мозгом; Сана — чтобы иметь возможность и во время работы наблюдать за мной; Патери Пат — вот тут я только не знал, в чем дело. Просто было в его жизни что-то, потеря какая-то, и он работал, чтобы забыть. В этом я был уверен. А там, в далекой снежной Хижине — и говорить не о чем...

Сана стояла передо мной и молчала. Она молчала уже давно. И я с ужасом подумал, что должен ей что-то сказать. Вот так молчал я и в день нашей первой встречи здесь, в Егерхауэне, и так же время несло все быстрее и быстрее, но тогда я мучительно хотел найти для нее самые нужные слова, а сейчас...

— Сана, — неожиданно сказал я, — а тебе, именно тебе, оказалось нужным Знание, принесенное «Овератором»?

Казалось, в ней сломался тот стержень, который всегда заставлял ее выпрямляться навстречу мне — она вдруг резко наклонилась надо мной, и ее глаза, ледяные лучистые глаза замерли передо мной.

— Да, — сказала она. — Да. Да. *Это* мне действительно нужно. Да. Потому что только благодаря *этому* ты —

со мной. Пусть только поэтому, но ты — со мной. Ты думал — я боюсь смерти. Разве это страшно?! Для меня существовал только один страх — потерять тебя. Но *это* не позволило тебе уйти от меня. И теперь ты не уйдешь. Даже теперь. Вот почему мне нужно *это*.

— И только? — спросил я.

Она не ответила. И снова наступило молчание, и молчание это было безнадежно.

Я встал и как можно быстрее вышел.

Педель распахнул передо мной дверцу мобиля, влез следом и примостился где-то сзади. Затих. Мне казалось, что мобиль едва тащится. Гнусная аквамариновая коробка! Разве можно было сравнить его с легкой спортивной машиной Илль, сверкающей, словно капля меда?

Я приземлился у входа в сад, чтобы немного пройтись. Велел Педелю не наступать мне на пятки. Пошел по узкой аллее на тусклые огни обеденного павильона.

Неожиданно из-за поворота показалась огромная фигура. Шатаясь и мыча, она приближалась ко мне. Я прижался к дереву и замер. Это был Патери Пат, но в каком состоянии! Он был пьян. Пьян, как дикарь. Я бы с удовольствием отодвинулся подальше, но не хотел выдавать своего присутствия. И правильно сделал. Он прошел в двух шагах от меня, даже не подняв головы. Дошел до конца аллеи, но не свернул, а было слышно, как вломился прямо в кусты. Проклятый день! Только этой гадости мне и не доставало.

Я быстро двинулся к дому и вспрыгнул на крыльцо. Черт побери, как это мне в голову не приходило? Ее глаза, ресницы, руки... Милый Элефантус!

Но его не было ни в первой, ни во второй комнатах. Не вспугнул ли его этот пьяный боров? Я обошел весь коттедж и пошел в его личный домик.

Элефантус сидел в кабинете. Когда я постучал, дверь распахнулась, но он не поднял головы. Его поза меня насторожила. Так держатся люди, которые вот-вот потеряют сознание. Но когда я бросился к нему, он поднял голову и остановил меня:

— Не нужно. Ничего не нужно. Илль погибла.

Я не понял. О чем это он? Он знает о нашем полете? Он полагает, что я?..

— Илль больше нет,— сказал он шепотом.

Я махнул рукой. Криво улыбнулся. Да нет, не может быть. Все он путает. Все они пьяны. Сейчас я скажу что-то такое, что сразу рассеет все подозрения. Надо только это найти... Вот сейчас...

— Нет! — крикнул я. — Ведь она бы знала...

— Она знала,— сказал Элефантус.

Я пошел прочь. Наткнулся на что-то холодное и звонкое. Отодвинул плечом. Отодвинулось. Патери Пат, шатающийся, закрывший голову руками, словно ослепший от боли, встал у меня перед глазами.

— Педель! Самый быстрый мобиль! Самый!

Казалось, мобиль повис в густой неподвижной пустоте. Ни одного огня внизу. Ни проблеска впереди. Скоро ли?

Замерцали огоньки на пульте. Я машинально нажал тумблер. Голос Саны ворвался в машину:

— Рамон! Рамон! Где ты? Немедленно возвращайся! Где ты?

Я нагнулся к черному овалу:

— Лети к Элефантусу. Ему нужна помощь.

Голос умолк, а потом снова раздалось вопросы, упреки, крик... Я выключил «микки». Немного подумал. Нет. Никаких разговоров. Я не поверю ни голосу, ни воображению. Поверю только своим рукам и своим губам...

— Сегодня... Именно сегодня! Неужели Илль чувствовала, что это произойдет сегодня?

— Предчувствий не существует. Факт смерти был равновероятен для любого из трехсот шестидесяти пяти дней года.

Успел-таки пробраться в мобиль!

— Помолчи, сделай милость. Что ты об этом знаешь?

— По данным Комитета «Овератора» Илль Элиа должна была погибнуть в этом году. Поэтому меня удивляет, что вы воспринимаете этот факт...

— Что ты мелешь? Откуда ты мог это знать?

— Неоднократно работал по биофону Патери Пата. Трудно работать. Он все время отвлекался. Думал об этом. Посторонние мысли мешают координированию...

— Уходи. Немедленно.

— Не имею возможности. Относительная высота мобили составляет полтора километра. Являясь ценным и уникальным прибором, я категорически возражаю...

— Выполняй!

— Слушаюсь.

Приглушенный лязг, в кабину ворвался ветер, мобиль качнуло.

Затем люк автоматически закрылся.

И прямо передо мной вспыхнул пульсирующий посадочный сигнал.

Гостиная была пуста. Я бросился в комнату Ильи. Охапка травы на полу. Никого. В студии полумрак и тишина. Мастерская освещена — вероятно, свет горит с утра. Меня вдруг поразила маленькая машина в углу. На плоском диске стояли ноги. Одна на всей ступне, другая на носке. Ноги до колен. И кругом — тонкие провода кроильных и скрепляющих манипуляторов.словно гибкие водоросли оплели эти детские ноги. Мне захотелось дотронуться до них, мне казалось, что они упруги и теплы. Я повернулся и побежал. Лифт. Ну, разумеется, все они наверху.

Я не сразу заметил Джабжу, стоявшего в углу перед экраном. На экране были какие-то странные горы, на фоне их металась черная точка.

— Хорошо, что ты прилетел, — сказал он каким-то бесцветным голосом. — Я один, а в горах полно людей.

Я остановился, глядя из-за его спины на букашку, мечущуюся по экрану.

— Что это?

— Туан.

Мобиль то кружился над одним местом, то стремительно спускался вниз по ущелью, то описывал большой круг, прижимаясь к самым горам, но все время он возвращался к огромной выемке, на дне которой медленно набиралось что-то блестящее. Вероятно, так выглядела на ночном экране вода. И вдруг я понял, что это за место, на которое неуклонно возвращается четкая точка мобиля.

Джабжа сел и обхватил колени. Точка на экране продолжала кружить. Вероятно, так будет до утра.

— Как это случилось?

Джабжа сделал усилие, и было видно, что ни одному человеку, кроме меня, он не стал бы сейчас рассказывать этого. Но он знал, что я имею право, что мне необходимо это знать.

— Эти мальчишки застряли в ущелье. Мы неодно-

кратно предлагали им людей и механиков, но они отвечали, что справятся сами. А сегодня в заповедник прорвалась гроза. Ты знаешь, что это была за гроза. Озеро, лежащее над ущельем, много раз давало селевые потоки огромной мощности. Когда Лакост вернулся из Парижа, было ясно, что людей нужно немедленно снимать с корабля. Я выслал силовые гравилеты, чтобы поднять их черепаху над опасной зоной. Они ответили, что поднимаются сами, и отослали наши машины. Их корабль медленно пошел вверх. Тогда-то и вернулась Илль. Лакост показал ей на экран, на котором четко виднелось озеро. Если бы эти мальчишки видели то, что там творилось, они вряд ли стали бы рисковать. Но они положились на свою развалину и она, не поднявшись и на сто метров, снова опустилась на дно ущелья. Я приказал им немедленно покинуть корабль и выслал мобили, которые все равно уже не могли успеть. Я не заметил, как Илль вышла.

Джабжа говорил так, словно все это случилось давным-давно, и он теперь с трудом, но обстоятельно припоминает, как это произошло.

— Но это заметил Лакост. Он вылетел следом.

— Лакост?

— Да, Лакост,— ответил он, и я понял, что он этим хотел сказать.

— Но ее мобиль был одноместной спортивной машиной. Догнать его было невозможно. Когда она подлетала, поток воды уже несся по ущелью, и рев его был слышен этим... Я видел, как она выскочила и впихнула их в свой мобиль, и он с трудом поднялся. Лакост долететь не успел.

Я поднял на него глаза.

— Да,— сказал он.— Мы с Туаном это видели.

— Но разве не может...

— Это была стена воды десятиметровой высоты. Вода, крутящая глыбы камня и вырванные с корнем деревья. Корпус старого корабля треснул, как яйцо. Двигатель нейтрогенного типа работал на холостом ходу, когда защита полетела к чертям и... можно догадаться, что там творилось. Лакост был совсем близко. Взрыв разбил его мобиль о скалы.

— Где он?

— В Женевской клинике.

— Выживет?

— Должен.

— Это — все, Джабжа?

— Это — все, Рамон.

Я вскочил.

— Сиди. Люди из Мирного должны прибыть через час. Нас сменят.

Мы сидели молча. Туан не возвращался. Легкий гул наполнял огромный конусообразный зал. Иногда на пепельных экранах проносились черные стремительные капли — это мчались мобили, посланные автоматическим командиром. И сколько бы их ни улетело, на выходе все равно стоял очередной корабль, готовый ринуться туда, где нужна помощь.

И еще сидели два человека, спокойные и безразличные с виду. Их очередь — тогда, когда бессильна будет самая совершенная, самая современная машина. Тогда один из них встанет и улетит. И, если нужно, следом полетит второй.

Но пока этой необходимости не было.

Не появилась она и тогда, когда, наконец, прибыли четверо молчаливых, сдержанных парней, одетых в рабочие трики. Джабжа говорил с ними вполголоса. Потом подошел ко мне:

— Останешься здесь?

Я покачал головой.

— В Егерхауэн?

Я, кажется, усмехнулся.

— Но только не *туда*. У твоего мобилиа нет защиты.

— Не бойся. Я просто полечу... — я неопределенно махнул рукой куда-то вниз. — И потом я должен попасть на этот остров... Как его? Не имеет значения. Комитет «Овератора».

— Ты должен? — переспросил Джабжа.

— Я должен жить так, как жила она. А она знала. Если я не сделаю этого, я буду считать себя трусом.

— Ты никогда не будешь трусом, Рамон. Иначе она не любила бы тебя.

— Ты знал?..

— Я видел.

Мы вышли на площадку. Два мобилиа стояли, как сторожевые псы, готовые прыгнуть в темноту.

— Тебе действительно нужно узнать *это*? — медленно, взвешивая каждое слово, проговорил Джабжа.

Я не ответил. Джабжа кивнул и направился к мобилию.

— Ты тоже летишь?

— Я к Лакосту.— Джабжа помолчал, глядя вниз.— Помнишь, ты спрашивал, зачем существует Хижина? Еще бы я не помнил!

— Чтобы с людьми не случилось того, что с ним. Ну, прощай, Рамон.

— Прощай, Джошуа.

Он тяжело оперся на мобиль, так что машина качнулась. Потом обернулся ко мне:

— Она улетела — отсюда.

Створки люка захлопнулись, мобиль сорвался с места и исчез в темноте.

Она улетела отсюда.

Мне даже не нужно было закрывать глаза, чтобы увидеть: вот она наклоняется над экраном, вот поворачивается и идет — не бежит, а просто очень быстро идет. Идет легко и стремительно, как можно идти навстречу смерти, когда о ней совсем-совсем не думаешь, потому что главное — это успеть спасти кого-то другого. И великое Знание, принесенное «Овератором», не имеет никакого значения.

Она проходила мимо меня, и я видел — она даже не вспомнила об *этом*. Она проходила мимо меня уже в десятый, двадцатый, сотый раз, пока я не почувствовал, что частица ее легкости и стремительности передалась мне.

Я наклонился над алфогографом. Комитет «Овератора»... «Тебе действительно нужно узнать *это*?» Нет, мне это не нужно. Я задал курс на маленькую кибернетическую станцию на берегу Байкала. Мобиль оторвался от площадки и ринулся вниз.

Я обернулся. Луна всходила как раз из-за горы, и черный силуэт склона, отсеребренный по самой кромке, стремительно уносился назад. Громады построек, опоясывающих вершину, были теперь лишь слабыми, едва заметными выступами. Контур показался мне знакомым.

Вверх по крутому склону карабкался леопард. Он был уже мертв, но он все еще полз, движимый той неукротимой волей к жизни, которой наделил его человек взамен погнанного инстинкта смерти.



Геннадий Гор

ОЛЬГА НСУ

Рассказ

I

Корреспондент «Квантовой зари» Олег Нар, придя в лабораторию субмолекулярных проблем, в недоумении остановился. Над письменным столом Главного Субмолекулятора висела надпись, смутившая журналиста явным несоответствием ее содержания здравому смыслу: «Попробуй, отними у меня мою смерть».

Может быть, следовало помолчать и подумать, но журналист слишком ценил свое время, чтобы тратить его на молчание.

— Вы же отняли ее у всех,— сказал Нар.

— Что я отнял? — рассеянно спросил Субмолекулятор. Он просматривал какую-то сводку, принесенную ему лаборантом.

— Смерть,— ответил неуверенно и смущенно Нар, словно вдруг забыв это деликатное слово.

— Надеюсь, вы пришли сюда не для того, чтобы меня за это упрекать?

— Нет. Но для чего висит эта надпись?

Лодий улыбнулся. Он выглядел старше своих лет. И выражение его лица совсем не подходило ни к его поло-

жению в обществе, ни к его заслугам. Вероятно, так улыбались люди полтора столетия тому назад, люди, чьей участью и призванием были неуверенность и слабость.

Олегу Нару вспомнились старинные романы об униженных и оскорбленных. Как удивительно и нелепо, что Великий Субмолекулятор чем-то походил на них, этих бедных людей. На лице его было просящее, почти умоляющее выражение. Но корреспондент «Квантовой зари» сделал вид, что не заметил этого.

— Эти слова,— сказал Нар,— потеряли свой смысл. Они звучат почти как шутка.

— Но ведь полвека назад они соответствовали истине. Десятки тысяч лет люди жили, зная, что у них могут отнять их жизнь, но не смерть.

— Но когда-то у них можно было отнять все: благополучие, радость, честь. Их, кажется, называли тогда униженными и оскорбленными? Нар посмотрел на Субмолекулятора.

Но теперь на него глядел уже совсем другой человек, величественный и строгий, похожий на командира сверхкосмолета или на строителя буев в межзвездных вакуумах. Корреспондент был удовлетворен. Лодий без улыбки больше соответствовал его представлению о том, каким должен быть современный гений.

— Эта надпись,— сказал Великий Субмолекулятор,— много лет дразнила меня и старалась опровергнуть мою идею более остроумно и лаконично, чем все мои многословные противники.

— Расскажите о вашей идее. О противниках не надо. Они первыми побежали на субмолекулярные пункты, спеша расстаться навсегда со своей смертью, а заодно и со своими убеждениями.

— Не все. Вы преувеличиваете. Но зачем рассказывать мне вам о моей идее?

— Как зачем! Читатели «Квантовой зари» хотят знать.

— Но они же знают о моей идее, пожалуй, больше, чем я сам. Они и вы тоже, Нар. Я не совсем понимаю, зачем, собственно, вы пришли сюда?

— Узнать о бессмертии.

— Но вы-то сами, в конце концов, бессмертны или нет?

— Кажется,— сказал Нар, покраснев. В его голосе прозвучала нотка явной неуверенности.

— Что значит «кажется»? Это слово меньше всего подходит, когда речь идет об абсолютном. По-видимому, вы оговорились.

— И да, и нет. Ведь прошло всего три недели, как я подвергся бессмертизации. Я еще не вполне освоился с новым состоянием своего организма. Привыкаю.

— А сколько времени вам понадобится, чтобы привыкнуть?

— Годков сто или двести. Не знаю. Во всяком случае, не три недели.

— А почему вы так медлили с субмолекуляризацией?— Голос Главного Субмолекулятора стал металлическим и отчужденным.

— Я ведь журналист. У меня не было свободного времени. Я должен был описывать это великое событие, беседовать с людьми, перешагнувшими через порог временного и природного и приобщившихся к бесконечности.

На лице Субмолекулятора появилась брезгливая гримаса.

— Ради всего святого, только без метафизических выпренностей. Бесконечность! Зачем эти громкие и пустые слова, когда речь идет о земном и обыденном?

— Вы считаете субмолекуляризацию обыденным явлением?— В голосе Нара опять появилась нотка неуверенности, непонимания, опасения, что его высмеивают.

— А чем же вы мне рекомендуете ее считать? Чудом? Запомните, дорогой. Чудо — это явление единичное, исключительное. Оно похоже на эксперимент, удавшийся только самому экспериментатору, и всего один раз. Оно не поддается проверке. Чудо не может иметь массового характера. Запомнили? А теперь скажите, сколько людей, по вашим данным, подверглось субмолекуляризации?

— Двадцать три миллиарда. Все население планеты, включая зону Луны, Марса и больших космических станций.

— Ну, положим, не все население. Не следует так округлять. Не обошлось и без исключений, нашлись люди, которые не пожелали.

Журналист вскочил, протестуя.

— Мне неизвестны такие факты, не хочется верить. Неужели нашлись люди...

— Не торопитесь осуждать их, Нар. Я тоже принадлежу к их числу.

Лицо журналиста покрылось крупными каплями пота. Ему стало холодно. Ему всегда становилось холодно, когда он был очень возбужден. Он достал из кармана портативного робота, записывающую машинку, вбирающую в себя мысли, эмоции, звуки, все, что можно вобрать и отразить, воспроизвести.

— И об этом я могу поведать читателям «Квантовой зари»?

— Разумеется, можете, Нар. Но я не советую. Все станут сомневаться. А исправить уже поздно.

— Абсолютно поздно?

— Абсолютно, Нар.

2

В мире остался всего один смертный. Это был сам изобретатель бессмертия академик Лодий.

Журналист Олег Нар не решился опубликовать то, что он узнал от Лодия. Что удержало его и помешало выполнить профессиональный долг? Он и сам не смог ответить на этот вопрос, хотя и считал себя знатоком людей и глубоким психологом. Его ум столкнулся с загадкой.

Он снова и снова добивался свидания с Лодием. Но тот отказывал. Разговор их на расстоянии по аппарату, сливавшему звук с образом, неожиданно оборвался.

— Так вы пошутили? — спросил Нар.

— А вам бы чего больше хотелось, — ответил Главный Субмолекулятор, — истины или шутки?

Нар сам не знал, чего он больше хотел. Он услышал смех Лодия, а затем смеющееся лицо Молекулятора исчезло с экрана.

Олег Нар остался наедине с тайной. И это мешало ему жить, наслаждаться безбрежностью предоставленного ему наукой и обстоятельствами времени. По характеру он был суетлив, всегда боялся опоздать и приходил заранее, сердясь на себя и на свою торопливость. Еще недавно эта торопливость была связана не только со свойством его суетливого и чересчур нервного характера, но и с полусознанным чувством, что спешить следует хотя бы потому,

что жизнь временна и скоротечна. Теперь Олег Нар отлично знал, что не подчинен времени, и все-таки не мог избавиться от суеты и спешки. Беспокойное чувство торопило его, и свою безвременность он осознал только умом. Нет, он не ощущал себя бессмертным, наоборот, ему по-прежнему казалось, что время его утекает, спешит, и, как прежде, он нервно поглядывал на часы.

Часы — вот предмет, который в продолжение многих столетий человечество слишком ценило, радуясь им, вместо того чтобы печалиться.

В тот день и час, когда Нар вышел из районного пункта субмолекуляризации, он тоже взглянул на часы, подчиняясь силе привычного. Сознание, что он больше не подвластен времени, хмелило его, как вино. Он снял с руки изящные часики, произведение усовершенствованной часовой промышленности, и бросил их на пол. От сильного удара часики разбились. Две стрелки лежали отдельно и неподвижно, словно время уже не нуждалось в измерении.

Но вскоре свободное и хмелящее чувство прошло. Суетливый Нар вспомнил, что он опаздывает в редакцию. Он представил себе недовольное лицо редактора и его насмешливые слова:

— Ну и что из того, что вы бессмертны? Это вовсе не освобождает вас от обязанностей и не дает права опаздывать. Взгляните, не отстают ли ваши часы?

— Я их выбросил.

— Выбросили часы? От вас этого следовало ожидать. Таких людей, как вы, к субмолекулярным пунктам и на пушечный выстрел допускать не следует.

Редактор любил громкие и выпренные выражения, уже вышедшие из употребления.

Нар спешил в редакцию. Мысленно он подыскивал себе оправдание в том, что его интервью с Главным Субмолекулятором оказалось бесцветным. Но разве он, Олег Нар, был в этом виноват? Общечеловеческие интересы бесконечно выше интересов личных. Он должен хранить в тайне признание Лодия!

Вечером, после беседы с редактором, Нар снова связался с Главным Субмолекулятором.

— Что вы хотите от меня? — спросил ученый.

— Я хочу узнать, почему вы предпочли остаться смертным?

— Дорогой, не задавайте глупых вопросов. Предпочел?

У меня просто не было времени пойти на пункт субмолекуляризации. Не было и нет. Можете вы это понять?

— Могу, — ответил Олег Нар словно не своим, а занятым у редактора голосом.

3

Первый, кто высказал эту идею, был Николай Федорович Федоров, русский ученый и мыслитель, живший во второй половине XIX века.

Лев Толстой и Достоевский считали его образованнейшим и гениальнейшим из своих современников. У него брал первые уроки понимания космоса и Земли юный Циолковский.

Книга Федорова пробудила в Лодии страстное и неукротимое желание осуществить дерзновенную идею.

Николай Федорович Федоров писал свою удивительную и во многом загадочную книгу в эпоху, когда человечество не только мало знало о космосе, но еще не умело оторваться от Земли. Мысль скромного библиографа Румянцевской библиотеки, опережая на столетие свое время, рвалась вперед, в будущее, ища главное решение проблем, связанных с освоением безмерных пространств Вселенной.

Ничто так не препятствовало победе над пространством, как краткость человеческой жизни. Природа, столь «предусмотрительная» в приспособительной способности земных организмов, совершенно не «предвидела» то, казалось бы, очевидное обстоятельство, что человечеству рано или поздно придется выбраться из земной колыбели. Сильный и быстро прогрессирующий разум она одела в слишком бранные и непрочные биологические одежды. Больше рассчитывая на род и генотип, чем на индивид и сом, она поставила человечество перед проблемой, которую, казалось, не дано ему было решить. С «ошибкой» непредусмотрительной природы столкнулись все смелые и решительные космонавты, пытавшиеся выйти за пределы Солнечной системы. Им не хватало времени, не хватало жизни, даже замедленной анабиозом и околосветовой скоростью космических кораблей. Сколько дерзких исследователей не

вернулось домой только из-за того, что слишком большое расстояние отделяло их биологические возможности от их цели. Их вечно подстерегал коварный цейтнот.

Читая Федорова, юный Лодий испытывал ни с чем не сравнимое чувство тоски по невозможному. Сама бесконечность распростерлась на страницах загадочной книги, бесконечность, казалось, способная поддаться и уступить перед усилием гениального разума.

И все-таки это только казалось. Идея Федорова была только мечтой и вряд ли осуществимой.

Возвращаясь из книгохранилища домой в Большой Студенческий городок, Лодий смотрел на окружающий мир другими глазами. Даже Солнце рано или поздно должно было потухнуть, но человеку кем-то, жившим в старинной купеческой Москве, было обещано нечто более продолжительное, чем жизнь звезд и планет. Не слишком ли высокого мнения был московский библиограф о силе человеческого разума и возможностях науки?

Лодий был очень горяч, страстен и смел, чтобы испугаться мнения людей без воображения. Окончив факультет космической биологии, он опубликовал восторженную статью о Федорове и идее бессмертия, которую должна осуществить молодая наука — субмолекулярная биология.

Удивительно, что орган строгой науки, журнал, редактируемый крупнейшими биологами Солнечной системы, решил опубликовать эту статью. Лодию стало известно, что статья была принята после ожесточенной дискуссии большинством всего в два голоса и что сразу после голосования один из членов редколлегии Аркадий Мамар в знак протеста отказался сотрудничать в журнале.

Это он потревожил Лодия в ночной час, когда тот уже был в постели. Взглянув на экран, Лодий увидел насмешливое лицо Мамара.

— Русские мальчики, — сказал Мамар, словно дразня Лодия, — русские мальчики!

— Какие мальчики? — спросил Лодий.

— Те русские мальчики, о которых еще писал Достоевский.

— При чем тут мальчики? Федоров был глубокий старик.

— Он был седоволосым мальчиком преклонного возраста. И, как все русские мальчики, готовый к поискам абсолюта.

— Это делает ему честь.

— Ему — возможно. Но не вам, Лодий. Еще Гёте в своем «Фаусте» осудил эту мальчишескую идею.

— Вы не поняли «Фауста», вчитайтесь.

— Зато я понял вас. И вашего седовласого мальчика. Мальчики — старые враги логики.

— Мне наплевать на вашу логику.

— Ну, что ж, — ответил Мамар, — тогда нам не о чем говорить. Я отключаюсь от вас. Люди не нуждаются в бессмертии. Оставьте, голубчик, мне мою смерть. Слышите? Оставьте!

Лодий напомнил Мамару эти его слова через много лет, когда тот явился на пункт бессмертизации. Мамар оказался там среди первых, выражая крайнюю степень нетерпения. От сильного волнения у него тряслась щека.

— Эх, Мамар, Мамар, — сказал Лодий, — где же вы оставили свои принципы?

— Бросьте, — погрозил пальцем Мамар. — Оставьте эти свои штучки русским мальчикам. Я уже не мальчик!

— Вы старец, жалкий старец. Не волнуйтесь, никто не заменит вашу смерть своей.

— Бросьте эти штучки. Фауст тоже был не мальчик!

4

Жена Лодия Ольга Нсу спрашивала его чуть не каждый день:

— Главный Субмолекулятор, когда же ты пойдешь на пункт? Или тебе так дорога твоя смерть?

Когда она обижалась, она всегда называла его Субмолекулятором. Это еще можно было ей простить. Но Лодия раздражал ее нынешний тон, та легкомысленная интонация, с которой она произносила слово «смерть». Лодий, один из самых талантливых людей Солнечной системы, забывал о простых вещах. Ольга Нсу, как и миллиарды других людей, уже была по ту сторону смерти, а Великий Субмолекулятор — по эту. Он был смертный и поэтому уважал смерть.

— Когда же ты пойдешь на субмолекулярный пункт? — допытывалась Ольга Нсу.

— Завтра,— отвечал Лодий.

— Я слышу это каждый день. Отчего же завтра, а не сегодня?

— Но, дорогая, почему это тебя так беспокоит? Я еще не стар и здоров. У меня просто нет времени, чтобы тратить его на свою особу. Я продолжаю исследования. Ведь для всех, кроме меня, проблема бессмертия потеряла всякую актуальность. Признаюсь только тебе одной, я боюсь тоже потерять к ней интерес и поэтому откладываю...

Ольга Нсу рассмеялась. Но выражение ее лица не изменилось, не стало менее тревожным и озабоченным. Судьба мужа беспокоила ее. В этом прочном, почти абсолютном человеческом мире он один не обладал никакой прочностью. Он был, как все биологические существа — индивиды на Земле, от слона до бабочки, кроме человека, кратковременен, относителен, почти эфемерен.

Невеселые мысли Ольги Нсу прервал тихий гудок отражателя. Она взглянула на экран. Оттуда глядело на нее незнакомое лицо. Густой низкий голос, однако же полный странной неуверенности и замешательства, произнес:

— Вы Ольга Нсу. А я, кажется, Олег Нар, корреспондент «Квантовой зари».

Ольга Нсу рассмеялась:

— Нар вы или не Нар?

— Кажется, все-таки Нар.

— Вы хотите меня в этом убедить или просите, чтобы я вас в этом убедила?

— Нет. Впрочем, да. И нет.

— Вам не хватает только уверенности или еще чего-то?

— Для моей уверенности недостает самого главного. Ведь я, так же как и вы, абсолютен, бессмертен. Но вечное во мне еще не слилось с временным. Мой характер не изменился. И чувства тоже остались прежними.

— Я уже оценила вашу откровенность. Но ваш звонок ко мне вызван, вероятно, не только желанием поделиться своим самочувствием и настроением.

— Я хотел узнать,— сказал Нар,— почему ваш знаменитый муж откладывает свою субмолекуляризацию?

— Это известно вам одному,— спросила Ольга Нсу с тревогой,— или это уже знают многие?

— Пока мне одному. Но стоит нам опубликовать короткую заметку, и будет знать вся Солнечная система.

— Я уже догадываюсь.

— О чем?

— Вам очень хочется порадовать Солнечную систему своим сенсационным сообщением.

— Если бы мне этого хотелось, я давно бы это сделал.

— Что же вас удерживает?

— Я хочу понять вашего гениального мужа. Мысль о том, что среди нас, абсолютных, вырванных из цепких объятий времени, есть один смертный, не дает мне покоя.

— Вы тревожитесь о нем? — спросила Нсу. — Бойтесь, как бы он не умер случайной смертью?

— Я тревожусь не о нем, а о себе и обо всех, в том числе и о вас. Что это значит? Не поспешили ли мы? Не сделали ли мы роковую, неисправимую ошибку?

— Вас интересует философский аспект проблемы? Не так ли? Так почему же вы обращаетесь не к философам, а ко мне?

— Меня интересует человеческий аспект проблемы. Только человеческий. И поэтому я обращаюсь к вам. Жена академика Лодия должна знать истинные мотивы поведения мужа.

— А если не знает?

— Исходя из логики, должна.

— Ему некогда. Он занят. Вот и вся причина.

— Вы уверены в этом?

— О, если бы я была в этом уверена!

До напряженного слуха Олега Нара донеслись всхлипывания. Затем экран отражателя покрылся пеленой отчуждения. Нсу отключила себя от свидетеля своей нечаянной слабости.

5

— Я почти бог, — сказал Нар своей жене, ложась спать. — Почеши, пожалуйста, мне спину.

— У бога не должна чесаться спина. Богу не мешало бы принять ванну.

— По-твоему, у бога не должно быть никаких желаний?

— Оставь, Олег. Это мне надоело. Ты воображаешь, что стал Аристотелем или Спинозой от того, что сходил на

пункт субмолекуляризации? Не забывай, что там побывало несколько миллиардов. Но никто, кроме тебя, не вообразил себя богом.

— У них не хватает воображения. Так же, как и у тебя.

— Откуда ты это знаешь?

— Ты думаешь, все изменилось с тех пор, как открылись субмолекуляризационные пункты?

— Я ничего не думаю, Олег. Я устала. Я устала от тебя за эти три недели. С тоской я думаю о том, что прошло всего двадцать дней, а впереди еще целая вечность.

— Разве тебя это не радует?

— Радует. Но меня бы это радовало еще больше, если бы ты не воображал себя богом.

— А кто же я, если не бог? Кто? Человек, в чьем распоряжении вечность, вправе так о себе думать.

— Сколько я тебя знаю, ты всегда был слишком высокого мнения о себе. Можно подумать, что ты предвидел субмолекулярные пункты и абсолютную власть над временем.

— Обойми меня. И поговорим о чем-нибудь временном и мимолетном.

— О чем, Олег?

— Ну, хотя бы о нашей любви.

— Разве она кончилась от того, что мы стали бессмертны?

— Не знаю. Я бог, я вечное существо. Но я еще мало знаю о вечности.

— Олег, перестань называть себя богом. Мне стыдно за тебя.

— Лучше обойми меня. Мне нужно встать рано и написать статью.

— О чем?

— О любви... Редактор утверждает, что читатели хотят знать, какой станет любовь теперь, когда в распоряжении любящих целая вечность.

— Почему он поручил это тебе?

— А я знаю? Он сказал: «У вас есть воображение, Нар. Вам придется заглянуть в будущее. А на это не все способны». Его слова польстили моему самолюбию.

— И что же ты напишешь?

— Еще не знаю. Мне нужно выспаться и набраться сил. Почеши, пожалуйста, мне спину. Когда ты чешешь, мне

кажется, что все осталось прежним, как было до этих пунктов. Забыл их название.

— Субмолекулярных, Нар.

— Мне хочется забыть это слово. А тебе? Я все смотрю на тебя и ловлю себя на опасной мысли, что ты не изменилась. Может ли это быть?

— Может, Олег. Все может быть. Это сказала мне одна старуха, не пожелавшая пойти на пункт.

— И она так и не пошла?

— Нет. Это ведь дело добровольное. Она осталась дома и до сих пор не может решить — стоит или не стоит?

— Где она живет? Ты знаешь ее адрес?

— Его можно узнать. А что?

— Я хочу помочь ей сделать выбор. Свой я уже сделал. Но мне хочется еще раз пережить этот миг, миг сомнения. Разбуди меня пораньше.

6

Ольга Нсу, молодая и энергичная, не любила тратить драгоценное время на встречу с утраченным. Она не любила вспоминать. Ее жизнь была наполнена настоящим, всем тем, что приносил огромный мир. Зачем оглядываться на прошлое? Но с тех пор, как она стала вечной, ее начали томить и усаждать воспоминания, как восьмидесятилетнюю старуху. Она не могла отдать себе отчет, почему это происходило. Ведь впереди были тысячелетия, подаренные ей наукой. И тем не менее она не могла избавиться от воспоминаний. Прошное, состоящее из мимолетных минут и мгновений, словно дразнило ее.

Ей являлось то ее детство, то юность. Она мысленно видела ту местность, в которой жила вместе с матерью, отцом и сестрой. Там было множество рек, речек и озер. И когда она садилась в маленький детский вездеход, она говорила автоматическому водителю:

— Тин, остановись в том месте, где пасутся пятнистые олени. Я хочу взглянуть на них.

-- А я не хочу, — отвечал своенравный робот. — Терпеть не могу пятнистых оленей.

— Ну, Тиник. Я тебя прошу. Ты такой добрый.

— Не льсти мне,— отвечал автомат.— Я ипохондрик. Не нужно лакировать действительность. И кроме того, мы можем опоздать в школу.

— Ипохондрик? Что это такое? Очень красивое слово.

— Все слова красивы, когда они не льстят.

— Ну, Тин! Ну, ради твоих родных.

— У меня нет и не было родственников. Ну, так и быть, я останавлиюсь.

Плыли ленивые облака. И вода в ручьях звенела. Грохотал водопад. На ветке сидела синяя белка. Мгновения тоже плыли, как облака.

— Тин! Хочешь, я расскажу тебе сказку?

— Сказка — ложь. А я люблю истину. О чем же твоя сказка?

— О тебе, Тин. И обо мне. И об этих облаках, которые плывут над лесом.

— Ну, пора. Собирайся! Не то мы опоздаем в школу.

Как далеко детство! Ольга Нсу недавно летала в тот край. На месте были ручьи, реки, озера, леса и даже облака. Паслись пятнистые олени там же, где бродили раньше, возле скал, пахнувших лиственничными ветвями и смолой. Но чего-то не хватало там, Ольга не могла понять — чего? Чего-то такого, что было и исчезло.

Свой детский вездеход она нашла в сарае, там же обнаружила и Тина-водителя, погруженного в вечное молчание.

Милый Тин, чудесный ипохондрик, сколько раз мы опаздывали с тобой в школу, заглядевшись на лесную синеву, на плывущие облака или на стройные ноги оленьей важеньки!

Воспоминания несли Нсу дальше, сквозь детство в юность. С Лодием они познакомились на площади большого города возле памятника Уотсону и Крику. Нсу с удивлением смотрела на памятник. Вместо двух фигур там, на пьедестале, застыло три.

— Кто же третий с бородой? — спросила Ольга Нсу высокого человека, стоявшего рядом.

— Чарльз Дарвин,— ответил он.

— А при чем тут Дарвин?

— Дарвин совершил самое крупное биологическое от-

крытие в XIX веке, а Уотсон и Крик в XX. Они в интеллектуальном родстве.

— Я проходила это в школе,— сказала Нсу.

— Но почему же вы не узнали Дарвина?

Нсу смутилась. Уж очень строгое лицо было у этого молодого человека, типичное лицо экзаменатора.

— Кто вы? — спросила Ольга Нсу.

— Пока никто. Аспирант. Специализируюсь на субмолекулярной биологии.

— Пока. Ну, а потом?

— Вы хотите заглянуть в мое будущее? Не нужно. Если мне удастся реализовать одну идею, будущее навечно сольется с настоящим.

— Что вы хотите сказать?

— Когда-нибудь мне удастся отнять у людей страх смерти.

— Ведь не все ее боятся.

— Но почти все ее не хотят!

— Я не понимаю.

— Сейчас объясню. Если мне удастся то, что я задумал, вы будете жить почти вечно.

Нсу рассмеялась.

— Благодарю вас за остроумную шутку. Но ваши слова мне понравились больше, чем ваша мысль. Слово «почти» нельзя ставить рядом со словом «вечность».

— Другим нельзя. А мне можно,— сказал молодой человек.

— Да, я вижу, вы себе разрешили все, даже говорить нелепости.

И они пошли вместе по улицам, еще не придавая большого значения этой встрече.

В языке еще существовало доживающее свой век слово «судьба». Оно возникло еще в те наивные времена, когда человек ставил себя в центре мира и воображал, что вся Вселенная занята только им. Но если не судьба, то случай. Памятник двум биофизикам, открывшим информационные и наследственные свойства нуклеиновых кислот, был той точкой, в которой пересеклись жизни Нсу и принципиального противника смерти.

Воспоминания несли, несли Нсу дальше. То, что она приняла за шутку, оказалось истиной. Лодий действительно работал над решением проблемы, которая всем представлялась неразрешимой.

— Чем занимается ваш муж? — спрашивали знакомые Ольгу Нсу.

— Поисками абсолюта.

— Кажется, так называется повесть Оноре Бальзака?

— Да, Бальзак этими словами осудил своего героя.

— Героя легче осудить, чем мужа, — отвечали знакомые.

— Прежде, чем его, мне бы пришлось осудить самое себя. Я работаю в его лаборатории.

Изучение клетки в свое время вели десятки тысяч ученых. Цитология стала самой актуальной наукой еще сто лет назад, когда специалисты поняли, что сложность и загадочность клетки может привести в отчаянье самый мудрый, терпеливый и оптимистически настроенный ум. Постепенно клетка поддалась и перестала быть загадкой. От клеточного уровня ученые перешли к субмолекулярному и молекулярному уровню изучения живого. И только тогда ученые воочию увидели принципиальную разницу между физикой и биологией.

Физика — это наука о вероятностях. Биология — наука о невероятном. Это сказал еще знаменитый биохимик XX века Альберт Сент-Дьерди. Он же сказал, что в живом организме становятся возможны реакции, которые кажутся физику невозможными и невероятными. Когда была вскрыта гробница Тутанхамона, оказалось, что за 3000 лет его завтрак не окислился. Такова физическая вероятность. Но если бы фараон воскрес и сам съел свой завтрак, то завтрак сгорел бы очень быстро. Такова была биохимическая вероятность. Сам фараон представлял собой очень сложную и высокоорганизованную структуру ядер и электронов, статистическая вероятность которой близка к нулю.

Лодий развивал идеи Сент-Дьерди, глубоко оценив его мысль о статистической парадоксальности живого организма.

Природа и эволюция дали почти бессмертие роду и виду, ограничив индивид. Но в человеческом обществе индивид стал высокоинтеллектуальной личностью, которой трудно было примириться с биологическими границами своего бытия. Над каждым висел цейтнот. Каждому действительность напоминала о сроках. Но тут как бы раскрылись

две действительности. Одна, физическая действительность, состояла как бы из действительного и возможного, утверждая закон вероятностей. Другая действительность, биологическая, состояла из действительного и парадоксального, казалось бы, невозможного.

Еще в конце XX века биологи столкнулись с противоречием в развитии науки о живом. С одной стороны, огромные успехи в раскрытии тайн генотипа, наследственности, всего, что связано с эволюцией рода и вида, с другой — полная неудача в раскрытии загадки развития фенотипа, индивида, того, как осуществляется заданное в наследственности и «записанное» самой природой в нуклеиновых кислотах. Ученые бились над вопросом: как оплодотворенная яйцеклетка, бесформенный комочек протоплазмы, может превратиться в человека? Как одна простая клетка может превратиться в великое множество специализированных клеток, составляющих организм человека?

И только в XXI веке ученые подошли к разрешению этой сложнейшей из проблем. Молекулярный и субмолекулярный уровень изучения малого и отдельного, объединенный с пониманием целостного организма, помогли ученым разгадать загадку осуществления заданного наследственностью и хранящегося в устойчивости нуклеиновых кислот. Вот тогда-то Лодий пришел к дерзкой, поистине федоровской идее соединить родовое с индивидуальным, сделать индивид таким же бессмертным, как род.

7

— Нсу,— спросил Лодий,— что ты так смотришь на меня, словно мы на космическом вокзале? Я же не улетаю за пределы Солнечной системы. Я всего-навсего только лечу в институт. Двадцать минут пути...

— Двадцать пять, Лодий.

— Ну, двадцать пять. Это же не вечность.

Нсу пыталась примириться с временностью мужа. Иногда она думала, что он ее обманывает. Разумеется, он в тайне от нее побывал на субмолекулярном пункте, но хочет,

чтобы она беспокоилась о нем. Ведь слишком спокойная бестревожная любовь близка к равнодушию. Он хочет, чтобы она его любила и беспокоилась о нем. Ах, эти мужчины!

Лодий поднял руку и помахал ладонью. Затем он исчез.

Он был близко, близко и вместе с тем далеко. Двадцать пять минут пути. День в институте, и к вечеру он снова будет здесь, рядом со своей Нсу. Работа не отпускала его. Ольга взяла отпуск, чтобы отдохнуть в Заповедных лесах, где тропы никуда не ведут и люди забывают о деле. Он тоже собирался полететь вместе с ней, но тут возникли проблемы. Перед ним всегда возникали проблемы. Одну из этих проблем он решил, проблему жизни без смерти. Ну и что из того? Разве от этого изменилась сущность науки и научного развития — беспрестанные поиски? Разумеется, нет.

— Нсу, моя Нсу,— говорил он,— мы еще так мало знаем о живом.

— Даже теперь, когда победили смерть?

— Иногда мне кажется, что теперь мы знаем еще меньше. Особенно о человеке. Нсу, что я знаю о тебе?

— Все. Мои привычки, мой характер.

— Твой характер изменился. И ты, кажется, меньше стала меня любить.

— Почему ты так думаешь?

— Потому что ты, Нсу, уже другой человек. Ты смотришь на меня с высоты своей вечности. Как на временное существо. Что между нами общего? Ты переживешь Землю и увидишь, как будет тухнуть Солнце, а я исчезну через десять или двадцать лет.

— Но зачем же ты послал меня на субмолекулярный пункт?

— Я не мог сделать исключение для жены.

— Почему же ты сделал его для себя?

— Боялся.

— Чего?

— До сих пор не могу дать себе в этом отчет. Я боялся себя. Мой характер не приспособлен для вечности. И кроме того, я опасаюсь, что люди обвинят меня, когда поймут, что они потеряли...

— А что они потеряли?

— Приобретая, всегда что-то теряешь. Они потеряли единство с природой. Но они вышли из подчинения ее главному закону, они победили энтропию. Приобретение намного выше утрат.

— Ты противоречишь себе. Тебе изменила твоя безупречная логика... И кроме того, ты дезертир. Ты не захотел быть великаном. Я знаю, ты всегда ценил в людях слабость. Но зачем же ты реализовал свою идею, отдав ей столько сил?

— Не знаю. Слабость победила меня. Может, это временно. И мне удастся себя пересилить.

8

Редактор вызвал к себе в кабинет репортера Олега Нара.

— Ну? — сказал он.

Олегу Нору стало не по себе. В редакции всем было известно, не исключая автоматической курьерши, что слово «ну» не сулит ничего хорошего.

— Ну? — повторил редактор.

Олег Нар молчал.

— Я поручил вам написать заметку, предварительно поговорив с субмолекулярным биологом Лодием, а вы принесли мне фантастический рассказ. Для чего?

— Я хотел заглянуть в будущее.

— Почему?

— Потому что Лодий только приступил к работе и еще ничего не сделал. Он заявил, что проблему можно решить не раньше, чем через пятнадцать-двадцать лет.

— Ну, вот и написали бы об этом. Самая скучная и пресная истина ценнее красивой неправды.

— Вам не понравился мой рассказ? — спросил Нар.


— Какое мне дело до вашего рассказа. Мне не понравился ваш поступок. Что, если все репортеры вместо кратких заметок будут приносить длинные и причудливые рассказы. Уж не вообразили ли вы себя философом?

— Нет. Пока еще не вообразил. Я не философ, я писатель.

— Ну? — сказал редактор и посмотрел на репортера глазами холодными и абсолютными, как вечность. — Да, кстати, как зовут вашу героиню!

— Ольга Нсу.

— Послушайте, зачем вам понадобилось такое странное имя? Не могли бы вы его переменить на что-нибудь более естественное, близкое к жизни? Что значит Нсу? Не имя, а пустой звук! Я уже не говорю о том, что не следовало выставлять напоказ самого себя и свою спину! Это нескромно, Нар. И нескромно выступать против идеи Лодия. Вы же репортер, а не философ.



Илья Варшавский

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ

Рассказ

— **П**ослушайте, Ронг. Я не могу пожаловаться на отсутствие выдержки, но, честное слово, у меня иногда появляется желание стукнуть вас чем-нибудь тяжелым по башке.

Дани Ронг пожал плечами.

— Не думайте, что мне самому вся эта история доставляет удовольствие, но я ничего не могу поделать. Если контрольная серия опытов...

— А какого черта вам понадобилось ставить эту контрольную серию?!

— Вы же знаете, что методика, которой мы пользовались вначале...

— Не будьте болваном, Ронг!

Торп Кирби поднялся со стула и зашагал по комнате.

— Неужели вы так ничего и не поняли? — Сейчас в голосе Кирби был сладчайший мед. Ему всегда хорошо удавались эти театральные переходы от начальственного окрика к проникновенному дружескому разговору. — Ваша работа носит сугубо теоретический характер. Никто, во всяком случае, в течение ближайших лет никаких практических выводов из нее делать не будет. У вас вполне хватит

времени, ну, скажем, через два года отдельно опубликовать результаты контрольной серии и, так сказать, уточнить теорию.

— Не уточнить, а опровергнуть.

— О, господи! Ну, хорошо, опровергнуть, но только не сейчас. Ведь после той шумихи, которую мы подняли...

— Мы?

— Ну, пусть я. Но поймите, наконец, что кроме вашего дурацкого самолюбия, есть еще интересы фирмы.

— Это не самолюбие.

— А что?

— Честность.

— Честность! — фыркнул Кирби. — Поверьте моему опыту. Вы, вероятно, слышали о препарате «тервалсан». Так известно ли вам...

Ронг закрыл глаза, приготовившись выслушать одну из сногшибательных историй, в которой находчивость Торпа Кирби, его умение разбивать козни врагов, его эрудиция и ум должны были служить примером стаду овец, опекаемому все тем же Торпом Кирби.

«Откуда этот апломб? — думал Ронг, прислушиваясь к рокочущему баритону шефа. — Ведь он ни черта ни в чем не смыслит. Краснобай и пустомеля!»

— ...Надеюсь, я вас убедил?

— Безусловно. И если вы рискнете опубликовать результаты работ без контрольной серии, я всегда найду способ...

— Ох, как мне хочется сказать вам несколько теплых слов! Но что толку, если вы даже не обижаетесь?! Первый раз вижу такую толстокожую...

— Вас удивляет, почему я не реагирую на ваши грубости?

— Ну?

— Видите ли, Кирби, — тихо сказал Ронг, — часто каждый из нас руководствуется в своих поступках каким-то примером. Мое отношение к вам во многом определяется случаем, который мне довелось наблюдать в детстве. Это было в зоологическом саду. У клетки с обезьянами стоял старый человек и кидал через прутья конфеты. Вероятно, он делал это с самыми лучшими намерениями. Но когда запас конфет в его карманах кончился, обезьяны пришли в ярость. Они сгрудились у решетки, и старик не успел опомниться, как был оплеван с ног до головы.

— Ну, и что из этого следует?

— Он рассмеялся и пошел прочь. Вот тогда я понял, что настоящий человек не может обидеться на оплевавшую его обезьяну.

— Отличная история! — усмехнулся Кирби. — Мне в ней больше всего понравилось, что он все-таки ушел оплеванный. Пример поучительный. Смотрите, Ронг, как бы...

— Все понятно, Кирби. Теперь скажите, сколько еще времени вы сможете терпеть мое присутствие. Дело в том, что мне хочется закончить последнюю серию опытов, а для этого потребуется, по меньшей мере...

— О, не будем мелочны! Я не тороплюсь и готов ждать хоть до завтрашнего утра.

— Ясно.

— Послушайте, Дан, — в голосе Кирби вновь появились задушевные нотки, — не думайте только, ради бога, что это результат какой-то личной неприязни. Я вас очень высоко ценю, как ученого, но вы сами понимаете...

— Понимаю.

— Я знаю, как трудно сейчас в Дономаге биохимику найти приличную работу. Вот — телефон и адрес. Они прекрасно платят, и работа, кажется, вполне самостоятельная. С нашей стороны можете рассчитывать на самые лучшие рекомендации.

— Еще бы.

— Кстати, надеюсь, вы не забыли, что при поступлении сюда вы дали подписку о неразглашении работ?

— Нет, не забыл.

— Отлично! Желаю успеха! Если у вас появится желание как-нибудь зайти ко мне домой вечером, поболтать просто так, по-дружески, буду очень рад.

— Спасибо. Зайду, если появится желание.

— Доктор Ронг?

— Да.

— Господин Латиани вас ждет. Сейчас я ему доложу.

Ронг оглядел приемную. Ничего не скажешь, дело, видно, поставлено на широкую ногу. Во всяком случае, денег на обстановку не жалеют. Видно...

— Пожалуйста!

Ступая по мягкому пушистому ковру, он прошел в предупредительно распахнутую дверь. Навстречу ему поднялся из-за стола высокий лысый человек с матово-бледным лицом.

— Очень приятно, доктор Ронг! Садитесь, пожалуйста. Ронг сел.

— Итак, если я правильно понял доктора Кирби, вы не возражали бы против перехода на работу к нам?

— Вы правильно поняли доктора Кирби, но вначале я хотел бы выяснить характер работы.

— Разумеется. Если вы ничего не имеете против, мы об этом поговорим немного позже, а пока я позволю себе задать вам несколько вопросов.

— Слушаю.

— Ваша работа у доктора Кирби. Не вызван ли ваш уход тем, что результаты вашей деятельности не оправдали первоначальных надежд?

— Да, это так.

— Не была ли сама идея...

Ронг поморщился.

— Простите, но я связан подпиской, и мне бы не хотелось...

— Помилуй бог! Меня вовсе не интересуют секреты фирмы. Я просто хотел узнать, не была ли сама идея несколько преждевременной при нынешнем уровне науки... Ну, скажем, слегка фантастической?

— Первоначальные предположения не оправдались. Поэтому, если вам нравится, можете считать их фантастическими.

— Отлично! Второй вопрос: употребляете ли вы спиртные напитки?

«Странная манера знакомиться с будущими сотрудниками», — подумал Ронг.

— Обета трезвости я не давал, — резко ответил он, — но на работе не пью. Пусть вас это не тревожит.

— Ни в коем случае, ни в коем случае! — казалось, Латиани был в восторге. — Ничто так не возбуждает воображение, как добрая порция коньяка. Пусть даже на работе. Поверьте, нас это совершенно не смущает. Может быть, наркотики?

— Извините, — сказал, поднимаясь, Ронг, — но думаю, что дальнейший разговор в этом тоне...

Латиани вскочил.

— Да что вы, дорогой доктор Ронг?! Я совершенно не имел в виду вас чем-нибудь обидеть. Просто ученые, работающие у нас над Проблемой, пользуются полной свободой в своих поступках, и мы не только не запрещаем им прибегать в служебное время к алкоголю и наркотикам, но даже поощряем...

— Что поощряете?

— Все, что способствует активизации воображения. Такова специфика нашего творческого метода.

Это было похоже на неуклюжую мистификацию.

— Послушайте, господин Латиани,— сказал Ронг,— может быть, вы вначале познакомите меня с сущностью Проблемы, а потом будет видно, стоит ли нам говорить о деталях.

Латиани усмехнулся.

— Я охотно сделал бы это, уважаемый доктор Ронг, но ни я, ни ученые, работающие над ней, не имеют ни малейшего понятия, в чем эта Проблема заключается.

— То есть, как это не имеют?

— Очень просто. Проблема зашифрована в программе машины. Вы выдаете идеи, машина их анализирует. Что непригодно — отбрасывается, что может быть впоследствии использовано — запоминается.

— Для чего это нужно?

— Видите ли, какого бы совершенства ни достигла машина, ей всегда будет не хватать основного — воображения. Поэтому там, где речь идет о поисках новых идей, машина беспомощна. Она не может выйти за пределы логики. В противном случае это будет галиматья.

— И вы хотите...

— ...использовать в машине человеческое воображение. Оно никогда не теряет своей ценности. Даже бред шизофреника складывается из вполне конкретных представлений, сколь бы фантастичным ни было их сочетание. Вы меня понимаете?

— Квант мысли,— усмехнулся Ронг.

— Совершенно верно!

— И таким способом вы хотите решить сложную биохимическую проблему?

— Я разве сказал, что она биохимическая?

— Простите, но в таком случае, зачем же?..

— ...мы пригласили вас?

— Вот именно.

— О, у нас работают ученые всех специальностей: физики, математики, физиологи, конструкторы, психиатры, кибернетики и даже один астролог.

— Тоже ученый?

— В своем роде, в своем роде.

Ронг в недоумении потер лоб.

— Все же я не понимаю, в чем будут состоять мои обязанности?

— Нужно приходить сюда к одиннадцати часам утра и находиться в своем кабинете четыре часа. Все это время вы должны думать, — неважно, о чем, лишь бы это имело какое-то отношение к вашей специальности. Чем смелее гипотезы, тем лучше.

— И это все?

— Все. Первое время вы будете получать три тысячи соли в месяц.

Ого! Это в три раза превышало оклад, который Ронг получал, работая в фирме.

— В дальнейшем ваша оплата будет автоматически повышаться в зависимости от количества идей, принятых машиной.

— Но ведь я экспериментатор.

— Великолепно! Вы можете ставить мысленные эксперименты.

— Откуда же я буду знать их результаты? Для этого нужны настоящие опыты.

— Это вам они нужны. Машина пользуется такими методами анализа, которые позволяют определить результат без проведения самого эксперимента.

— Но я хоть буду знать этот результат?

— Ни в коем случае. Машина не выдает никаких данных до полного окончания работы над Проблемой.

— И тогда?

— Не знаю. Это выходит за пределы моей компетенции. Вероятно, есть группа лиц, которая будет ознакомлена с результатами разработки Проблемы. Мне эти люди неизвестны.

Ронг задумался.

— Откровенно говоря, я в недоумении, — сказал он, — все это так необычно.

— Несомненно.

— И я сомневаюсь, чтобы из этого вообще что-нибудь вышло.

— Это уже не ваша забота, доктор Ронг. От вас требуются только идеи, повторяю, неважно какие, но достаточно смелые. Все остальное сделает машина. Помните, что, во-первых, вы не один, а во-вторых, сейчас ведутся только предварительные изыскания. Сама работа над Проблемой начнется несколько позже, когда будет накоплен достаточный материал.

— Последний вопрос,— спросил Ронг.— Могу ли я, находясь здесь, продолжать настоящую научную работу.

— Это нежелательно,— ответил, подумав, Латиани,— никакой систематической работы вы не должны делать. Одни предположения, так сказать, фрагменты. Впрочем, в дальнейшем вы сможете использовать их по своему усмотрению. Подписки с вас мы не берем.

— Ну, что ж,— вздохнул Ронг,— давайте попробуем, хотя я не знаю...

— Прекрасно! Пойдемте, я покажу ваш кабинет.

Гигантский спрут раскинул свои щупальца на площади в несколько сот квадратных метров. Розовая опалесцирующая жидкость пульсировала в прозрачных трубах, освещаемая светом мигающих ламп. Красные, фиолетовые, зеленые блики метались среди нагромождения причудливых аппаратов, вспыхивали на матовой поверхности экранов, тонули в хаотическом сплетении антенн и проводов.

Кибернетический Молох переваривал жертвоприношения своих подданных.

Латиани постучал кулаком по прозрачной стене, отгораживающей машинный зал:

— Крепче броневой стали. Неплохая защита от всяких случайностей, а?

Ронг молча кивнул головой, пораженный масштабами и фантастичностью этого сооружения.

По другую сторону были расположены многочисленные двери, обитые черной кожей. Латиани открыл одну из них.

— Вот ваш кабинет,— сказал он, укрепляя на двери картиночку с изображением ромашки.— Многие из наших сотрудников, по разным соображениям, не хотят афишировать свою работу у нас, да и мы в этом не заинтересованы. Придется вам ориентироваться по этой карточке. Вот—

ключ. Вход в чужие кабинеты категорически запрещен. Библиотека — в конце коридора. Итак, завтра в одиннадцать часов.

Ронг заглянул в дверь. Странная обстановка для научной работы. Небольшая комната, оклеенная розовыми обоями. Фонарь под потолком, украшенный изображениями драконов, освещает ее скупым светом. Окон нет. Вдоль стены — турецкий диван с множеством подушек. Над диваном укреплено непонятное сооружение, напоминающее формой корыто. Рядом — низкий столик, уставленный бутылками с яркими этикетками и коробочками с какими-то снадобьями. Даже письменного стола нет.

Латиани заметил недоумение Ронга.

— Не удивляйтесь, дорогой доктор. Скоро вы ко всему привыкнете. Это определяется спецификой нашей работы.

«...Думай, думай, думай! О чем думать? Все равно, о чем, только думай, тебе за это платят деньги. Выдвигай гипотезы, чем смелее, тем лучше. Ну, думай! Скотина Кирби! Если он посмеет опубликовать результаты без контрольной серии... не о том! Думай! О чем же думать? У, дьявол!»

Уже пять дней Ронг регулярно является на работу, и каждый раз повторяется одно и то же.

«Думай!»

Ему кажется, что даже под угрозой пытки он не способен выдавить из себя хоть какую-нибудь мыслишку.

«Думай!»

Махнув рукой, он встает с дивана и направляется в библиотеку.

На полках царит хаос. Книги по ядерной физике, биологии, математике валяются вперемешку с руководствами по хиромантии, описаниями телепатических опытов, пергаментными свитками на неизвестных Ронгу языках. На столе — большой фолиант в потертom переплете из свиной кожи: «Черная и белая магия».

«А, все равно, чем бессмысленнее, тем лучше!» — Сунув книгу под мышку, Ронг плетется в свой кабинет.

Лежа на диване, он лениво листает пожелтевшие страницы с кабалистическими знаками.

Занятно. Некоторые фигуры чем-то напоминают логические структурные обозначения.

«Кто знает, может быть, вся эта абракадабра есть попросту зашифровка каких-то логических понятий», — мелькает у него мысль.

В сооружении над диваном раздается громкое чавканье. Вспыхивает и гаснет зеленый сигнал. Похоже, что машине понравилась эта мысль.

«Сожрала?! Ну, думай дальше. О чем думать? Все равно, только думай!»

Ронг швыряет в угол книгу, наливает из бутылки, стоящей на столике, стакан темной ароматной жидкости и залпом опорожняет его.

«Думай!»

— Интересуетесь, как наша коровка пережевывает жвачку?

Ронг обернулся. Рядом с ним стоял обрюзгший человек в помятом костюме, с лицом, покрытым жесткой седой щетиной. Резкий запах винного перегара вместе с сиплым астматическим дыханием вырывался изо рта.

— Да, действительно, похоже.

— Только подумать, — собеседник Ронга стукнул кулаком по прозрачной перегородке, — только подумать, что я отдал пятнадцать лет жизни на создание этой скотины!

— Вы ее конструировали? — спросил Ронг.

— Ну, не я один, но все же многое из того, что вы здесь видите, дело рук Яна Дорика.

Ронгу было знакомо это имя. Блестящий кибернетик, некогда один из самых популярных людей в Дономаге. Его работы всегда были окутаны дымкой таинственности. Генерал Дорик возглавлял во время войны «Мозговой трест», объединяющий ученых самых разнообразных специальностей. Однако вот уже пять лет о нем ничего не было слышно.

Ронг с любопытством на него посмотрел.

— Значит, это вы составитель программы? — спросил он.

— Программы! — Лицо Дорика покрылось красными пятнами. — Черта с два! Я тут такой же кролик, как и вы. Никто из работающих здесь не имеет ни малейшего пред-

ставления о Проблеме. Они слишком осторожны для этого.

— Кто они?

— Те, кто нас нанимает.

— Латиани?

— Латиани — пешка, подставное лицо. Даже он, вероятно, не знает истинных хозяев.

— Почему же все держится в таком секрете?

Дорик пожал плечами.

— Очевидно, такова Проблема.

— А вы что тут делаете? — спросил Ронг.

— С сегодняшнего дня — ничего. Меня уволили... за недостаток воображения. Слишком бедная фантазия.

Дорик снова ударил кулаком по перегородке.

— Видите? Вот он — паразит, питающийся соками нашего мозга. Бесстрастная самодовольная скотина! Еще бы! Что значат такие муравьи, как мы, по сравнению с этой пакостью, спрятанной за прозрачную броню?! Ведь она к тому же бессмертна!

— Ну, знаете ли, — сказал Ронг, — каждая машина тоже...

— Смотрите! — Дорик ткнул пальцем. — Вы видите этих черепашек?

Ронг взглянул, куда показывала протянутая рука. Среди путаницы ламп, конденсаторов и сопротивлений двигались два небольших аппарата, похожих на танки.

— Вижу.

— Все схемы машины дублированы. Если в одной из них вышел из строя какой-нибудь элемент, автоматически включается запасная схема. После этого та черепашка, которая находится ближе к месту аварии, снимает дефектную деталь и заменяет ее новой, хранящейся в запасных кладовых, разбросанных по всей машине. Не правда ли, здорово?

— Занятно.

— Это мое изобретение, — самодовольно сказал Дорик, — абсолютная надежность всей системы. Ну, прощайте! Вам ведь нельзя со мной разговаривать, узнает Латиани, не оберетесь неприятностей. Только знаете что, — он понизил голос до шепота, — мой вам совет: сматывайте поскорее удочки. Ничем хорошим это не кончится, поверьте моему опыту.

Дорик вытащил из кармана клетчатый платок, громко высморкался и, махнув на прощанье рукой, зашагал к выходу.

«Не думай о Дорике, не думай о Кирби, не думай о Латиани, думай только о научных проблемах. Чем смелее предположения, тем лучше, думай, думай, думай, думай. Не думай о Дорике...»

Ронг взглянул на часы. Слава богу! Рабочий день окончен, можно идти домой.

Он был уже на полпути к выходу, когда одна из дверей резко распахнулась и в коридор, спотыкаясь, вышла молодая женщина.

— Нода?!

— А, Дан! Оказывается, и вы здесь?

— Что вы тут делаете? — спросил Ронг. — Разве ваша работа в университете?..

— Длинная история, Дан. Ноды Сторм больше нет. Есть эта... как ее... хризантема... математик на службе у машины... краса и гордость Проблемы. — Она криво усмехнулась.

Только сейчас Ронг обратил внимание на мертвенную бледность ее лица и неестественно расширенные зрачки.

— Что с вами, Нода?

— Ерунда! Это героин. Слишком много героина за последнюю неделю. Зато что я им сегодня выдала! Фантазмагория в шестимерном пространстве. Ух, даже голова кружится! — Пошатнувшись, она схватила Ронга за плечо.

— Пойдемте, — сказал он, беря ее под руку. — Я отвезу вас домой. Ведь вы совершенно больны.

— Я не хочу домой. Там... Послушайте, Дан, у вас бывают галлюцинации?

— Пока еще нет.

— А у меня бывают. Наверное, от героина.

— Вам нужно немедленно лечь в постель!

— Я не хочу в постель. Мне хочется есть. Я ведь три дня... Повезите меня куда-нибудь, где можно поесть. Только, чтобы там были люди и... эта... как называется?.. Ну, словом, музыка.

Нода, морщась, проглотила несколько ложек супа и отодвинула тарелку.

— Больше не могу. Послушайте, Дан, вы-то как туда попали?

— В общем, случайно. А вы давно?

— Давно. Уже больше шести месяцев.

— Но почему? Ведь ваше положение в университете...

— Ох, Дан! Все это началось очень давно, еще в студенческие годы. Вы помните наши вечеринки? Обычная щенячья бравада. Наркотики. Вот и втянулась. А они ведь все знают, вероятно, следили. Предложили работу. Платят отлично, героину — сколько угодно. Раньше не понимала, что там творится, а теперь, когда начала догадываться...

— Вы имеете в виду Проблему? Вам что-нибудь о ней известно?

— Очень мало, но ведь вы знаете, что я — аналитик. Когда у меня возникли кое-какие подозрения, я разработала систему определителей. Начала систематизировать все, что интересуется машину, и тогда...

Она закрыла лицо руками.

— Ух, Дан, как это все страшно! Самое ужасное, что мы с вами совершенно беспомощны. Ведь программа машины никому не известна, а тут еще вдобавок — добрая треть наркоманов и алкоголиков, работающих с ней, бывшие военные. Вы представляете себе, на что они способны?!

— Вы думаете, — спросил Ронг, — что Проблема имеет отношение к какому-то новому оружию? Но тогда почему они пригласили меня? Ведь я — биохимик.

Нода залилась истерическим смехом.

— Вы ребенок, Дан! Они ищут новые идеи главным образом в пограничных областях различных наук. Перетряхивают все, что когда-либо было известно человечеству с незапамятных времен. Сопоставляют и анализируют. — Она понизила голос. — Вы знаете, есть мнимости в геометрии. Никто никогда не думал об их физическом смысле. Однако, когда человек... ну, словом, героин... мало ли какой бред тогда лезет в голову. Так вот, все, что я тогда думала по этому поводу, машина сожрала без остатка. А разве вы не замечали, что лампочка над вашей головой часто вспыхивает при самых невероятных предположениях?

Ронг задумался.

— Пожалуй, да. Однажды, это было к концу рабочего дня, я был утомлен и плохо себя чувствовал, мне пришла в голову дикая мысль, что если бы кровь, кроме гемоглобина, содержала еще хлорофилл, то, при прозрачных кожных покровах, можно было бы осуществить газовый обмен в организме по замкнутому циклу.

— И что же?! — Нода вся подалась к Ронгу. — Как она на это реагировала?!

— Зачавкала, как свинья, жрущая похлебку.

— Вот видите! Я была уверена, что здесь должно быть что-то в этом роде!

— Не знаю, — задумчиво произнес Ронг, — все это очень странно, но я не думаю, чтобы какое-либо оружие могло быть создано на базе таких...

— Вероятно, это не оружие, — перебила Нода, — но если мои подозрения правильны, то эта кучка маньяков получит в свои руки такие средства порабощения, перед которыми самые мрачные страницы истории Дономаги покажутся ерундой. Не зря они не жалеют никаких денег и ни перед чем не останавливаются, чтобы заполучить в свои лапы нужных им ученых.

— Но что мы с вами можем сделать, Нода?

— Мне нужно еще два дня, чтобы закончить проверку моей гипотезы. Если все подтвердится, мы должны будем попытаться предать все огласке. Может быть, газеты...

— Кто нам поверит?

— Тогда мы должны будем уничтожить машину, — сказала она, вставая. — А теперь, Дан, отвезите меня домой. Мне нужно выспаться перед завтрашним поединком.

Прошло два дня. Ронгу больше не удавалось переговорить с Нодой. Дверь ее кабинета всегда была заперта изнутри. На стук никто не отзывался.

Ронг не мог отделаться от тревожных предчувствий. То, что подсознательно все время его тревожило, после разговора с Нодой приобрело характер уверенности. Сейчас он не сомневался, что если б за тайнственностью, которой была окружена Проблема, не скрывались зловещие замыслы ее хозяев, не было бы ни этих изолированных кабинетов с зашифрованными наименованиями их обитателей, ни стремления оградить машину от всякого воздействия извне.

Тщетно он поджидал Ноду у выхода. Очевидно, либо она не покидала кабинета, либо Латиани уже кое о чем пронюхал и успел принять контрмеры.

Было около трех часов дня, когда слух Ронга резанул пронзительный женский вопль.

Он выбежал в коридор и увидел двух верзил в белых халатах, волочивших Ноду. Ронг бросился к ним.

— Меня увозят, — крикнула Нода, — наверное, они... — ее слова потонули в огромной лапе, заткнувшей ей рот. Ронг схватил одного из стражей за воротник.

— Стукни его, Майк, — проревел тот, вертя шеей, — они все тут сумасшедшие!

Ронг почувствовал тупую боль в виске. Перед глазами вспыхнули разноцветные круги...

— Где Латиани?!

— Он уехал минут тридцать назад. Сегодня здесь больше не будет.

Ронг рванул дверь. Кабинет был пуст.

— Куда увезли Ноду Сторн?!

Лицо секретарши выразило изумление.

— Простите; доктор Ронг, но я не поняла...

— Бросьте прикидываться дурочкой! Я спрашиваю, куда увезли Ноду Сторн?!

— Право, я ничего не знаю. Может быть, господин Латиани....

Ронг погрозил ей кулаком.

— Подождите, я еще до вас доберусь!

Отпихнув ногой стул, он направился вниз.

Нужно было решать.

Не подлежало сомнению — Ноду убрали потому, что она достаточно близко подошла к решению загадки, составляющей тайну этой преступной шайки. Нет ничего проще, чем объявить сумасшедшей женщину, у которой нервная система расстроена постоянным употреблением наркотиков. Что бы Нода ни говорила, всегда можно квалифицировать это как бред. Ведь никаких доказательств она привести не может.

Откинувшись на диванные подушки, Ронг пытался привести в порядок мысли, мелькавшие в голове, все еще затуманенной от полученного удара.

Найти Ноду будет очень трудно. Вероятно, они ее поместят в одну из психиатрических лечебниц под вымышленным именем. Даже если это не так, то все равно медицинские учреждения подобного рода очень неохотно выдают справки о своих пациентах. Да и кто он такой, чтобы требовать у них сведения? Насколько ему было известно, родственников у нее нет. Можно обшарить всю Дономагу, так ничего и не добившись.

Но что делать, если Ноду не удастся найти?

Ведь пока что машина работает, и каждый день неуклонно приближает страшную развязку. О, черт! Если бы можно было проникнуть за эту прозрачную броню!

Ронг вспомнил двух черепашек, которых показывал ему Дорик. Даже если каким-то чудом вывести из строя машину, те ее сразу бы реставрировали. Ведь им достаточно получить сигнал... Стоп! Это, кажется, мысли!

От напряжения лоб Ронга покрылся каплями пота.

Полученный сигнал о неисправности какого-либо элемента заставляет черепаху идти к месту аварии и сменить негодную деталь запасной. А если было бы наоборот, отсутствие сигнала побуждало бы заменить годную деталь вышедшей из строя. Но как это сделать? Очевидно, где-то в схеме нужно переключить вход на выход. Изменить направление сигнала, и программа на самосохранение у машины превратится в манию самоубийства.

Внезапно наверху щелкнуло, вспыхнул зеленый сигнал.

«Ага! А ну, дальше! Как проникнуть за броню, чтобы переключить контакты? Это нужно сделать у обеих черепах. Ура! Молодчина, Ронг! Слава богу, что их две! Пусть переключат вводы друг у друга».

Многочисленные реле непрерывно щелкали над головой Ронга. Сигнал светился ярким зеленым светом. Машина явно заинтересовалась этой идеей. Однако еще нельзя было понять, сделает ли она из нее какие-либо практические выводы.

Ронг вышел в коридор. Черепашки прекратили свой бег и стояли, уставившись друг на друга красными глазами. С тяжело бьющимся сердцем Ронг приник к перегородке.

Прошло несколько минут, и вот одна из черепашек начала ощупывать другую тонкими паучьими лапками. Затем неувлочно быстрым движением откинула на ней крышку...

Теперь все сомнения исчезли. Обе черепашки вновь двигались вдоль машины, снимая многочисленные конденса-

торы и сопротивления. Судя по скорости, с какой они это проделывали, через несколько часов все будет кончено. Ронг усмехнулся. Больше ему здесь нечего было делать.

На следующее утро Ронг влетел в кабинет Латиани.

— А, доктор Ронг! — на губах Латиани появилась насмешливая улыбка. — Могу вас поздравить. С сегодняшнего дня ваш оклад увеличен на пятьсот соли. Эта идея насчет черепашек дала нам возможность значительно увеличить надежность машины. Просто удивительно, как мы раньше не предусмотрели возможность подобной диверсии.

Ронг схватил его за горло.

— Говорите, куда вы запрятали Ноду Сторн?!

— Спокойно, Ронг! — Латиани резким ударом отбросил его в кресло. — Никуда ваша Нода не денется. Недельку полечится от истерии и снова вернется к нам. Так уже было несколько раз. Ее-то мы с удовольствием возьмем назад, хотя предварительные изыскания уже закончены. Сегодня машина начнет выдавать продукцию — тысячу научно-фантастических рассказов в год. Мы в это дело вложили больше ста миллионов соли, а вы, осел эдакий, чуть было все нам не испортили. Хорошо, что автоматическая защита, предусмотренная Дориком, вовремя выключила ток. Нечего сказать, хорошего работника нам подсунул Кирби! А ведь он — один из главных акционеров нашей фирмы.

Александр Шалимов

КОНЦЕНТРАТОР ГРАВИТАЦИИ

Рассказ

— **Т**ы должен помочь мне, Стив,— сказал Джо.— Я окончательно сел на мель...

— Но твое последнее изобретение,— поднял брови Стив,— неужели опять...

— Да... Собственно, автомат в Контрольном бюро сначала высказался как-то неопределенно: идея оригинальна, в схеме есть элементы новизны, в целом требует углубленного анализа. Окончательный ответ получил сегодня. Вот...— Джо протянул приятелю кусок перфорированной алюминиевой фольги.

— Видишь? Предложено впервые в 1973 году. На практике не применялось... Слишком упрощало управление многими процессами. У парня была голова на плечах. Додуматься в те времена...

— А кто он? — поинтересовался Стив, лениво потягивая из бокала зеленоватую бодрящую жидкость, поданную белым автоматом.

Джо невесело усмехнулся.

— Кто теперь помнит имена? Тут указан номер патента США — 103 109 725. Историк, может, и раскопал бы под-

рности в каком-нибудь хранилище бумажных документов. Мне это ни к чему.

— Не везет тебе, Джо,— заметил Стив, снова поднося к губам бокал.

Друзья сидели за маленьким овальным столиком в самом углу большого низкого зала. Обеденный перерыв давно кончился. Кафе-автомат, расположенное на восьмом подземном этаже огромного здания концерна Голфорби, было почти пусто.

Джо поставил на столик пустой бокал. Бесшумно подкатил белый автомат. Приглашающе мигнул золотистым глазком. Джо отрицательно махнул рукой, отвернулся.

— Я плачу, Джо,— сказал Стив.

Он небрежно швырнул монету в серебристую раковину на груди автомата.

Послышался мелодичный звон, мягкий голос негромко произнес:

— Благодарю. Пейте на здоровье.

Перед Джо появился второй бокал, до краев наполненный зеленоватым напитком Голфорби, «легко усваиваемым, приятным на вкус, высококалорийным, питательным и тонизирующим», как беззвучно кричали световые надписи, бегущие по стенам зала.

Джо кивнул. Взял бокал. Пока он пил, Стив молча наблюдал за ним.

«Сдаст Джо,— думал Стив.— Глаза потускнели, лысеет и цвет лица нездоровый. Одет кое-как: свитер из самого дешевого синтетика. Носит его вторую неделю, а то и дольше. Чертовски талантливый парень, а неудачник...»

— Просто не знаю, что тебе посоветовать, Джо,— задумчиво сказал Стив, когда Джо покончил со вторым бокалом.— Нашему концерну инженеры не нужны. Поговаривают о новом сокращении. Обслуживающего персонала совсем не осталось — заменили автоматами... Разве агентом по продаже автоматов? Если хочешь, поговорю с мистером Голфорби-младшим.

— Нет,— решительно сказал Джо,— для этого не го-жусь. Я до краев начинен новыми проектами. Мне бы в конструкторскую группу... Или раздобыть денег и продолжить работы у себя в лаборатории. Я сейчас бьюсь над одной интересной штукой... Ты можешь одолжить мне еще денег, Стив?

— Пожалуй... Но того, что я в силах предложить, едва

ли хватит... Я работаю всего три часа в день и, сам понимаешь....

— В конструкторском бюро?

— Нет,— Стив смущенно кашлянул,— видишь ли, там платили гроши. Я владею несколькими языками. Мистер Голфорби-младший узнал об этом и предложил мне должность утреннего секретаря. По утрам мистер Голфорби занимается техническими вопросами, знакомится с проспектами фирм, проектами автоматов, запускаемых в серийное производство. Он в технике ни бельмеса не понимает. Ему нужен кто-то, чтобы не наделать глупостей... Хитрый старый крокодил. Эксплуатирует меня, как специалиста, а платит, как техническому секретарю. В час дня он кончает заниматься техникой. Автомат подает ему в кабинет завтрак, а я... мой рабочий день окончен.

— Как же шеф обходится без тебя после завтрака? — поинтересовался Джо.

— Вторую половину дня он занимается финансовыми делами, диктует письма. Тогда при нем неотлучно находится дневной секретарь — мисс Баркли. Впрочем, он собирается и ее заменить автоматом.

— Я мог бы спроектировать такой автомат,— заметил Джо.

— Он давно спроектирован, только мистер Голфорби все не может решить, какую придать ему внешнюю форму — девушки или особы постарше, и потом цвет волос, глаз и все прочее. Мистеру Голфорби не остается времени продумать детали.

— Неужели он один командует концерном?

— Фактически так получается, Джо. Мистер Голфорби-младший подозрителен и недоверчив. Все предпочитает решать сам. Изредка собирает совет директоров, но это только в крайних случаях. Новые крупные вложения в производство или что-нибудь подобное...

— Король автоматов,— с оттенком зависти и горечи заметил Джо.— Властелин тупой, абсолютный и всемогущий.

— Ну, последнее не совсем... — оглянувшись по сторонам, шепнул Стив.— Сейчас у мистера Голфорби со всемогуществом не совсем благополучно. Ты слышал о концерне Риджерса? Они тоже делают автоматы. Мистер Голфорби пытался договориться со стариком Риджерсом. Не вышло. Теперь они смертельные враги. Мистер Голфорби, кажется,

способен проглотить Риджерса, не жуя. Но этот Риджерс — крепкий орешек. И, главное, все дело только в нем самом. Вице-директора его концерна не прочь договориться с моим шефом, а Риджерс — ни в какую. Уверен, он еще доставит мистеру Голфорби немало хлопот...

Джо сжал пальцами лоб. Соображал что-то.

— Слушай, Стив,— сказал он наконец,— устрой мне небольшую аудиенцию у шефа в часы твоего утреннего дежурства.

— Зачем? — забеспокоился Стив.

— Хочу предложить ему... одну безделицу.

— Не примет. Вся техника идет через технический совет, главного конструктора, экспертов. Безнадежно, дружище. Я там бессилен.

— А ты постарайся, чтобы Голфорби принял меня... Ты ведь можешь это устроить. Остальное беру на себя.

— Выгонит он меня, Джо.

— Ручаюсь, что нет. А если мой проект удастся, двадцать пять процентов твои.

— Сколько это будет? — поинтересовался Стив.

— Ну, скажем, двести пятьдесят тысяч.

— О-о,— разочарованно протянул утренний секретарь мистера Голфорби-младшего.— О, Джо, этот «голфорби» ударил тебе в голову. Пойдем лучше...

— Подожди, Стив. Подумай, двести пятьдесят тысяч. После этого ты сам не захочешь оставаться утренним секретарем у мистера Голфорби. Ну, а если не выйдет, к тебе он не будет иметь претензий. Ты останешься на своем высоком посту утреннего секретаря, а я... Я пойду работать агентом по продаже автоматов.

— Но что сказать шефу, Джо? Как представить тебя?..

— Скажи что угодно. Лишь бы принял. И, разумеется, не вспоминай, что мы приятели. Убежден, он клонет на мое предложение. Тогда мы с тобой договоримся о дальнейшем. По рукам, Стив?

— Не знаю... не знаю. Боюсь остаться без места.

— Разумеется, боязливый не заработает четверть миллиона...

— Если думаешь воздействовать на его эмоциональные струны...

— Неужели ты считаешь меня окончательным болваном, Стив?

— Тогда объясни.

— Объясню... Но позже. Сначала устрой встречу. Не пожалеешь.

— Я может и рискнул бы, Джо, но...

— Но?

— Двадцать нять процентов — это маловато...

— Ты стал дельцом возле своего шефа, Стив. Сколько ты хочешь?

— Видишь ли... В случае неудачи я рискую местом, ты практически не рискуешь ничем. В крайнем случае он прикажет роботам вышвырнуть тебя на улицу. Справедливость требует, чтобы все было пополам. И риск и... все прочее...

— Это грабеж, Стив... Я... просто не ожидал. Ладно. Тридцать процентов, и ни пенса больше. Иначе пойду к Риджерсу.

— Ого, Риджерс! Там у тебя ничего не выйдет, дорогой. Не доберешься даже до утреннего секретаря... Впрочем, я готов немного уступить. Сорок процентов, Джо. Это мое последнее слово.

— Ты пользуешься моим безвыходным положением, мальчик. Тридцать пять, и кончим разговор.

— Нехорошо так торговаться со старым приятелем, Джо. Мы с тобой учились вместе. Впрочем, я всегда обладал мягким характером. Поэтому и не шагнул дальше утреннего секретаря. Тридцать семь процентов и звони завтра днем. Либо я скажу, когда мистер Голфорби-младший примет тебя, либо сообщу, в какие дыры теперь требуются агенты по продаже автоматов.

— Слушаю,— сказал мистер Голфорби-младший. В вашем распоряжении пять минут и ни секунды больше.

— Пусть этот выйдет,— Джо кивнул в сторону Стива.— Дело слишком серьезно, мистер... э-э... Голфорби.

Маленькие бесцветные глазки властелина всемирно известного концерна широко раскрылись. Мистер Голфорби-младший с нескрываемым любопытством посмотрел на Джо. Потом протянул пухлую руку, унизанную дорсгими перстнями, взял из массивного золотого бокала сигару, не спеша поднес к автоматической гильотинке. Обрезал. Закурил.

— Осталось четыре минуты,— бросил он, глядя исподлобья на Джо.

Джо заложил ногу за ногу и, не моргнув глазом, потянулся за сигарой.

Стив в ужасе зажмурился.

— Я тоже ценю свое время, сэр, — сказал Джо с оттенком легкого укора.

Он отгрыз кончик сигары, выплюнул его на пушистый ковер из дорогого синтетика и, взяв резким движением со стола зажигалку в форме статуэтки Гомера, прикурил от лысины поэта.

— Три минуты, — заметил мистер Голфорби не очень уверенно.

— Речь пойдет о концентраторе гравитации, — процедил сквозь зубы Джо. — Надеюсь, вы понимаете, что это значит?.. — Он глубоко затаился и выпустил струю дыма к самому потолку кабинета.

Мистер Голфорби-младший заерзал в кресле. Глянув в сторону своего секретаря, он прочитал на его лице неподдельный ужас и решил.

— Оставьте нас вдвоем на... несколько минут, — сказал мистер Голфорби с такой миной, словно проглотил живую осу и она еще жужжит где-то за языком.

Стив вышел пошатываясь. Дверь кабинета автоматически закрылась за его спиной.

Прошло десять минут, пятнадцать, двадцать... Телеэкран над дверью оставался темным.

Наконец Стив не выдержал. Он нажал кнопку и дрожащим голосом сказал в микрофон:

— Простите, шеф, я еще не нужен вам?..

— Вы можете войти, — послышался в ответ голос мистера Голфорби. По тону, каким были сказаны эти слова, Стив понял — шеф сильно взволнован.

—...Теперь вы понимаете, почему я настаивал на разговоре без свидетелей, — услышал Стив голос Джо, когда дверь кабинета бесшумно скользнула в сторону.

Джо стоял посреди кабинета, покачиваясь на носках. Мистер Голфорби, подперев ладонями подбородок, сосредоточенно жевал потухшую сигару.

— На какое расстояние действует ваша модель? — спросил он, не глядя на Джо.

— Десять-пятнадцать метров в случае предельной концентрации поля. При увеличении мощности излучателя дальность соответственно возрастает. Но тут надо соблюдать осторожность. Это самое страшное оружие, когда-

либо создававшееся на Земле. Расчеты показывают, что излучатель диаметром около трех метров без труда деформирует, иными словами, уничтожит планету средней величины.

— Такой мне пока не нужен,— заметил мистер Голфорби.— Сколько хотите получить за вашу игрушку?

— Сейчас это бесполезный разговор,— возразил Джо.— Мы продолжим его, когда увидите концентратор в действии. Разумеется, дешево не отдам... На испытание можете пригласить любого эксперта или доверенное лицо. Но только одного. Я не хочу, чтобы тайна разошлась. Думаю продолжить работу над прибором. Вам предлагаю не патент, а действующую модель в одном экземпляре. Почему выбрал именно вас? Потому что вы, вероятнее всего, не используете концентратор во вред человечеству. Если прибор попадет в руки маньяка или гангстера, трудно предвидеть последствия. Вы поняли меня?

— Если я куплю его у вас, я использую его так, как сочту нужным,— сказал мистер Голфорби-младший и засопел.

— Разумеется, сэр,— вежливо согласился Джо.— Но производить другие концентраторы вы не будете.

— И этого не обещаю,— объявил Голфорби и засопел еще громче.

— А мне и не нужны обещания,— сказал Джо.— Это я сам знаю. Чтобы создать второй концентратор по моей модели, вам надо иметь среди ваших инженеров по крайней мере второго Джонатана Диппа, то есть меня. Мое почтение, сэр.

— Позвольте,— повысил голос мистер Голфорби.— А когда?..

— Когда вам будет угодно. Прибор готов и находится в безопасном месте.

— Но где?

— Безразлично... Можно здесь...— Джо критически огляделся по сторонам.— Жаль, конечно, обстановку. При испытании кое-что неминуемо будет испорчено... Может, где-нибудь за городом, в укромном месте?

— Тогда завтра... Вы могли бы завтра? — мистер Голфорби испытующе глянул на Джо:

«Впервые слышу, что он спрашивает, а не приказывает,— подумал Стив.— Джо, кажется, действительно гений!»

— Завтра мне не очень удобно, — холодно сказал Джо. — Но... в конце концов, могу выкроить час-полтора. Согласен...

— Мой секретарь заедет за вами утром, мистер Дипп. Оставьте ему ваш адрес. Концентратор испытаем на моей загородной вилле. Третьим будет... — мистер Голфорби на мгновение задумался, — третьим будет мой секретарь. Вот этот... Кстати, он инженер и кое-что понимает в физической сути всех этих штук. Я возьму игрушку, если все будет... так, как вы рассказывали.

— Но объясни же, наконец, Джо, — настаивал Стив, шагая рядом с приятелем вдоль зеленой аллеи, все деревья которой были подстрижены в виде геометрически правильных пирамид, кубов и эллипсов. — Объясни, что ты задумал. Я не могу играть вслепую. А ты темнишь.

— Лучше, если для тебя это будет неожиданностью, — холодно отрезал Джо. — Твой ужас и изумление лучше всего убедят твоего шефа. Потерпи. Ты утренний секретарь, не более. Сыграй роль до конца и получишь свои тридцать семь процентов. Кстати, где нас будет ждать твой крокодил?

— На большой лужайке вон за тем прудом. Ровно в одиннадцать тридцать он прилетит туда на винтокрыле. Он не любит терять времени в скоростных наземных машинах. Но имей в виду, ты ведешь себя нечестно и это может кончиться плохо. Если бы я знал, в чем дело, я мог бы помочь, сказать что-то в удобный момент, а так...

— Все будет в порядке, старина. Ты уже сделал главную часть своей работы. Свел меня с шефом. Остальное предоставь мне.

Когда Стив и Джо достигли лужайки, над их головами послышался негромкий шелест, и серебристая кабина, спланировав почти отвесно, коснулась амортизаторами зеленой коротко подстриженной травы. Колыхнувшись раз и другой, винтокрыл замер неподвижно. Прозрачная стенка кабины скользнула в сторону, и мистер Голфорби ступил на землю.

Стив поспешно поклонился. Мистер Голфорби кивнул и, подойдя к Джо, милостиво протянул руку.

Джо небрежно пожал ее.

— Машинка при вас? — осведомился мистер Голфорби.

— Вы имеете в виду концентратор, сэр?

— Разумеется, не автомат для продажи газированной воды.

— Концентратор здесь.

Мистер Голфорби огляделся.

— Но я не вижу...

— Вот он, сэр.

Джо разжал руку. На ладони у него лежал маленький блестящий параллелепипед, похожий на зажигалку.

— И это все?

— А вы полагали, что он величиной с межпланетный корабль? Тогда я не предлагал бы его вам.

— Но...

— Никаких «но», сэр. Приступим к испытаниям?

— Предупреждаю, что если вы вздумаете дурачить меня...

— Сэр!

— ...я заставлю вас пожалеть об этом,— закончил мистер Голфорби, побагровев.

— На чем вы хотите испытать его действие?

— На чем угодно.

— Вам не жаль этого прекрасного старого дуба? — Джо небрежно указал на огромное раскидистое дерево с густой темно-зеленой кроной, стоящее метрах в десяти на краю поляны.

— Этому дубу триста пятьдесят лет,— сказал мистер Голфорби.— Его ствол около трех метров в обхвате.

— Поэтому я и спрашиваю: не жаль вам его?

— Неужели вы рассчитываете вашим спичечным коробком...

— Кажется, мы тратим впустую драгоценное время,— с легким раздражением заметил Джо.— Потрудитесь объяснить, сэр, что вам угодно от меня.

— Я хочу испытать ваш... прибор.

— И я хочу только этого, сэр. Этот, как вы изволили выразиться, «спичечный коробок» заключает в себе чудовищную силу. Видите, здесь небольшое отверстие? Это излучатель направленного гравитационного поля. Он излучает гравитоны, сэр... гравитоны... Самые мельчайшие, всепроникающие и... всеильные частицы Вселенной. Поток гравитонов, как я уже имел удовольствие вам рассказывать, деформирует естественное поле тяжести Земли. Вы представляете, сэр, что при этом получается?

— М-да,— сказал мистер Голфорби,— но я...

— Минутку, сэр. Недостаток этого прибора в том, что он очень мал. Поток гравитонов быстро рассеивается в пространстве. Практически в двадцати метрах от прибора деформация поля тяжести почти неощутима. Разумеется, ее можно фиксировать точными приборами, но так... ничего не заметно...

— Позвольте,— начал мистер Голфорби.

— Это на двадцати метрах, сэр,— продолжал Джо, а в радиусе десяти метров от прибора деформация поля тяжести без труда сбросит под откос стремительно мчащийся поезд, обрушит стену дома или переломит, как спичку, вот этот дуб. И никто не догадается, что было причиной катастрофы.

«Какая сволочь! — подумал Стив.— Аферист! Так подвести... Называется, друг!»

Джо словно понял мысли Стива и обернулся к нему.

— В радиусе двух-трех метров, сэр,— продолжал Джо, обращаясь к мистеру Голфорби,— совсем небольшая доза направленного излучения гравитонов приведет к мгновенному инфаркту со смертельным исходом или к кровоизлиянию в мозг того... лица, которое попадет в поле излучения. Не угодно ли вам посмотреть сюда. Видите шкалу? Стрелка стоит на нуле. Я направляю излучатель на... ну, хотя бы на него,— Джо указал на Стива, стоящего в трех шагах.— Что вы чувствуете сейчас, мистер, мистер...

— Принкс,— подсказал мистер Голфорби.

— Что вы чувствуете сейчас, мистер Принкс?

— Ничего,— сказал сквозь зубы Стив, чувствуя, что кровь приливает к лицу.

— Превосходно. Ничего. Посмотрите, сэр. Ничего, потому что стрелка прибора пока на нуле. Но вот я поворачиваю регулятор. Это можно делать незаметно, большим пальцем, держа прибор зажатым в ладони или даже в кармане. Ткань вашего пиджака просто прижмет к раструбу излучателя и ей ровно ничего не сделается. Итак, я направляю излучатель на вашего служащего и начинаю осторожно поворачивать регулятор. Вы ничего не услышите, сэр. Прибор работает абсолютно бесшумно. Ну, а теперь что вы чувствуете, мистер... мистер Хрипс?

— Ничего,— насмешливо начал Стив и вдруг понял, что с ним что-то происходит... Все окружающее начало вра-

шаться сначала медленно, потом быстрее и быстрее. Тяжесть навалилась на грудь, и Стив почувствовал, что задыхается. Он хотел закричать, но из горла вырвался только хрип. Стив отчаянно замахал руками и вдруг увидел, что земля поворачивается боком и стремительно надвигается на него.

Джо не дал ему упасть. Он подхватил Стива под руку, несколько раз встряхнул за воротник пиджака и заставил удержаться на ногах. Ошеломленный Стив шатался, как пьяный, и бормотал что-то совершенно бессмысленное.

— Вы видели, сэр,— снова обратился Джо к мистеру Голфорби.— Стрелка отошла всего на половину деления. Если бы она отошла чуть больше, мистера Бриса можно было бы класть на катафалк и везти в крематорий. И ни один врач не объяснил бы его кончины иначе, чем разрывом сердца. Вульгарным разрывом сердца, сэр, при полном отсутствии каких-либо иных травм.

— М-да,— сказал мистер Голфорби, недоверчиво поглядывая то на гравитатор, то на секретаря, который все еще не мог опомниться.

— Может быть, вы желаете испытать на себе, сэр? — ласково спросил Джо.— Совсем чуть-чуть! На четверть деления?

— М-да,— повторил в нерешительности мистер Голфорби... Нет-нет,— тотчас же завопил он, заметив, что Джо направляет на него отверстие гравитатора.— Нет, черт побери, я говорю... На живом индивидууме достаточно. Он потом мне расскажет,— мистер Голфорби кивнул на Стива и отер дрожащей рукой лицо.

— Тогда, может быть, попробуем на этом дубе?

— Можно,— сказал мистер Голфорби,— но только я попрошу: совсем не ломайте, в крайнем случае, несколько веток, а лучше пригните к земле.

— Пожалуйста,— холодно сказал Джо и направил раструб гравитатора на огромное дерево.— Подойдите ближе, сэр,— обратился он к мистеру Голфорби,— и следите за стрелкой, чтобы знать, как дозировать. Иначе потом могут быть неприятности.

Мистер Голфорби приблизил мясистый нос к самой ладони Джо и время от времени бросал подозрительные взгляды поверх очков на стоящее в десятке метров дерево.

Стив уже несколько пришел в себя после произведенного над ним эксперимента. Он тоже с любопытством уставился

на дуб, ожидая, что произойдет. Но ничего не произошло. Даже и тогда, когда в глазах мистера Голфорби появилось нечто похожее на ужас, дуб продолжал стоять, как стоял до этого.

— Пожалуй, довольно,— сказал наконец Джо.

— Довольно,— согласился мистер Голфорби и стал растерянно протирать очки.— Но... он распрямится?

— Он уже распрямляется, сэр,— небрежно сказал Джо.— Ведь стрелка отклонилась всего на два деления.

Стив глядел вокруг и ничего не понимал. Что распрямляется? Или все это последствия эксперимента?.. Стив еще испытывал небольшое головокружение и его слегка поташнивало, как после морской прогулки.

— Я беру вашу игрушку,— сказал мистер Голфорби и вздохнул.— Потрудитесь назвать цену.

— Вот она,— Джо протянул маленькую карточку, на которой стояла единица со многими нулями.

Мистер Голфорби взглянул на карточку, потом на Джо, потом опять на карточку и ошеломленно заморгал глазами.

— Вы сошли с ума,— с трудом выдавил он наконец.

Джо хладнокровно сунул в карман блестящую коробочку концентратора, пожал плечами.

— Кажется, я напрасно терял время,— заметил он, ни к кому не обращаясь.

Он повернулся, чтобы идти, через плечо бросил мистеру Голфорби:

— По-видимому, наше знакомство кончается, сэр. Но предупреждаю, об этой штуке никому ни слова,— Джо похлопал по карману.— Иначе...

— Но это, это...— начал, задыхаясь от ярости, мистер Голфорби.

— Это единственный во вселенной экземпляр, сэр. И обладатель его на пороге... власти над миром...

— Миллион долларов,— стонал мистер Голфорби.— Это грабеж... Миллион за какую-то... зажигалку...

Джо, уже отошедший на несколько шагов, снова обернулся:

— Вы наивны, сэр. Я требую миллион только потому, что именно столько мне сейчас необходимо. Если бы мне потребовалась большая сумма, я назвал бы ее. Я создал этот прибор и вправе требовать за него любую цену. Ведь мы живем в свободном мире, сэр. Разумеется, сам по себе

этот прибор стоит недорого; миллион — цена моего открытия. И уверяю вас, оно стоит гораздо дороже. Любой гангстерский синдикат...

— Пятьсот... тысяч, — сказал мистер Голфорби не очень уверенно.

— Мое почтение, сэр.

— Восемьсот... восемьсот тысяч; да вернитесь вы, черт вас побери!

Дрожащими пальцами мистер Голфорби выписал несколько чеков. Джо небрежно сунул их в карман и протянул финансисту концентратор.

— Осторожнее с ним, сэр, — предупредил Джо. — И не экспериментируйте слишком часто на людях. Иначе догадуются, что вы... источник разрушения...

— Не учите меня, — грубо отрезал мистер Голфорби. — Я получил прибор, вы — деньги. Надеюсь, больше мы с вами не встретимся!

— Даже если я сконструирую еще более мощный концентратор, сэр?

Мистер Голфорби смерил Джо уничтожающим взглядом и, не удостоив ответом, пошел к винтокрылу. Уже садясь в кабину, он сделал знак Стиву следовать за ним.

Утренний секретарь, спотыкаясь, поплелся к машине.

На следующий день Джо разбудил резкий звонок видеофона. Джо поднял голову с подушки и включил экран. На экране появилось лицо Стива. Утренний секретарь был бледен, в широко раскрытых глазах застыл испуг.

— Нам надо немедленно увидаться, — сказал Стив, с трудом шевеля перекошенными губами. — Немедленно!

— Что-нибудь случилось?

— Поговорим при встрече.

— Приезжай!

— Не могу. Встретимся в кафе у моста. Жду через десять минут.

— Что за спешка?

— Приезжай немедленно. Случилось ужасное.

Экран погас.

Через четверть часа Джо входил в кафе на набережной Гудзона. Стив сидел за отдельным столиком у открытого настежь окна.

— Ну? — сказал Джо вместо приветствия.

— Мистер Голфорби... умер.

— А,—сказал Джо, садясь на свободный стул.— Стоило ради этого будить меня.

— Час назад опечатали его кабинет и сейфы; банки концерна прекратили все операции.

— Я вчера реализовал чеки... Деньги переведены в Мехико.

— Нам надо немедленно бежать, Джо.

— Почему?

— Потому что... его нашли сегодня утром в кабинете. Разрыв сердца... Его врач констатировал разрыв сердца. Но...

— Но?..

— Возле лежал этот страшный прибор. Твой гравитатор, Джо.

— Ну и что?

— Как что? Неужели не понятно? Он был включен. Стрелка показывала максимальный отсчет. Я сам видел. Джо улыбнулся.

— Это невозможно, мой мальчик. Там есть пружина. Если отпустить регулятор, стрелка обязательно возвратится на ноль. Обязательно...

— Но я сам видел. Эта адская машина лежала на столе возле его головы и стрелка показывала максимальный отсчет. Я сам видел, Джо. Я не рискнул ее коснуться, а теперь уже поздно. Полиция все опечатала. Может быть, твой гравитатор уже в полиции...

— Концентратор, Стив!

— Разве в этом дело! Вчера нас видел пилот винтокрыла. Он наблюдал все эти чертовские фокусы со мной, с дубом...

— Там был робот, Стив.

— Тем хуже. Полиция проанализирует запись его электронной памяти и все станет ясно. Мы погибли, Джо!

— Кажется, ты сказал, что мистер Голфорби умер от разрыва сердца.

— Именно! И в этом трагедия для нас с тобой.

— Хорошо, что я успел вчера реализовать чеки,— задумчиво сказал Джо.— Впрочем, я не думал, что этот Голфорби окажется таким ослом. Просто я опасался финансового краха.

— Финансового краха, Джо? Чей крах ты имеешь в виду?

— Твоего покойного патрона. И я, конечно, не ошибся. Именно поэтому опечатаны сейфы и прекращены операции в банках.

— Невозможно, Джо...

— Ты был утренним секретарем, а финансовыми делами мистер Голфорби занимался после полудня с этой, как *ее*...

— Мисс Баркли.

— Именно. Ты не был в курсе всего.

— А как узнал ты?

— Наивный вопрос. Я разговаривал с ним почти четверть часа с глазу на глаз. В кармане моей куртки был электронный анализатор биотоков. Знаешь эту машину, которой пользуются все следователи по уголовным делам? Только в полиции она размером с книжный шкаф, а мне удалось сконструировать портативную, не больше портсигара. Вот она, здесь,— Джо похлопал себя по боковому карману.— Вернувшись домой, я расшифровал запись анализатора. Мне удалось точно установить три вещи: первое, что твой шеф был глуп и ни черта не понимал в технике, второе, он опасался финансового краха и третье, что он рассчитывал использовать мой прибор, чтобы уничтожить какого-то человека. Сопоставив эти данные с тем, что я узнал от тебя, нетрудно было догадаться: он хотел убрать Риджерса и путем объединения фирм попрачить дела своего концерна. В наше время убрать такого человека, как Риджерс, задача нелегкая. Ведь у Риджерса своя полиция. А тут подвернулся мой «концентратор гравитации». Стопроцентная гарантия безопасности, причем все можно выполнить самому... Не надо никого нанимать.

— Но теперь все узнают, Джо. Твой прибор в полиции. Надо бежать...

Джо махнул рукой и зевнул.

— Они обратятся к своим экспертам,— продолжал Стив.— Те без труда выяснят, что явилось причиной смерти мистера Голфорби.

— Разрыв сердца.

— Твой гравитатор, Джо. Я же говорил. Стрелка показывала максимальный отсчет.

— Черт побери,— сказал Джо.— Я поставил хорошую пружину от моих старых часов. Как этот тюлень ухитрился сломать *ее*?

— Какую пружину, Джо?

— Там, в «концентраторе». Раз стрелка показывала максимальный отсчет, значит, он сломал пружину. Поэтому стрелка отскочила и осталась в таком положении.

— Значит, все пропало, Джо. Для нас уже нет выхода?

Стив всхлипнул. Джо с сожалением взглянул на него.

— Ты бывал на сеансах в «Стране приключений»? — спросил Джо, помолчав.

— Давно... Когда учился в школе... Но почему ты вспомнил?

— Помнишь, как там было? Садись в мягкое кресло и сидишь неподвижно полчаса, а тебе кажется, что плывешь по бурному морю, охотишься на вымерших зверей, на... этих, как их...

— Ихтиозавров?

— На медведей, Стив. Или на тигров... Тигр бросается на тебя, подминает, душит. Ты освобождаешься, убиваешь его и так далее.

— Помню, это было очень здорово. Совсем как по-настоящему.

— Ну, вот. А все дело в цветном объемном экране перед глазами и в датчике биотоков, который смонтирован за экраном.

— Это давно вышло из моды, Джо.

— Конечно. Теперь придумали развлечения похитрее. Залы «Страны приключений» сохранились только в глухой провинции.

— Почему ты вспомнил о них, Джо?

— Потому что в металлической коробочке, которую я продал твоему покойному патрону за миллион долларов, был лишь портативный датчик направленных биотоков с ограниченной программой эмоционального воздействия. Наверное, мистер Голфорби никогда не бывал в детстве на сеансах «Страны приключений», а если и бывал, давно позабыл о них. Кроме того, таких портативных датчиков раньше никто не умел делать...

Стив ошеломленно открыл рот и молчал.

— Боже мой, — сказал он наконец. — Боже мой, но это мошенничество чистой воды; как ты решился, Джо?

— У меня не было иного выхода. Мне надо закончить работу над своим новым изобретением. Это необыкновенное изобретение...

— Счастье еще, что мы не виноваты в его смерти, Джо, — продолжал Стив. — Как истинный христианин, я...

— Я вынужден разочаровать тебя как истинного христианина, Стив,— сказал Джо.— По-видимому, мы все-таки виноваты в его смерти. Все дело в этой негодной часовой пружине. Он, вероятно, хотел испробовать действие прибора на себе. Чуть-чуть... Нажал регулятор, пружина сломалась, стрелка отскочила и он умер от испуга, Стив. У него, конечно, было плохое сердце...

— Ужасно,— сказал Стив.— Это ужасно, Джо... Но ведь они ничего не узнают, правда?

— Не волнуйся, Стив. Береги сердце...

— И ты заплатишь мне мою долю? Я ведь теперь окажусь без места.

— Ты получишь свою долю сполна,— великодушно сказал Джо.— А что ты сделаешь со своими деньгами, Стив?

— Я куплю коттедж на западном побережье, женюсь и буду разводить цветы. Пожалуй, мы с женой откроем магазин цветов. Я всю жизнь мечтал о цветах, Джо. А ты, что думаешь делать ты?..

— Я продолжу работу над своим изобретением. Теперь, когда у меня есть деньги и я смогу приобрести необходимое оборудование — о, я сконструирую потрясающую вещь!.. Ты еще услышишь обо мне, дружище.

— Ты талантлив, Джо,— задумчиво произнес Стив.— Очень талантлив, очень. Придумать такое... Скажи, пожалуйста,— Стив покраснел,— а когда ты разговаривал со мной, у тебя в кармане... тоже был этот... анализатор биотоков?

— Был,— Джо отвернулся и стал глядеть в открытое окно,— но я никогда не пытался анализировать твои биотоки, Стив. Мы ведь старые приятели, не так ли?..

— Все-таки мы очень рисковали, Джо, очень,— сказал Стив.— Все висело на волоске. Что если бы он тогда захотел сломать дерево или обрушить какую-нибудь стену? Что тогда?

— Я бы сломал,— просто сказал Джо.

— Что ты говоришь! Как?

— А вот так...

Джо выглянул в окно. Площадь перед кафе и тенистый бульвар на противоположной стороне были пустынными. Лишь на одной из скамеек сидела пожилая дама в клетчатой накидке и читала газету. Джо вынул из кармана маленький блестящий параллелепипед размером в зажигал-

ку, направил его в открытое окно и повернул пальцем диск на плоской стороне параллелепипеда.

Чудовищной силы шквал пронесся по вершинам деревьев. Ствол ближайшего дерева переломился, как спичка... Тяжелая зеленая крона рухнула на залитый солнцем бетон, обрывая протянутые над площадью провода.

— Ну, пока, Стив,— сказал Джо, вставая.— Мне пора. Встретимся в Мехико через три дня...

— Иллюзия полная,— восхищенно объявил Стив.— Как будто все на самом деле...

— Это уменьшенная модель,— сказал Джо, уже стоя в дверях.— Теперь я сконструирую более мощную.

Джо помахал рукой и вышел из кафе.

Стив снова посмотрел в окно. Сломанное дерево лежало на бетонных плитах площади, а вокруг, размахивая газетой, металась пожилая дама в клетчатой накидке.

— Долго действует,— сказал про себя Стив и прикрыл глаза ладонью.

Послышались свистки полицейских. Из-за стойки выкатился робот-официант и уставился немигающими красными глазами-точками в открытое окно. Потом подошел бармен в белом костюме и тоже стал смотреть на площадь.

— Что-нибудь случилось? — спросил Стив, не отнимая ладони от глаз.

— Разве не видите?— сказал бармен.— Молния ударила в дерево.

— И повалила его,— мелодично добавил робот-официант.— Редкое явление природы, сэр, принимая во внимание безоблачную солнечную погоду и показания барометра.

Стив встал и, пошатываясь, пошел к выходу.

— Он заплатил? — спросил бармен у робота.

— Он ничего не заказывал, шеф.

— Успел нализаться перед тем, как пришел сюда,— покачал головой бармен.

Стив вышел на площадь. Возле сломанного дерева уже стояли полицейские машины и пожилая дама что-то объясняла сержанту, прижимая газету к клетчатой накидке.



Ллойд Биггл-младший

МУЗЫКОДЕЛ

Рассказ

Все называют это Центром. Есть и другое название. Оно употребляется в официальных документах, его можно найти в энциклопедии — но им никто не пользуется. От Бомбея до Лимы знают просто Центр. Вы можете вынырнуть из клубящихся туманов Венеры, протолкаться к стойке и начать: «Когда я был в Центре...» — и каждый, кто услышит, внимательно прислушается. Можете упомянуть о Центре где-нибудь в Лондоне, или в марсианской пустыне, или на одинокой станции на Плутоне — и вас наверняка поймут.

Никто никогда не объясняет, что такое Центр. Это невозможно, да и не нужно. Все, от грудного младенца и до столетнего старика, заканчивающего свой жизненный путь, — все побывали там и собираются поехать снова через год, и

еще через год. Это страна отпусков и каникул для всей Солнечной системы. Это многие квадратные мили американского Среднего Востока, преобразованные искусной планировкой, неустанным трудом и невероятными расходами. Это памятник культурных достижений человечества, возник он внезапно, необъяснимо, словно феникс, в конце двадцать четвертого столетия из истлевшего пепла распавшейся культуры.

Центр грандиозен, эффектен и великолепен. Он вдохновляет, учит и развлекает. Он внушает благоговение, он подавляет, он... все, что угодно.

И хотя лишь немногие из его посетителей знают об этом или придают этому значение — в нем обитает привидение.

Вы стоите на видовой галерее огромного памятника Баху. Далеко влево, на склоне холма, вы видите взволнованных зрителей, заполнивших Греческий Театр Аристофана. Солнечный свет играет на их ярких разноцветных одеждах. Они поглощены представлением, счастливые очевидцы того, что миллионы смотрят только по видеоскопу.

За театром, мимо памятника Данте и института Микеланджело, тянется вдаль обсаженный деревьями бульвар Фрэнка Ллойда Райта. Двойная башня — копия Реймского собора — возвышается на горизонте. Под ней вы видите искусный ландшафт французского парка XVIII века, а рядом — Мольеровский театр.

Чья-то рука вцепляется в ваш рукав, вы раздраженно оборачиваетесь — и оказываетесь лицом к лицу с каким-то стариком. Его лицо все в шрамах и морщинах, на голове — остатки седых волос. Его скрюченная рука напоминает клешню. Вглядевшись, вы видите кривое, искаленное плечо, ужасный шрам на месте уха — и испуганно пятитесь.

Взгляд запавших глаз следует за вами. Рука простирается в величавом жесте, который охватывает все вокруг до самого далекого горизонта, и вы замечаете, что многих пальцев не хватает, а оставшиеся изуродованы. Раздается хриплый голос:

— Нравится? — спрашивает он и выжидающе смотрит на вас.

Вздвигнув, вы говорите:

— Да, конечно.

Он делает шаг вперед, и в глазах его светится нетерпеливая мольба:

— Я говорю, нравится вам это?

В замешательстве вы можете только торопливо кивнуть, спеша уйти. Но в ответ на ваш кивок неожиданно появляется детская радостная улыбка, звучит скрипучий смех и торжествующий крик:

— Это я сделал! Я сделал все это!

Или стоите вы на блистательном проспекте Платона между Вагнеровским театром, где ежедневно без перерывов исполняют целиком «Кольцо Нибелунгов», и копией театра «Глобус» XVI века, где утром, днем и вечером идут представления шекспировской драмы.

В вас вцепляется рука.

— Нравится?

Если вы отвечаете восторженными похвалами, старик нетерпеливо смотрит на вас и только ждет, когда вы кончите, чтобы спросить снова:

— Я говорю, нравится вам это?

И когда вы, улыбаясь, киваете головой, старик, сияя от гордости, делает величавый жест и кричит:

— Это я сделал!

В коридоре любого из тысячи обширных отелей; в читальном зале замечательной библиотеки, где вам бесплатно сделают копию любой книги, которую вы потребуете; на одиннадцатом ярусе зала Бетховена — везде к вам, прихрамывая и волоча ноги, подходит привидение, вцепляется вам в руку и задает все тот же вопрос.

А потом восклицает с гордостью:

— Это я сделал!

Эрлин Бак почувствовал за спиной ее присутствие, но не обернулся. Он наклонился вперед, извлекая левой рукой из мультикорда рокочущие басовые звуки, пальцами правой — торжественную мелодию. Молниеносным движением он дотронулся до одной из клавиш, и высокие дискантовые ноты внезапно стали полными, звучными, почти как звуки кларнета. («Но, господи, как не похоже на кларнет!» — подумал он).

— Опять начинается, Вэл? — спросил он.

— Утром приходил хозяин дома.

Эрлин поколебался, тронул клавишу, потом еще не-

сколько клавиш, и гулкие звуки сплелись в причудливую гармонию духового оркестра. (Но какой слабый, непохожий на себя оркестр!)

— Какой срок он дает на этот раз?

— Два дня. И синтезатор пищи опять сломался.

— Вот и хорошо. Сбегай, купи свежего мяса.

— На что?

Он стукнул кулаками по клавиатуре и закричал, перекрывая своим голосом резкий диссонанс:

— Не буду я пользоваться гармонизатором! Не дам я поденщикам себя аранжировать! Если коммерс выходит под моим именем, он должен быть сочинен. Он может быть идиотским, тошнотворным, но он будет сделан хорошо. Видит бог, это немного, но это все, что у меня осталось!

Он медленно повернулся и посмотрел на нее — бледную, увядающую, измученную женщину, которая двадцать пять лет была его женой. Затем снова отвернулся, упрямо говоря себе, что виноват не больше, чем она. Раз заказчики реклам платят за хорошие коммерсы столько же, сколько за поденщину...

— Халси придет сегодня? — спросила она.

— Сказал, что придет.

— Достать бы денег заплатить за квартиру...

— И за синтезатор пищи. И за новый видеоскоп. И за новую одежду. Есть же предел тому, что можно купить ценой одного коммерса!

Он услышал, как она уходит, как открывается дверь, и ждал. Дверь не затворялась.

— Уолтер-Уолтер звонил, — сказала она. — Сегодняшнее ревью он посвящает тебе.

— Ах, вот как? Но ведь это бесплатно.

— Я так и думала, что ты не захочешь смотреть, поэтому договорилась с миссис Ренник, пойду с ней.

— Конечно. Развлекись.

Дверь затворилась.

Бак поднялся и поглядел на свой рабочий стол. На нем в хаотическом беспорядке валялись нотная бумага, тексты коммерсов, карандаши, наброски, наполовину законченные рукописи. Их неопрятные кипы угрожали сползти на пол. Бак расчистил уголок и устало присел, вытянув длинные ноги под столом.

— Проклятый Халси, — пробормотал он. — Прокля-

тые заказчики. Проклятые видеоскопы. Проклятые коммерсы.

Ну, напиши же что-нибудь. Ты ведь не поденщик, как другие музыкоделы. Ты не штампуешь свои мелодии на клавиатуре гармонизатора, чтобы машина их за тебя гармонизировала. Ты же музыкант, а не торговец мелодиями. Напиши музыку. Напиши — ну, хотя бы сонату для мультикорда. Выбери время и напиши.

Взгляд его упал на первые строчки текста коммерса: «Если флаер барахлит, если прямо не летит...»

— Проклятый хозяин,— пробормотал он, протягивая руку за карандашом.

Прозвонили крошечные стенные часы, и Бак наклонился, чтобы включить видеоскоп. Ему заискивающе улыбнулось ангельское лицо церемониймейстера.

— Снова перед вами Уолтер-Уолтер, леди и джентльмены! Сегодняшнее обозрение посвящено коммерсам. Тридцать минут коммерсов одного из самых талантливых современных музыкоделов. Сегодня в центре нашего внимания...

Резко прозвучали фанфары — поддельная медь мультикорда.

-- ...Эрлин Бак!

Мультикорд заиграл причудливую мелодию, которую Бак написал пять лет назад для рекламы Тэмперского сыра, раздались аплодисменты. Гнусавое сопрано запело, и несчастный Бак застонал про себя. «Самый выдержанный сыр — сыр, сыр, сыр. Старый выдержанный сыр — сыр, сыр, сыр».

Уолтер-Уолтер носился по сцене, двигаясь в такт мелодии, сбегая в зал, чтобы поцеловать какую-нибудь почтенную домохозяйку, пришедшую сюда отдохнуть, и сияя под взрывы хохота.

Снова прозвучали фанфары мультикорда, и Уолтер-Уолтер, прыгнув обратно на сцену, распростер руки над головой.

— Слушайте, дорогие зрители! Очередная сенсация вашего Уолтера-Уолтера — Эрлин Бак.

Он таинственно оглянулся через плечо, сделал на цыпочках несколько шагов вперед, приложил палец к губам и громко сказал:

— Давным-давно жил-был еще один композитор, по имени Бах. Он был, говорят, настоящий атомный музы-

кодел, этот парень. Жил он что-то не то четыре, не то пять, не то шесть столетий назад, но есть все основания предполагать, что Бах и Бак ходили бы в наше время бок о бок. Мы не знаем, каков был Бах, но нас вполне устраивает Бак. Вы согласны со мной?

Возгласы. Аплодисменты. Бак отвернулся, руки его дрожали, отвращение душило его.

— Начинаем концерт Бака с маленького шедевра, который Бак создал для Пенистого мыла. Оформление Брюса Комбза. Смотрите и слушайте!

Бак успел выключить видеоскоп как раз в тот момент, когда через экран пролетала первая порция мыла. Он снова взялся за текст коммерса, и в его голове начала формироваться ниточка мелодии: «Если флаер барахлит, если прямо не летит — не летит, не летит — вы нуждаетесь в услугах фирмы Вэйринг!»

Тихонько мыча про себя, он набрасывал ноты, которые то взбегали по линейкам, то устремлялись вниз, как неисправный флаер. Это называлось музыкой слов в те времена, когда слова и музыка что-то значили, когда не Бак, а Бах искал выражение таким грандиозным понятиям, как рай и ад.

Бак работал медленно, время от времени проверяя звучание мелодии на мультикорде, отбрасывая целые пассажи, напряженно пытаясь найти грохочущий аккомпанемент, который подражал бы звуку флаера. Но нет: фирме Вэйринга это не понравится. Ведь они широко оповещали, что их флаеры бесшумны.

Вдруг он понял, что дверной звонок уже давно нетерпеливо звонит. Он щелкнул тумблером, и ему улыбнулось пухлое лицо Халси.

— Поднимайся! — сказал ему Бак. Халси кивнул и исчез.

Через пять минут он, переваливаясь, вошел, опустился на стул, который осел под его массивным телом, бросил свой чемоданчик на пол и вытер лицо.

— У-ф-ф! Хотел бы я, чтоб вы перебрались пониже. Или хоть в такой дом, где были бы современные удобства. До смерти боюсь этих старых лифтов.

— Я собираюсь переехать, — сказал Бак.

— Прекрасно. Самое время.

— Но, возможно, куда-нибудь еще выше. Хозяин дал мне двухдневный срок.

Халси поморщился и печально покачал головой.

— Понятно. Ну что же, не буду держать тебя в нетерпении. Вот чек за коммерс о мыле Сана-Соуп.

Бак взял чек, взглянул на него и нахмурился.

— Ты не платил взносов в союз,— сказал Халси.— Пришлось, знаешь, удержать...

— Да. Я и забыл...

— Люблю иметь дело с Сана-Соуп. Сейчас же получаешь деньги. Многие фирмы ждут конца месяца. Сана-Соуп — тоже не бог весть что, однако они заплатили.

Он щелкнул замком чемоданчика и вытащил оттуда папку.

— Здесь у тебя есть несколько хороших трюков, Эрлин, мой мальчик. Им это понравилось. Особенно вот это, в басовой партии: «Пенье пены, пенье пены». Сначала они возражали против количества певцов, но только до прослушивания. А вот здесь им нужна пауза для объявления.

Бак посмотрел и кивнул.

— А что если оставить это оstinato — «пенье пены, пенье пены» — как фон к объявлению?

— Прозвучит недурно. Это здорово придумано. Как, бишь, ты это назвал?

— Оstinato.

— А-а, да. Не понимаю, почему другие музыкоделы этого не умеют.

— Гармонизатор не дает таких эффектов,— сухо сказал Бак.— Он только гармонизирует.

— Дай им секунд тридцать этого «пенье пены» в виде фона. Они могут вырезать его, если не понравится.

Бак кивнул и сделал пометку на рукописи.

— Да, еще аранжировка,— продолжал Халси.— Очень жаль, Эрлин, но мы не можем достать исполнителя на французском рожке. Придется заменить эту партию.

— Нет исполнителя на рожке? А чем плох Ренник?

— В черном списке. Союз исполнителей занес его в черный список. Он отправился гастролировать на Западный берег. Играл даром, даже расходы сам оплатил. Вот его и занесли в список.

— Припоминаю,— задумчиво протянул Бак.— Общество памятников Искусства. Он сыграл им концерт Моцарта для рожка. Для них это тоже был последний концерт. Хотел бы я его услышать, хотя бы на мультикорде...

— Теперь-то он может играть его сколько угодно, но ему никогда больше не заплатят за исполнение. Так вот — переработай эту партию рожка для мультикорда, а то достану для тебя трубача. Он мог бы играть с конвертером.

— Это испортит весь эффект.

Халси усмехнулся:

— Звучит совершенно одинаково для всех, кроме тебя, мой мальчик. Даже я не вижу разницы. У нас есть скрипки и виолончель. Чего тебе еще нужно?

— Неужели и в лондонском союзе нет исполнителя на рожке?

— Ты хочешь, чтоб я притащил его сюда для одного трехминутного коммерса? Будь благоразумен, Эрлин! Можно зайти за этим завтра?

— Да. Утром будет готово.

Халси потянулся за чемоданчиком, снова бросил его и нагнулся вперед.

— Эрлин, я о тебе беспокоюсь. В моем агентстве двадцать семь музыкоделов. Ты зарабатываешь меньше всех! За прошлый год ты получил 2200. А у остальных самый меньший заработок был 11 тысяч.

— Это для меня не новость, — сказал Бак.

— Может быть. У тебя не меньше заказчиков, чем у любого другого. Ты это знаешь?

— Нет, — сказал Бак. — Нет, этого я не знал.

— А это так и есть. Но денег ты не зарабатываешь. Хочешь знать, почему? Причины две. Ты тратишь слишком много времени на каждый коммерс и пишешь их слишком хорошо. Заказчики могут использовать один твой коммерс много месяцев — иногда даже несколько лет, как тот, о Тэмперском сыре. Люди любят их слушать. А если бы ты не писал так дьявольски хорошо, ты мог бы работать быстрее, заказчикам приходилось бы брать больше твоих коммерсов, и ты больше заработал бы.

— Я думал об этом. А если бы и нет, то Вэл все равно бы мне об этом напомнила. Но это бесполезно. Иначе я не могу. Вот если бы как-нибудь заставить заказчика платить за хороший коммерс больше...

— Невозможно! Союз не поддержит этого, потому что хорошие коммерсы означают меньше работы, да большинство музыкоделов и не смогут написать действительно хороший коммерс. Не думай, что меня беспокоят только

дела моего агентства. Конечно, и мне выгоднее, когда ты больше зарабатываешь, но мне хватает других музыкоделов. Мне просто неприятно, что мой лучший работник получает так мало. Ты какой-то отсталый, Эрлин. Тратишь время и деньги на собирание этих древностей — как, бишь, их называют?

— Патефонные пластинки.

— Да. И эти заплесневелые старые книги о музыке. Я не сомневаюсь, что ты знаешь о музыке больше, чем кто угодно, но что это тебе дает? Конечно уж, не деньги. Ты лучше всех, и стараешься стать еще лучше, но чем лучше ты становишься, тем меньше зарабатываешь. Твой доход падает с каждым годом. Не мог бы ты время от времени становиться посредственностью?

— Нет, — сказал Бак. — У меня это не получится.

— Подумай хорошенько.

— Да, насчет этих заказчиков. Некоторым действительно нравится моя работа. Они платили бы больше, если бы союз разрешил. А если мне выйти из союза?

— Нельзя, мой мальчик. Я бы не смог брать твои вещи — во всяком случае, я бы скоро остался не у дел. Союз музыкоделов нажал бы, где надо, а союзы исполнителей и текстовиков внесли бы тебя в черный список. Джемс Дентон заодно с союзами, и он снял бы твои вещи с видеоскопа. Ты живо потерял бы все заказы. Ни одному заказчику не под силу бороться с такими осложнениями, да никто и не захочет ввязываться. Так что постарайся время от времени быть посредственностью. Подумай об этом.

Бак сидел, уставившись в пол.

— Я подумаю.

Халси с трудом встал, обменялся с Баком коротким рукопожатием и проковылял к двери. Бак медленно поднялся и открыл ящик стола, в котором он хранил свою жалкую коллекцию старинных пластинок. Странная и удивительная музыка...

Трижды за всю свою карьеру Бак писал коммерсы, которые звучали по полчаса. Изредка у него бывали заказы на пятнадцать минут. Но обычно он был ограничен пятью минутами или того меньше. А ведь композиторы вроде этого Баха писали вещи, которые исполнялись по часу или больше — и писали даже без текста!

Они писали для настоящих инструментов, даже для некоторых необычно звучащих инструментов, на которых

никто уже больше не играет, вроде фаготов, пикколо роялей.

«Проклятый Дентон! Проклятый видеоскоп! Проклятые союзы!»

Бак с нежностью перебирал пластинки, пока не нашел одну с именем Баха. «Магнификат». Потом он отложил ее — у него было слишком подавленное настроение, чтобы слушать.

Шесть месяцев назад Союз исполнителей занес в черный список последнего гобоиста. Теперь — последнего исполнителя на рожке, а среди молодежи никто больше не учится играть на инструментах. Зачем, когда есть столько чудесных машин, воспроизводящих коммерсы без малейшего усилия исполнителя? Даже мультикордистов стало совсем мало, а мультикорд мог, при желании, играть автоматически.

Бак стоял, растерянно оглядывая всю комнату, от мультикорда до рабочего стола и потрепанного шкафа из пластика, где стояли его старинные книги по музыке. Дверь распахнулась, поспешно вошла Вэл.

— Халси уже был?

Бак вручил ей чек. Она взяла его, с нетерпением взглянула и разочарованно подняла глаза.

— Мои взносы в союз,— пояснил он.— Я задолжал.

— А-а. Ну, все-таки это хоть что-то.

Ее голос был вял, невыразителен, как будто еще одно разочарование не имело значения. Они стояли, неловко глядя друг на друга.

— Я смотрела часть «Утра с Мэриголд»,— сказала Вэл.— Она говорила о твоих коммерсах.

— Скоро должен быть ответ насчет того коммерса о табаке Сло,— сказал Бак.— Может быть, мы уговорим хозяина подождать еще неделю. А сейчас я пойду прогуляюсь.

— Тебе бы надо больше гулять...

Он закрыл за собой дверь, старательно обрезав конец ее фразы. Он знал, что будет дальше. Найди где-нибудь работу. Заботься о своем здоровье и проводи на свежем воздухе несколько часов в день. Пиши коммерсы в свободное время — ведь они не приносят больших доходов. Хотя бы до тех пор, пока мы не встанем на ноги. А если ты не желаешь, я сама пойду работать.

Но дальше слов она не шла. Нанимателю достаточно

было бросить один взгляд на ее тщедушное тело и усталое угрюмое лицо. И Бак сомневался, что с ним обошлись бы хоть сколько-нибудь лучше.

Он мог бы работать мультикордистом и прилично зарабатывать. Но тогда придется вступить в союз исполнителей, а значит, выйти из союза музыкоделов. Если он это сделает, он больше не сможет писать коммерсы.

«Проклятые коммерсы!»

Выйдя на улицу, он с минуту постоял, наблюдая за толпами, пронесившимися мимо по быстро движущемуся тротуару. Кое-кто бросал беглый взгляд на этого высокого, неуклюжего, лысеющего человека в потертом, плохо сидящем костюме. Бак втянул голову в плечи и неуклюже зашагал по неподвижной обочине. Он знал, что его примут за обычного бродягу и что все будут поспешно отводить взгляд, мурлыкая про себя отрывки из его коммерсов.

Он свернул в переполненный ресторан, нашел себе столик и заказал пива. На задней стене был огромный экран видеоскопа, где коммерсы следовали один за другим без перерыва. Некоторое время Бак прислушивался к ним — сначала ему было интересно, что делают другие музыкоделы, потом его охватило отвращение.

Посетители вокруг него смотрели и слушали, не отрываясь от еды. Некоторые судорожно кивали головами в такт музыке. Несколько молодых пар танцевали на маленькой площадке, умело меняя темп, когда кончался один коммерс и начинался другой.

Бак грустно наблюдал за ними и думал о том, как все переменялось. Когда-то, он знал, была специальная музыка для танцев и специальные группы инструментов для ее исполнения. И люди тысячами ходили на концерты, сидели в креслах и смотрели только на исполнителей.

Все это исчезло. Не только музыка, но и искусство, литература, поэзия. Пьесы, которые он читал в школьных учебниках своего деда, давно забыты.

«Видеоскоп Интернэйшнл» Джемса Дентона порешил, что люди должны одновременно смотреть и слушать. «Видеоскоп Интернейшнл» Джемса Дентона порешил, что при этом внимание публики не может выдержать длинной программы. И появились коммерсы.

Проклятые коммерсы!

Час спустя, когда Вэл вернулась домой, Бак сидел в углу, разглядывая растрепанные книги, которые собирал

еще тогда, когда их печатали на бумаге — разрозненные биографии, книги по истории музыки, по теории музыки и композиции. Вэл дважды оглядела комнату, прежде чем заметила его, потом подошла к нему с тревожным, трагическим выражением лица.

— Сейчас придут чинить синтезатор пищи.

— Хорошо,— сказал Бак.

— Но хозяин не хочет ждать. Если мы не заплатим ему послезавтра, не заплатим всего,— нас выселят.

— Ну, выселят.

— Куда же мы денемся!? Ведь мы не сможем нигде устроиться, не заплатив вперед!

— Значит, нигде не устроимся.

Она с рыданием выбежала в спальню.

На следующее утро Бак подал заявление о выходе из союза музыкоделов и вступил в союз исполнителей. Круглое лицо Халси печально вытянулось, когда он узнал эту новость. Он дал Баку взаймы, чтобы уплатить вступительный взнос в союз и успокоить хозяина квартиры, и в красноречивых выражениях высказал свое сожаление, поспешно выпроваживая музыканта из своего кабинета. Бак знал, что Халси, не теряя времени, передаст его клиентов другим музыкоделам — людям, которые работали быстрее, но хуже. Бак отправился в Союз исполнителей, где просидел пять часов, ожидая направления на работу. Наконец, его провели в кабинет секретаря, который небрежно показал ему на кресло и подозрительно осмотрел его.

— Вы состояли в исполнительском союзе двадцать лет назад и вышли из него, чтобы стать музыкоделом. Верно?

— Верно,— сказал Бак.

— Через три года вы потеряли право очередности. Вы это знали, не так ли?

— Нет, но не думал, что это так важно. Ведь хороших мультикордистов не так-то много.

— Хорошей работы тоже не так-то много. Вам придется начать все сначала,— он написал что-то на листке бумаги и протянул его Баку.— Этот платит хорошо, но люди там плохо уживаются. У Лэнки не так-то просто работать. Посмотрим, может быть, вы не будете слишком раздражать его...

Бак снова оказался за дверью и стоял, пристально разглядывая листок.

На движущемся тротуаре он добрался до космопорта Нью-Джерси, поплутал немного в старых трущобах, с трудом находя дорогу, и наконец обнаружил нужное место почти рядом с зоной радиации космопорта. Полуразвалившееся здание носило следы давнего пожара. Под обветшалыми стенами сквозь осыпавшуюся штукатурку пробивались сорняки. Дорожка с улицы вела к тускло освещенному проему в углу здания. Кривые ступеньки вели вниз. Над головой светила яркими огнями огромная вывеска, обращенная в сторону порта: «ЛЭНКИ».

Бак спустился, вошел — и запнулся: на него обрушились неземные запахи. Лиловатый дым венерианского табака висел, как тонкое одеяло, посредине между полом и потолком. Резкие тошнотворные испарения марсианского виски заставили Бака отшатнуться. Бак едва успел заметить, что здесь собрались загулявшие звездолетчики с проститутками, прежде чем перед ним выросла массивная фигура швейцара с карикатурным подобием лица, изборожденным шрамами.

— Кого-нибудь ищете?

— Мистера Лэнки.

Швейцар ткнул большим пальцем в сторону стойки и шумно отступил обратно в тень. Бак пошел к стойке.

Он легко нашел Лэнки. Хозяин сидел на высоком табурете позади стойки и, вытянув голову, холодно смотрел на подходившего Бака. Его бледное лицо в тусклом дымном освещении было напряженно и угрюмо. Он облокотился о стойку, потрогал свой расплюснутый нос двумя пальцами волосатой руки и уставился на Бака налитыми кровью глазами.

— Я Эрлин Бак,— сказал Бак.

— А-а. Мультикордист. Сможешь играть на этом мультикорде, парень?

— Конечно, я же умею играть.

— Все так говорят. А у меня, может быть, только двое за последние пять лет действительно умели. Большой частью приходят сюда и воображают, что поставят эту штуку на автоматическое управление, а сами будут тыкать по клавишам одним пальцем. Я хочу, чтобы на этом мультикорде *играли*, парень, и прямо скажу — если не умеешь играть, лучше сразу отправляйся домой, потому что в

моем мультикорде нет автоматического управления. Я его выломал.

— Я умею играть,— сказал ему Бак.

— Хорошо, это скоро выяснится. Союз расценивает это место по четвертому классу, но я буду платить по первому, если ты умеешь играть. Если ты действительно умеешь играть, я подброшу тебе прибавку, о которой союз не узнает. Работать с шести вечера до шести утра, но у тебя будет много перерывов, а если захочешь есть или пить — спрашивай все, что угодно. Только полегче с горячительным. Пьяница-мультикордист мне не нужен, как бы он ни был хорош. Роза!

Он проревел во второй раз, и из боковой двери вышла женщина. Она была в выцветшем халате, и ее спутанные волосы неопрятно свисали на плечи. Она повернула к Баку маленькое смазливое личико и вызывающе оглядела его.

— Мультикорд,— сказал Лэнки.— Покажи ему.

Роза кивнула, и Бак последовал за ней в глубину зала. Вдруг он остановился в изумлении.

— В чем дело? — спросила Роза.

— Здесь нет видеоскопа!

— Давно! Лэнки говорит, что звездолетчики хотят смотреть на что-нибудь получше мыльной пены и воздушных автомобилей,— она хихикнула.— На что-нибудь вроде меня, например.

— Никогда не слышал о ресторанах без видеоскопа.

— Я тоже, пока не поступила сюда. Зато Лэнки держит нас троих, чтобы петь коммерсы, а вы будете нам играть на мультикорде. Надеюсь, вы справитесь. У нас неделю не было мультикордиста, а без него трудно петь.

— Справлюсь,— сказал Бак.

Тесная эстрада тянулась в том конце зала, где в других ресторанах Бак привык видеть экран видеоскопа. Он заметил, что когда-то такой экран был и здесь. На стене еще виднелись его следы.

— У Лэнки было заведение на Венере, когда там еще не было видеоскопов,— сказала Роза.— У него свои представления о том, как нужно развлекать посетителей. Хотите посмотреть свою комнату?

Бак не ответил. Он разглядывал мультикорд. Это был старый разбитый инструмент, немало повидавший на своем веку и носивший следы не одной пьяной драки. Бак по-

пробовал пальцем фильтры тембров и тихонько выругался про себя. Большинство их было сломано. Только кнопки флейты и скрипки щелкнули нормально. Итак, двенадцать часов в сутки он будет проводить за этим расстроенным и сломанным мультикордом.

— Хотите посмотреть свою комнату? — повторила Роза. — Еще только пять часов. Можно хорошенько отдохнуть перед работой.

Роза показала ему узкую каморку за стойкой. Он вытянулся на жесткой койке и попытался расслабиться. Очень скоро настало шесть часов, и Лэнки появился в дверях, маня его пальцем.

Он занял свое место за мультикордом и сидел, перебирая клавиши. Он не волновался. Не было таких коммерсов, которых бы он не знал, и за музыку он не опасался. Но его смущала обстановка. Облака дыма стали гуще, глаза у него щипало, а пары спирта раздражали ноздри при каждом глубоком вдохе.

Посетителей было еще мало: механики в перемазанных рабочих костюмах, щеголи-пилоты, несколько гражданских, предпочитавших крепкие напитки и не обращающих никакого внимания на окружающее. И женщины. По две женщины, заметил он, на каждого мужчину в зале.

Внезапно в зале наступило оживление, послышались возгласы одобрения, нетерпеливое постукивание ног. На эстраду поднялся Лэнки с Розой и другими певицами. Сначала Бак пришел в ужас: ему показалось, что девушки обнажены; но когда они подошли ближе, он разглядел их коротенькие пластиковые одежды. А Лэнки прав, подумал он. Звездолетчики предпочтут смотреть на них, а не на коммерсы в лицах на экране.

— Розу ты уже знаешь, — сказал Лэнки. — Это Занна и Мэй. Давайте начинать.

Он ушел, а девушки собрались у мультикорда.

— Какие коммерсы вы знаете? — спросила Роза.

— Я их все знаю.

Она посмотрела на него с сомнением.

— Мы поем все вместе, а потом по очереди. А вы... вы уверены, что вы их все знаете?

Бак нажал педаль и взял аккорд.

— Вы себе пойте, а я не подведу.

— Мы начнем с коммерса о вкусном солоде. Он звучит вот так, — она тихонько напела мелодию. — Знаете?

— Я его написал,— сказал Бак.

Они пели лучше, чем он ожидал. Аккомпанировать им было нетрудно, и он мог следить за посетителями. Головы покачивались в такт музыке. Он быстро уловил общее настроение и начал экспериментировать. Пальцы его сами изобрели раскатистое ритмичное сопровождение в басах. Нащупав ритм, он заиграл в полную силу. Основную мелодию он бросил, предоставив девушкам самим вести ее, а сам прошелся по всей клавиатуре, чтобы расцветить мощный ритмический рисунок.

В зале начали притопывать ногами. Девушки на сцене раскачивались, и Бак почувствовал, что он сам покачивается взад и вперед, захваченный безудержной музыкой. Девушки допели слова, а он продолжал играть, и они начали снова. Звездолетки повскакали на ноги, хлопая в ладоши и раскачиваясь. Некоторые подхватили своих женщин и начали танцевать в узких проходах между столами. Наконец, Бак исполнил заключительный каданс и опустил голову, тяжело дыша и вытирая лоб. Одна из девушек свалилась без сил прямо на сцене, и другие помогли ей подняться. Они убежали под бешеные аплодисменты.

Бак почувствовал чью-то руку на своем плече. Лэнки. Без всякого выражения на безобразном лице он взглянул на Бака, повернулся, чтобы оглядеть взволнованных посетителей, снова повернулся к Баку, кивнул и ушел.

Роза вернулась одна, все еще тяжело дыша.

— Как насчет коммерса о духах «Салли Энн»?

— Скажите слова,— попросил Бак.

Она декламировала слова. Небольшая трагическая история о том, как расстроился роман одной девушки, которая не употребляла «Салли Энн».

— Заставим их плакать? — предложил Бак. — Только сосредоточьтесь. История печальная, и мы заставим их заплакать.

Она встала у мультикорда и жалобно запела. Бак повел тихий проникновенный аккомпанемент и, когда начался второй куплет, симпровизировал затухающую мелодию. Звездолетки тревожно притихли. Мужчины не плакали, но кое-кто из женщин громко всхлипывал, и, когда Роза кончила, наступило напряженное молчание.

— Живо,— прошипел Бак. — Поднимем настроение. Пойте что-нибудь — что угодно!

Она принялась за другой коммерс, и Бак заставил звездочечиков вскочить на ноги захватывающим ритмом своего аккомпанемента.

Одна за другой выступали девушки, а Бак рассеянно поглядывал на посетителей, потрясенный таинственной силой, исходившей из его пальцев. Импровизируя и экспериментируя, он вызывал у людей самые противоположные чувства. А в голове у него неуверенно шевелилась одна мысль.

— Пора сделать перерыв, — сказала наконец Роза. — Лучше возьмите-ка чего-нибудь поесть.

Семь тридцать. Полтора часа непрерывной игры. Бак почувствовал, что его силы и чувства иссякли, равнодушно взял поднос с обедом и отнес его в каморку, которая называлась его комнатой. Голода он не чувствовал. Он с сомнением принюхался к еде, попробовал ее — и жадно проглотил. Настоящая еда, после многих месяцев синтетической!

Он немного посидел на койке, раздумывая, сколько времени отдыхают девушки между выступлениями. Потом пошел искать Лэнки.

— Не хочется мне зря сидеть, — сказал он. — Не возражаете, чтобы я поиграл?

— Без девушек?

— Да.

Лэнки облокотился обеими руками на стойку, забрал подбородок в кулак и некоторое время сидел, глядя отсутствующим взглядом на противоположную стенку.

— Сам будешь петь? — спросил он наконец.

— Нет. Только играть.

— Без пения? Без слов?

— Да.

— Что ты будешь играть?

— Коммерсы. Или, может быть, что-нибудь импровизировать.

Долгое молчание. Потом:

— Думаешь, что сможешь играть, пока девушек нет?

— Конечно, смогу.

Лэнки по-прежнему сосредоточенно смотрел на противоположную стенку. Его брови сошлись, потом разошлись и сошлись снова.

— Ладно, — сказал он. — Странно, что я сам до этого не додумался.

Бак незаметно занял свое место у мультикорда. Он тихо заиграл, сделав музыку неназойливым фоном к шумным разговорам, наполнявшим зал. Когда он усилил звук, лица повернулись к нему.

Он размышлял о том, что думают эти люди, впервые в жизни слыша музыку, не имеющую отношения к коммерсу, музыку без слов. Он напряженно наблюдал и был доволен тем, что овладел их вниманием. А теперь — может ли он заставить их подняться с мест одними только лишними жизни тонами мультикорда? Он придумал мелодии четкий ритмический рисунок, и в зале начали притопывать ногами.

Когда он снова усилил звук, Роза выскочила из-за двери и поспешила на сцену. Ее бойкая физиономия выражала растерянность.

— Все в порядке, — сказал ей Бак. — Я просто играю, чтобы развлечься. Не выходите, пока не будете готовы.

Она кивнула и ушла. Краснолицый звездолетчик около сцены посмотрел снизу на четкие контуры ее юного тела и ухмыльнулся. Как зачарованный, Бак впился глазами в грубую, требовательную похоть на его лице, а руки его бегали по клавиатуре в поисках ее выражения. Так? Или так? Или...

Вот оно! Тело его раскачивалось, и он почувствовал, что сам попал под власть безжалостного ритма. Он нажал ногой регулятор громкости и повернулся, чтобы посмотреть на посетителей.

Все глаза, как будто в гипнотическом трансе, были устремлены в его угол. Бармен застыл наклонившись, разинув рот. Чувствовалось какое-то волнение, было слышно напряженное шарканье ног, нетерпеливый скрип стульев. Нога Бака еще сильнее нажала на регулятор.

С ужасом наблюдал он за тем, что происходило внизу. Похоть исказила лица. Мужчины вскакивали, тянулись к женщинам, хватали их, обнимали. С грохотом свалился стул, за ним стол, но никто, казалось, не замечал этого. С какой-то женщины, бешено развеваясь, слетело на пол платье. А пальцы Бака все носились по клавишам, не подчиняясь больше его власти.

Невероятным усилием он оторвался от клавиш. В зале, точно гром, разразилось молчание. Он начал тихо наигрывать дрожащими пальцами что-то бесцветное. Когда он снова взглянул в зал, порядок был восстановлен. Стол

и стул стояли на местах, и посетители сидели, явно чувствуя облегчение — все, кроме одной женщины, которая в очевидном смущении поспешно натягивала платье.

Бак продолжал играть спокойно, пока не вернулись девушки.

Шесть часов утра. Тело ломило от усталости, руки болели, ноги затекли. Бак с трудом спустился вниз. Лэнки стоял, поджидая его.

— Оплата по первому классу, — сказал он. — Будешь работать у меня сколько хочешь. Но полегче с этим, ладно?

Бак подумал о Вэл, съездившейся в мрачной комнате, живущей на синтетической пище.

— Не будет считаться нарушением правил, если я попрошу аванс?

— Нет, — сказал Лэнки. — Не будет. Я сказал кассиру, чтобы выдал тебе сотню, когда будешь уходить. Считай это премией.

Усталый от долгой поездки на движущемся тротуаре, Бак тихонько вошел в свою полутемную комнату и огляделся. Вэл не видно — еще спит. Он сел к своему мультикорду и тронул клавишу.

Невероятно. Музыка без коммерсов, без слов может заставить людей смеяться и плакать, и танцевать, и сходить с ума.

И она же может превратить их в непристойных животных.

Дивясь этому, он заиграл мелодию, которая вызвала такую откровенную похоть, играл ее все громче, громче.

Почувствовав руку у себя на плече, он обернулся и увидел искаженное страстью лицо Вэл...

...Он пригласил Халси прийти послушать его на следующий же вечер, и Халси сидел в его комнатухе, тяжело опустившись на койку, и все вздрагивал.

— Это несправедливо. Никто не должен иметь такой власти над людьми. Как ты это делаешь?

— Не знаю, — сказал Бак. — Я увидел парочку, которая там сидела, они были счастливы, и я почувствовал их счастье. И когда я заиграл, все в зале стали счастливы. А потом вошла другая пара, они ссорились — и я заставил всех потерять голову.

— За соседним столиком чуть не начали драться,— сказал Халси.— А уж то, что ты устроил потом...

— Да, но вчера это было еще сильнее. Посмотрел бы ты на это вчера!

Халси опять содрогнулся.

— У меня есть книга о греческой музыке,— сказал Бак.— Древняя Греция — очень давно. У них было нечто, что они называли «этос». Они считали, что различные звуко сочетания действуют на людей по-разному. Музыка может делать людей печальными или счастливыми, или приводить их в восторг, или сводить с ума. Они даже утверждали, что один музыкант, которого звали Орфей, мог двигать деревья и размягчать скалы своей музыкой. Теперь слушай. Я получил возможность экспериментировать и заметил, что игра моя производит самое большое действие, когда я не пользуюсь фильтрами. На этом мультикорде все равно работают только два фильтра — флейта и скрипка,— но когда я пользуюсь любым из них, люди не так сильно реагируют. И я думаю — может быть, не звуко сочетания, а сами греческие инструменты производили такой эффект. Может быть, тембр мультикорда без фильтров имеет что-то общее с тембром древнегреческой кифары или...

Халси фыркнул.

— А я думаю, что дело не в инструментах и не в звуко-сочетаниях. Я думаю, дело в Баке, и мне это не нравится. Надо было тебе остаться музыкоделом.

— Я хочу, чтоб ты мне помог,— сказал Бак.— Хочу найти помещение, где можно собрать много народу — тысячу человек по крайней мере, не для того, чтобы есть и смотреть коммерсы, а чтобы просто слушать, как один человек играет на мультикорде.

Халси резко поднялся.

— Бак, ты опасный человек. Будь я проклят, если стану доверять тому, кто заставил меня испытать такое, как ты сегодня. Не знаю, что ты собираешься затеять, но я в этом не участвую.

Он вышел с таким видом, будто собирался хлопнуть дверью. Но мультикордист из ресторанчика Лэнки не заслуживал такой роскоши, как дверь в своей комнате. Халси нерешительно потоптался на пороге и исчез. Бак последовал за ним и стоял, глядя, как тот нетерпеливо пробирается к выходу мимо столиков.

Лэнки, смотревший на Бака со своего места за стойкой, взглянул вслед уходящему Халси.

— Неприятности? — спросил он.

Бак устало отвернулся.

— Я знал этого человека двадцать лет. Никогда я не считал его своим другом. Но и не думал, что он мой враг.

— Иногда такое случается, — сказал Лэнки.

Бак тряхнул головой.

— Хочу отведать марсианского виски. Никогда его не пробовал.

За две недели Бак окончательно утвердился в ресторанчике Лэнки. Зал бывал битком набит с того момента, как он приступал к работе, и до тех пор, пока он не уходил утром. Когда он играл один, он забывал о коммерсах и исполнял все, что хотел. Как-то он даже сыграл посетителям несколько пьес Баха и был награжден щедрыми аплодисментами — хотя им и было далеко до неистового энтузиазма, обычно сопровождавшего его импровизации.

Сидя за стойкой, поедая свой ужин и наблюдая за посетителями, Бак смутно чувствовал себя счастливым. Впервые за много лет у него было много денег. И работа ему нравилась.

Он начал думать о том, как бы совсем избавиться от коммерсов.

Когда Бак отставил поднос в сторону, он увидел, как швейцар Бифф выступил вперед, чтобы приветствовать очередную пару посетителей, но внезапно споткнулся и попятился, остоленев от изумления. И не удивительно: вечерние туалеты в кабачке Лэнки!

Пара прошла в зал, шурясь в тусклом, дымном свете, но с любопытством оглядываясь кругом. Мужчина был бронзовый от загара и красивый, но никто не обратил на него внимания. Поразительная красота женщины метеором блеснула в этой грязной обстановке. Она двигалась в ореоле сверкающего очарования. Ее благоухание заглушило зловоние табака и виски. Ее волосы отливали золотом, мерцающее, ниспадающее платье соблазнительно облегалo ее роскошную фигуру.

Бак взглянул и вдруг узнал ее. Мэриголд, или «Утро с Мэриголд». Та, кому поклонялись миллионы слушателей

ее программ во всей Солнечной системе. Как говорили, любовница Джемса Дентона, короля видеоскопа. Мэриголд Мэннинг.

Она подняла руку к губам, притворяясь испуганной, и чистые звуки ее дразнящего смеха рассыпались среди зачарованных звездолетчиков.

— Что за странное место! — сказала она. — Слыхали вы когда-нибудь о чем-то подобном?

— Я хочу марсианского виски, черт побери, — пробормотал мужчина.

— Как глупо, что в портовом баре уже ничего нет. Да еще столько кораблей прилетает с Марса. Вы уверены, что мы успеем вернуться вовремя? Ведь Джимми будет вне себя, если нас не будет, когда приземлится его корабль.

Лэнки тронул Бака за руку.

— Уже седьмой час, — сказал он, не спуская глаз с Мэриголд Мэннинг. — Они торопятся.

Бак кивнул и вышел к мультикорду. Увидев его, посетители разразились криками. Садясь, Бак увидел, что Мэриголд Мэннинг и ее спутник глядят на него, разинув рты. Внезапный взрыв восторга удивил их, и они отвернулись от топающих и вопящих посетителей, чтобы посмотреть на этого странного человека, который вызвал такой необузданный восторг.

Сквозь шум резко прозвучало восклицание мисс Мэннинг:

— Какого дьявола!

Бак пожал плечами и начал играть. Когда мисс Мэннинг, наконец, ушла, обменявшись несколькими словами с Лэнки, ее спутник так и не получил своего марсианского виски.

На следующий вечер Лэнки встретил Бака двумя полными пригоршнями телеграмм.

— Вот это да! Видел сегодня утром передачу этой дамочки Мэриголд?

— Да я как будто не смотрел видеоскопа с тех пор, как начал здесь работать.

— Если тебя это интересует, знай, что ты был — как она эта назвала? — сенсацией Мэриголд в сегодняшней передаче. Эрлин Бак, знаменитый музыкодел, теперь

играет на мультикорде в занятом маленьком ресторанчике Лэнки. Если хотите послушать удивительную музыку, поезжайте в Ньюджерсийский космопорт и послушайте Бака. Не упустите этого удовольствия. Это стоит целой жизни,— Лэнки выругался и помахал телеграммами.— Она назвала нас занятыми. Теперь я получил десять тысяч предварительных заказов на столики, в том числе из Будапешта и Шанхая. А у нас пятьсот мест, считая стоячие. Черт бы побрал эту бабу! У нас и без нее дело шло так, что только поворачивайся.

— Вам надо помещение побольше,— сказал Бак.

— Да, между нами говоря, я уже присмотрел большой склад. Он вместит самое меньшее тысячу человек. Мы его приведем в порядок. Я заключу с тобой контракт, будешь отвечать за музыку.

Бак покачал головой.

— А что если открыть большое заведение в городе? Это привлечет людей, у которых больше денег. Вы будете хозяйничать, а я обеспечу посетителей.

Лэнки с торжественным видом погладил свой сплюснутый нос.

— Как будем делиться?

— Пополам,— сказал Бак.

— Нет,— сказал Лэнки задумчиво.— Я играю честно, Бак, но пополам в таком деле будет несправедливо. Ведь я вкладываю весь капитал. Я дам тебе треть, и ты будешь заниматься музыкой.

Они оформили контракт у адвоката. У адвоката Бака. На этом настоял Лэнки.

В унылом полумраке раннего утра сонный Бак ехал на переполненном тротуаре домой. Было время пик, люди стояли вплотную друг к другу и сердито ворчали, когда соседи наступали им на ноги. Казалось, что толпа больше, чем обычно. Бак отбивался от толчков и ударов локтями, погруженный в свои мысли.

Пора найти себе жилье получше. Его вполне устраивала их убогая квартира, пока он не смог позволить себе лучшую, но Вэл уже не один год жаловалась. А теперь, когда они могли переехать и снять хорошую квартиру или даже купить маленький дом в Пенсильвании, Вэл отказалась. Говорит, не хочется расставаться с друзьями.

Бак размышлял о женской непоследовательности и вдруг сообразил, что приближается к дому. Он начал проталкиваться к более медленной полосе тротуара. Нажимая изо всех сил, пытаясь протиснуться между пассажирами, он заработал локтями — сначала осторожно, потом со злобой. Толпа вокруг него не поддавалась.

— Прошу прощения, — сказал Бак, делая еще одну попытку. — Мне здесь сходить.

На этот раз пара мускулистых рук преградила ему дорогу.

— Не сегодня, Бак. Тебя ждут в Манхеттене.

Бак бросил взгляд на сомкнувшиеся вокруг него лица. Неприветливые, угрюмые, ухмыляющиеся лица. Бак внезапно бросился в сторону, сопротивляясь изо всех сил, — но его грубо потащили обратно.

— В Манхеттен, Бак. А если хочешь на тот свет — твое дело.

— В Манхеттен, — согласился Бак.

У взлетной площадки они сошли с движущегося тротуара. Их ждал флаер — роскошная частная машина, номер которой давал право на большие льготы.

Они быстро полетели к Манхеттену, пересекая воздушные коридоры, и зашли на посадку на крыше здания «Видеоскоп Интернэйшнл». Бака поспешно спустили на антигравитационном лифте, повели по лабиринту коридоров и не слишком вежливо втокнули в кабинет.

Огромный кабинет. Мало мебели: письменный стол, несколько стульев, стойка бара в углу, экран видеоскопа немыслимой величины и мультикорд. В комнате полно народу. Взгляд Бака пробежал по расплывшимся пятнам лиц и нашел одно, которое было ему знакомо: Халси.

Пухлый агент сделал два шага вперед и остановился, пристально глядя на Бака.

— Пришла пора посчитаться, Эрлин, — сказал он холодно.

Чья-то рука резко ударила по столу.

— Здесь я занимаюсь всеми расчетами, Халси! Садитесь, пожалуйста, мистер Бак.

Бак неловко расположился на стуле, который был откуда-то выдвинут вперед. Он ждал, устремив глаза на человека за столом.

— Меня зовут Джемс Дентон. Дошла ли моя слава до таких заброшенных дыр, как ресторанчик Лэнки?

— Нет, — сказал Бак. — Но я о вас слышал.

Джемс Дентон. Король «Видеоскоп Интернэйшнл». Безжалостный повелитель общественного вкуса. Ему было не больше сорока. Смуглое красивое лицо, сверкающие глаза и всегда готовая улыбка.

Он медленно кивнул, постучал сигарой о край стола и не спеша поднес ее ко рту. Со всех сторон к нему протянулись зажигалки. Он выбрал одну, не поднимая глаз, снова кивнул и глубоко затянулся.

— Я не стану утомлять вас, Бак, представляя вам собравшихся здесь. Некоторые из этих людей пришли сюда из деловых соображений. Некоторые — из любопытства. Я впервые услышал о вас вчера, и то, что я услышал, заставило меня подумать, что вы можете стать проблемой. Заметьте, я говорю — можете, вот это-то я и хочу выяснить. Когда передо мной проблема, Бак, я делаю одно из двух. Я или решаю ее или ликвидирую — и не трачу ни на то, ни на другое много времени. — Он усмехнулся. — Вы могли в этом убедиться хотя бы потому, что вас привели ко мне сразу, как только вы оказались, ну, скажем, в пределах досягаемости.

— Этот человек опасен, Дентон, — выпалил Халси.

Дентон сверкнул своей улыбкой.

— Я люблю опасных людей, Халси. Их полезно иметь около себя. Если я смогу использовать то, что есть у мистера Бака, что бы это ни было, я сделаю ему выгодное предложение. Уверен, что он примет его с благодарностью. Если я не смогу его использовать, я намерен сделать так, чтобы он, черт возьми, не причинял мне неудобств. Я выражаюсь ясно, Бак?

Бак молчал, уставившись в пол.

Дентон наклонился вперед. Его улыбка не дрогнула, но глаза сузились, а голос неожиданно стал ледяным.

— Я выражаюсь ясно, Бак?

— Да, — едва слышно пробормотал Бак.

Дентон ткнул большим пальцем в сторону двери, и половина присутствующих, включая Халси, торжественно, по одному, вышли. Остальные ждали, переговариваясь шепотом, пока Дентон пыхтел сигарой. Внезапно селектор Дентона прохрипел одно-единственное слово:

— Готово!

Дентон указал на мультикорд.

— Мы жаждем демонстрации вашего искусства, мистер Бак. И смотрите, чтоб это была настоящая демонстрация. Халси ведь слушает, и он нам скажет, если вы попытаетесь жульничать.

Бак кивнул и занял место за мультикордом. Он сидел, расслабив пальцы и усмехаясь при виде уставившихся на него со всех сторон лиц. Это были властители большого бизнеса, и никогда в жизни они не слышали настоящей музыки. Что касается Халси, да, Халси будет слушать его, но через селектор Дентона, через систему связи, предназначенную только для передачи разговора!

Кроме того, у Халси плохой слух.

Все еще усмехаясь, Бак тронул фильтр скрипки, снова попробовал его и остановился в нерешительности.

Дентон сухо рассмеялся.

— Я забыл поставить вас в известность, мистер Бак. По совету Халси мы отключили фильтры. Ну...

Бака охватил гнев. Он резко опустил ногу на регулятор громкости, вызываяще сыграл позывные видеоскопа и начал свой коммерс о Тэмперском сыре. С налитым кровью лицом Джемс Дентон наклонился вперед и что-то сердито проворчал. Сидящие возле него беспокойно зашевелились. Бак перешел к другому коммерсу, импровизировал несколько вариаций и начал наблюдать за лицами окружающих. Властители бизнеса. А забавно было бы, подумал он, заставить их танцевать и притопывать ногами. Его пальцы нащупали неотразимый ритм, и люди беспокойно закачались.

Он вдруг забыл об осторожности. Беззвучно смеясь про себя, он дал волю могучему потоку звуков, от которого эти люди пошли в пляс. Все нарастающий взрыв эмоций приковал их к месту в нелепых позах. Потом он заставил их неистово притопывать, вызвал слезы у них на глазах и закончил мощным ударом — тем, что Лэнки называл «сексуальной музыкой». Затем он застыл над клавиатурой в ужасе от того, что сделал.

Дентон вскочил с бледным лицом, то сжимая, то разжимая кулаки.

— Господи боже! — бормотал он.

Потом проревел в свой селектор:

— Реакция?

— Отрицательная, — последовал немедленный ответ.

— Кончаем.

Дентон сел, провел рукой по лицу и обернулся к Баку с вежливой улыбкой:

— Впечатляющее исполнение, мистер Бак. Через несколько минут мы узнаем... а вот и они!

Люди, которые прежде вышли, по одному вернулись в комнату. Несколько человек собрались в кучу, переговариваясь шепотом. Дентон встал из-за стола и зашагал по комнате. Остальные присутствующие, включая и Халси, стояли в неловком ожидании.

Бак остался за мультикордом, с беспокойством оглядывая комнату. Повернувшись, он случайно задел клавишу, и эта единственная нота оборвала разговоры, заставила Дентона резко повернуться, а Халси — в испуге сделать два шага к двери.

— Мистеру Баку не терпится, — воскликнул Дентон. — Нельзя ли покончить с этим?

— Минутку, сэр!

Наконец, они повернулись и выстроились в два ряда перед столом Дентона. Возглавлявший их седовласый человек ученого вида с нежно-розовым лицом неловко прокашлялся и ждал, пока Дентон даст знак начинать.

— Установлено, — сказал он, — что присутствовавшие в этой комнате подверглись сильному воздействию музыки. Те, кто слушал через селектор, не испытали ничего, кроме легкой скуки.

— Это-то всякий дурак мог установить, — буркнул Дентон. — А вот как он это делает?

— Мы можем предложить только рабочую гипотезу.

— А, так вы о чем-то догадываетесь? Валяйте!

— Эрлин Бак обладает способностью телепатически проецировать свои эмоциональные переживания. Когда эта проекция подкрепляется звуком мультикорда, те, кто находится непосредственно около него, испытывают необычайно сильные чувства. На тех, кто слушает его музыку в передаче на расстоянии, она не оказывает никакого действия.

— А видеоскоп?

— Игра Бака не произведет эффекта на слушателей видеоскопа.

— Понятно, — сказал Дентон. Он задумчиво нахмурился. — А как насчет длительного успеха?

— Это трудно предсказать...

— Предскажите же, черт возьми!

— Новизна его манеры играть сначала привлечет внимание. Со временем у него, вероятно, появится группа последователей, для которых эмоциональные переживания, связанные с его игрой, будут чем-то вроде наркотика.

— Благодарю, джентльмены, — сказал Дентон. — Это все.

Комната быстро опустела. Халси задержался на пороге, с ненавистью посмотрел на Бака и робко вышел.

— Значит, я не смогу вас использовать, Бак, — сказал Дентон. — Но вы, кажется, не представляете собой проблемы. Я знаю, что собираетесь делать вы с Лэнки. Скажи я хоть слово, никогда вам не найти помещения для нового ресторана. Я мог бы закрыть его ресторанчик сегодня к вечеру. Но едва ли это стоит труда. Я даже не стану настаивать на том, чтобы в вашем новом ресторане был экран видеоскопа. Если сможете создать свой культ — что ж, может быть, это отвратит ваших последователей от чего-нибудь похуже. Видите, я сегодня великодушен, Бак. А теперь вам лучше уйти, пока я не передумал.

Бак кивнул и поднялся. В эту минуту в комнату ворвалась Мэриголд Мэннинг, блистательно прекрасная, пахнувшая экзотическими духами. Ее сверкающие светлые волосы были зачесаны кверху по последней марсианской моде.

— Джимми, милый — ой!

Она уставилась на Бака, на мультикорд и растерянно пробормотала:

— Как, вы... Да вы же Эрлин Бак! Джимми, почему ты мне не сказал?

— Мистер Бак оказал мне честь своим исполнением лично для меня, — сказал Дентон. — Я думаю, мы понимаем друг друга, Бак. Всего хорошего.

— Ты хочешь, чтобы он выступил по видеоскопу! — воскликнула мисс Мэннинг. — Джимми, это чудесно! Можно, сначала я его возьму? Я могу включить его в сегодняшнюю передачу.

Дентон медленно покачал головой.

— Очень жаль, дорогая. Мы установили, что талант мистера Бака... не совсем подходит для видеоскопа.

— Но я могу его пригласить хотя бы как гостя. Вы будете моим гостем, правда, мистер Бак? Ведь нет ничего плохого, если он будет выступать как гость, правда, Джимми?

Дентон усмехнулся.

— Нет. После всего этого шума, который ты устроила будет неплохо, если ты его пригласишь. Хорошую службу он тебе сослужит, когда провалится!

— Он не провалится. Он будет чудесен по видеоскопу. Вы придете сегодня, мистер Бак?

— Пожалуй...— начал Бак. Дентон выразительно кивнул.— Мы скоро открываем новый ресторан,— продолжал Бак.— Я бы не возражал быть вашим гостем в день открытия.

— Новый ресторан? Чудесно! Кто-нибудь уже знает? А то я выдам это в сегодняшней передаче как сенсацию!

— Это еще окончательно не улажено,— сказал Бак извиняющимся тоном,— мы еще не нашли помещения.

— Вчера Лэнки нашел помещение,— сказал Дентон.— Сегодня он подпишет договор об аренде. Только сообщите мисс Мэннинг день открытия, Бак, и она организует ваше выступление. А теперь, если вы не возражаете...

У Бака ушло полчаса на то, чтобы найти выход из здания, но он бесцельно бродил по коридорам, не желая спрашивать дорогу. Он счастливо напевал про себя и время от времени смеялся.

Властители большого бизнеса и их ученые ничего не знали о существовании обертонов.

— Так вот оно что,— сказал Лэнки.— Я думаю, нам повезло, Бак. Дентон должен был сделать свой ход, раз у него была возможность, когда я этого не ожидал. Когда же он сообразит, в чем дело, я постараюсь, чтобы было уже поздно.

— Что мы будем делать, если он действительно решит закрыть наше дело?

— У меня и у самого есть кое-какие связи, Бак. Правда, эти люди не вращаются в высшем свете, как Дентон, но они ничуть не менее бесчестны. А у Дентона есть куча врагов, которые нас с радостью поддержат. Он сказал, что мог бы закрыть меня к вечеру, а? Забавно. Мы вряд ли сможем чем-нибудь повредить Дентону, но можем сделать многое, чтобы он нам не повредил.

— Думаю, что и мы сами повредим Дентону,— сказал Бак.

Лэнки отошел к стойке и вернулся с высоким стаканом розовой пенящейся жидкости.

— Выпей,— сказал он.— У тебя был утомительный день, ты уже заговариваешься. Как это мы можем повредить Дентону?

— Коммерсы. Видеоскоп зависит от коммерсов. Мы покажем людям, что можно развлекаться без них. Мы сделаем нашим девизом «Никаких коммерсов в ресторане Лэнки».

— Здорово,— протянул Лэнки.— Я вкладываю тысячу в новые костюмы для девушек,— не выступать же им на новом месте в этих пластиковых штуках, ты же понимаешь,— а ты решил не давать им петь?

— Конечно же, они будут петь.

Лэнки склонил голову и погладил свой нос.

— И никаких коммерсов? Что же они тогда будут петь?

— Я взял кое-какие тексты из старых школьных учебников моего деда. Это называлось стихами, и я пишу на них музыку. Я хотел попробовать их здесь, но Дентон мог прослышать об этом, а нам не стоит ввязываться в неприятности раньше, чем нужно.

— Да. Побереги их до нового помещения. Ты вот будешь в передаче «Утро с Мэриголд» в день открытия. А ты точно знаешь насчет этих самых обертонов, Бак? Понимаешь, может, ты и в самом деле проецируешь эмоции? В ресторане-то, конечно, это все равно, а вот по видеоскопу...

— Я знаю точно. Когда мы сможем устроить открытие?

— На новом месте работают в три смены. Мы усадим 1200 человек, и останется еще место для хорошей танцплощадки. Все должно быть готово через две недели. Но я не уверен, что эта затея с видеоскопом разумна, Бак.

— Я так хочу.

Лэнки опять отошел к стойке и налил себе.

— Ладно. Так и делай. Если все это пройдет, заварится большая каша, и мне надо бы к этому подготовиться.— Он ухмыльнулся.— Но будь я проклят, если это не окажется полезно для дела!

Мэриголд Мэннинг переменяла прическу на последнее создание Занны из Гонконга и десять минут раздумывала, каким боком повернуться к съемочным аппаратам. Бак терпеливо ждал, чувствуя себя немного неловко: такого дорогого костюма у него никогда еще не было. Ему при-

шло в голову: а что, если он и в самом деле проецирует эмоции?

— Я встану так,— сказала наконец мисс Мэннинг, бросив на контрольный экран перед собой последний испытующий взор.— А вы, мистер Бак? Что мы с вами будем делать?

— Просто посадите меня за мультикорд,— сказал Бак.

— Но вы же будете не только играть. Вы должны что-нибудь сказать. Я объявляла об этом ежедневно всю неделю, у нас будет самая большая аудитория за много лет, и вы просто должны что-нибудь сказать.

— С радостью,— сказал Бак.— Можно мне рассказать о ресторане Лэнки?

— Конечно, глупый вы человек. Для того-то вы и здесь. Вы расскажете о ресторане Лэнки, а я расскажу об Эрлине Баке.

— Пять минут,—четко объявил голос.

— О боже,— сказала она.— Я всегда так нервничаю перед самым началом.

— Хорошо, что не во время передачи,— ответил Бак.

— Верно. Джимми только смеется надо мной, но нужно быть артистом, чтобы понять другого артиста. А вы нервничаете?

— Когда я играю, мне не до того.

— Вот и мне тоже. Когда моя передача начинается, я слишком занята.

— Четыре минуты.

— О господи!— она опять повернулась к экрану.— Может, мне лучше по-другому?

Бак уселся за мультикорд.

— Вы очень хороши так, как есть.

— Вы, правда, так думаете? Во всяком случае, очень мило, что вы так говорите. Интересно, найдется ли у Джимми время посмотреть.

— Уверен, что найдется.

— Три минуты.

Бак включил усилитель и взял аккорд. Теперь он нервничал. Он понятия не имел, что будет играть. Он намеренно не хотел никак готовиться заранее, потому что именно импровизации его так странно действовали на людей. Только одно он знал точно: сексуальной музыки не будет. Об этом его просил Лэнки.

Задумавшись, он пропустил мимо ушей последнее пре-

дупреждение и, вздрогнув, поднял голову, когда услышал радостный голос мисс Мэннинг:

— Доброе утро! Начинаем «Утро с Мэриголд»!

Звонкий голос ее продолжал. Эрлин Бак. Его карьера музыкодела. Ее поразительное открытие, что он играет в ресторанчике Лэнки. Она рассказала о коммерсе, посвященном Тэмперскому сыру. Наконец, она окончила свой рассказ и рискнула повернуться, чтобы посмотреть в сторону Бака.

— Леди и джентльмены! С восхищением, с гордостью, с удовольствием представляю вам сенсацию Мэриголд— Эрлина Бака!

Бак нервно усмехнулся и смущенно постучал по клавише одним пальцем.

— Это моя первая в жизни речь,— сказал он.— Возможно, она будет последней. Сегодня открывается новый ресторан «У Лэнки» на Бродвее. К несчастью, я не могу пригласить вас туда, потому что благодаря великодушным рассказам мисс Мэннинг за последнюю неделю все места на ближайшие два месяца заказаны. Потом мы будем оставлять ограниченное число мест для приезжих издалека. Садитесь в самолет и летите к нам!

У Лэнки вы найдете кое-что не совсем обычное. Там нет экрана видеоскопа. Может быть, вы об этом слышали. У нас есть привлекательные молодые леди, которые вам будут петь. Я играю на мультикорде. Мы уверены, что вам понравится наша музыка, потому что у Лэнки вы не услышите коммерсов. Запомните это! «Никаких коммерсов у Лэнки!» Никаких флаеров к бифштексам! Никакой мыльной пены к шампанскому! Никаких сорочек к десерту! Никаких коммерсов! Только хорошая музыка, которая звучит для вашего удовольствия,— вот такая!

Он опустил руки на клавиши.

Было странно играть без всяких зрителей— практически без зрителей. Были только мисс Мэннинг и операторы видеоскопа, и Бак внезапно ощутил, что своими успехами он обязан зрителям. Перед ним всегда было множество лиц, и он играл в соответствии с их реакцией. Теперь его слушали люди по всему Западному полушарию. А потом это будет вся Земля и вся Солнечная система. Будут ли они хлопать и притопывать? Подумают ли они с благоговением: «Так вот что такое музыка без слов, без коммерсов!»? Или он вызовет у них легкую скуку?

Бак бросил взгляд на бледное лицо мисс Мэннинг, на инженеров, стоящих с разинутыми ртами, и подумал, что, вероятно, все в порядке. Музыка захватила его, и он играл неистово.

Он продолжал играть и после того, как почувствовал что-то неладное. Мисс Мэннинг вскочила и бросилась к нему. Операторы бестолково засуетились, а дальний контрольный экран опустел.

Бак замедлил темп и остановился.

— Нас отключили, — сказала мисс Мэннинг со слезами в голосе. — Кто мог это сделать? Никогда, никогда за все время, что я выступаю по видеоскопу... Джордж, кто нас отключил?

— Приказ.

— Чей приказ?

— Мой приказ! — Перед ними появился Джемс Дентон, и он не улыбался. Губы его были сжаты, лицо бледно, в глазах светилось смертоносное неистовство.

— Ты хитрый парень, а? — обратился он к Баку. — Не знаю, как ты ухитрился разыграть меня, но ни один человек не одурачивает Джемса Дентона дважды. Теперь ты стал проблемой, и я не собираюсь затруднять себя решением. Считай, что ты ликвидирован.

— Джимми! — взмолилась мисс Мэннинг. — Моя программа отключена! Как ты мог?

— Заткнись, к черту! Могу предложить тебе, Бак, любое пари, что Лэнки сегодня не откроется. Хотя для тебя это уже безразлично.

Бак мягко улыбнулся.

— Я думаю, что вы проиграли, Дентон. Я думаю, что прозвучало достаточно музыки, чтобы победить вас. Я могу предложить вам любое пари, что к завтрашнему дню вы получите несколько тысяч жалоб. И правительство тоже. И тогда вы увидите, кто настоящий хозяин «Видеоскоп Интернэйшнл».

— Я хозяин «Видеоскоп Интернэйшнл».

— Нет, Дентон. Он принадлежит народу. Люди долго смотрели на это сквозь пальцы и довольствовались тем, что вы им давали. Но если они поймут, что им нужно, они того добьются. Я знаю, что дал им по крайней мере три минуты того, что им нужно. Это больше, чем я надеялся.

— Как тебе удалось провести меня там, в кабинете?

— Вы сами себя провели, Дентон, потому что вы ничего

не знаете об обертонах. Ваш селектор не годится для передачи музыки. Он совсем не передает высоких частот, так что мультикорд звучал безжизненно для людей, находившихся в другой комнате. Но у видеоскопа достаточно широкая полоса частот. Поэтому он передает живой звук.

Дентон кивнул.

— Умно. За это я поотрываю головы некоторым ученым. Да и тебе тоже, Бак.

Он надменно вышел, и как только автоматическая дверь закрылась за ним, Мэриголд Мэннинг схватила Бака за руку:

— Живо! За мной!

Бак заколебался, а она прошипела:

— Да не стойте, как идиот! Вас убьют!

Она вывела его через операторскую в маленький коридорчик. Они пробежали через него, проскочили приемную с удивленной секретаршей и через заднюю дверь попали в другой коридор. Она втащила его за собой в антигравитационный лифт, и они помчались вверх. На крыше здания они подбежали к взлетной площадке для флаеров, и здесь она оставила его в дверях.

— Когда я подам сигнал, выйдите, — сказала она. — Только не бегите, идите медленно.

Она спокойно вышла, и Бак услышал удивленное приветствие служителя.

— Как вы рано сегодня, мисс Мэннинг!

— Мы передаем много коммерсов, — сказала она. — Мне нужен большой «вэйринг».

— Сейчас подадим.

Выглядывая из-за угла, Бак увидел, как она вошла во флаер. Как только служитель отвернулся, она неистово замахала. Бак осторожно подошел к ней, стараясь, чтобы «вэйринг» был все время между ним и служителем. Через минуту они уже неслись вверх, а внизу слабо прозвучала сирена.

— Успели! — воскликнула она, задыхаясь. — Если бы вы не выбрались до того, как прогудела тревога, вам бы совсем не уйти.

Бак глубоко вздохнул и оглянулся на здание «Видеоскоп Интернэйшнл».

— Что ж, спасибо, — сказал он. — Но я убежден, что необходимости в этом не было. Это же цивилизованная планета.

— «Видеоскоп Интернэйшнл» — не цивилизованное предприятие, — обрезала она.

Он посмотрел на нее с удивлением. Ее лицо разгорелось, глаза расширились от страха, и впервые Бак увидел в ней человека, женщину, красивую женщину. Она отвернулась и разразилась слезами.

— Теперь Джимми убьет и меня. А куда мы поедем?

— К Лэнки, — сказал Бак. — Смотрите, его отсюда видно.

Она направила флаер к свежевыкрашенным буквам на посадочной площадке нового ресторана, и Бак, оглянувшись, увидел, что на улице возле «Видеоскоп Интернэйшнл» собирается толпа.

Лэнки придвинул свой стол к стене и удобно откинулся назад. На нем был нарядный вечерний костюм, и он тщательно подготовился к роли общительного хозяина, но у себя в конторе он был все тем же неуклюжим Лэнки, которого Бак впервые увидел облокотившимся на стойку.

— Я тебе говорил, что заварится каша, — сказал он спокойно. — Пять тысяч человек у здания «Видеоскоп Интернэйшнл» требуют Эрлина Бака. И толпа все растет.

— Я играл не больше трех минут, — сказал Бак. — Я подумал, что многие, наверное, напишут жалобы на то, что меня отключили, но ничего подобного я не ожидал.

— Не ожидал, а? Пять тысяч человек. Теперь уже, может быть, и все десять, и никто не знает, когда все это кончится. А мисс Мэннинг рискует головой, чтобы увезти тебя оттуда — спроси ее, почему, Бак?

— Да, — сказал Бак. — Зачем было вам ввязываться в это из-за меня?

Она вздрогнула.

— Ваша музыка такое со мной делает!

— Еще как делает, — подхватил Лэнки. — Бак, дурень ты этакий, ты устроил для четверти земного населения три минуты эмоциональной музыки!

Ресторан Лэнки открылся в тот вечер, как и было назначено. Толпа заполняла всю улицу и ломилась до тех пор, пока оставались стоячие места. Хитрый Лэнки установил плату за вход. Стоявшие посетители ничего не

заказывали, и Лэнки не мог допустить, чтобы музыка досталась им бесплатно, даже если они готовы были слушать ее стоя.

В последнюю минуту была произведена только одна замена. Лэнки решил, что посетители предпочтут очаровательную хозяйку старому хозяину с расплюснутым носом, и он нанял Мэриголд Мэннинг. Она изящно скользила по залу, и голубизна ниспадающего платья оттеняла золотистые волосы.

Когда Бак занял свое место за мультикордом, бешеная овация продолжалась двадцать минут.

В середине вечера Бак разыскал Лэнки.

— Дентон что-нибудь предпринял?

— Ничего. Все идет как по маслу.

— Странно. Он поклялся, что мы сегодня не откроемся.

Лэнки усмехнулся.

— У него достаточно своих неприятностей. Власти ему на горло наступают из-за сегодняшней суматохи. Я боялся, что будут обвинять тебя, но обошлось. Дентон включил тебя в программу, он же тебя и отключил, и считается, что виноват он. По моим последним сведениям, «Видеоскоп Интернэйшнл» получил больше пяти миллионов жалоб. Не беспокойся, Бак. Скоро мы услышим о Дентоне, да и о союзах тоже.

— О союзах? При чем тут союзы?

— Союз музыкоделов взъесться на тебя за то, что ты хочешь покончить с коммерсами. Союз текстовиков будет заодно с ними из-за коммерсов и еще потому, что твоей музыке не нужны слова. Союзу исполнителей ты придешь не по вкусу, потому что вряд ли кто-нибудь из них умеет играть хоть немного. К завтрашнему утру, Бак, ты станешь самым популярным человеком в Солнечной системе, и тебя возненавидят все заказчики, все работники видеоскопа и все союзы. Я приставлю к тебе телохранителя на круглые сутки. И к мисс Мэннинг тоже. Я хочу, чтобы ты вышел из этой заварухи живым.

— Ты в самом деле думаешь, что Дентон может...

— Дентон может.

На следующее утро союз исполнителей занес ресторан Лэнки в черный список и предложил всем музыкантам, включая Бака, прекратить с ним всякие отношения.

Музыканты вежливо отклонили предложения и к полудню оказались в черном списке. Лэнки вызвал адвоката — Бак еще не видел человека, который выглядел бы таким скрытым и не внушающим доверия.

— Они должны предупредить нас за неделю, — сказал Лэнки. — И дать нам еще неделю, если мы будем жаловаться. Я им предъявлю иск на пять миллионов.

В ресторан заходил уполномоченный по общественному порядку, затем уполномоченный по контролю за торговлей спиртным. После недолгих переговоров с Лэнки оба с мрачным видом удалились.

— Поздно Дентон зашевелился, — весело сказал Лэнки. — Я был у них обоих на прошлой неделе и записал на пленку наши разговоры. Они не осмелятся действовать.

В этот вечер перед рестораном Лэнки были устроены беспорядки. У Лэнки на этот случай был наготове свой отряд, и посетители ничего не заметили. Произошла стихийная демонстрация против коммерсов, а в манхеттенских ресторанах было разбито пятьсот видеоскопов.

Ресторан Лэнки беспрепятственно закончил первую неделю своего существования. Зал постоянно был переполнен. Заявки на места посыпались даже с Венеры и Марса. Бак выписал из Берлина второго мультикордиста, которого он мог бы обучить, и Лэнки надеялся, что к концу месяца ресторан будет работать по двадцать четыре часа в сутки.

В начале второй недели Лэнки сказал Баку:

— Мы побили Дентона. Я смог ответить на каждый его ход, а теперь мы сами сделаем несколько ходов. Ты опять выступишь по видеоскопу. Сегодня я сделаю заявку. У нас законное предприятие, и мы имеем такое же право покупать время, как другие. Если он нам откажет, я в суд на него подам. Не посмеет он отказать.

— Где ты возьмешь на все это денег? — спросил Бак. Лэнки усмехнулся.

— Сэкономил. И получил небольшую поддержку от людей, которым не нравится Дентон.

Дентон не отказал. Выступление Бака транслировалось прямо из ресторана по всеземной программе, а вела передачу Мэриголд Мэннинг. Сексуальной музыки он не исполнял.

Ресторан закрывался. Усталый Бак переодевался у себя в комнате. Лэнки ушел, чтобы рано утром встретиться со своим адвокатом и поговорить с ним о следующем ходе Дентона.

Бак был неспокоен. Ведь он всего-навсего музыкант, говорил он себе, не разбирающийся ни в юридических проблемах, ни в запутанной паутине связей и влияний, которой Лэнки так легко управлял. Он знал, что Джемс Дентон — олицетворение зла. Он знал также, что у Дентона достаточно денег, чтобы тысячу раз купить Лэнки. Или заплатить за убийство любого, кто стоит у него на дороге. Чего он ждет? Ведь Бак через некоторое время может нанести смертельный удар всей системе коммерсов. Дентон должен это знать.

Так чего же он ждет?

Дверь распахнулась, и к нему вбежала бледная, полуподетая Мэриголд Мэннинг. Она захлопнула дверь и прислонилась к ней. Все ее тело сотрясало от рыданий.

— Джимми, — сказала она, задыхаясь. — Я получила записку от Кэрл — это его секретарша. Она была моей приятельницей. Она сообщает, что Джимми подкупил наших телохранителей, и они собираются нас убить сегодня по дороге домой. Или позволят людям Джимми нас убить.

— Я вызову Лэнки, — сказал Бак. — Беспокоиться не о чем.

— Нет! Если они что-нибудь заподозрят, они не станут ждать. У нас не будет никакой надежды.

— Тогда мы простождемся, пока Лэнки вернется.

— Вы думаете, ждать безопасно? Они же знают, что мы собрались уходить.

Бак тяжело опустился на стул. Это был как раз такой ход, которого он ожидал от Дентона. Он знал, что Лэнки тщательно подбирал людей, но у Дентона достаточно денег, чтобы перекупить любого. И все же...

— Может, это ловушка, — сказал он. — Может, это подложная записка.

— Нет. Я видела, как этот жирный коротышка Халси говорил вчера с одним из ваших телохранителей, и сразу поняла, что Джимми что-то затевает.

Так вот оно что! Халси.

— Что же делать? — спросил Бак.

— Нельзя ли выйти через черный ход?

— Не знаю. Придется пройти мимо по крайней мере одного телохранителя.

— Может, попробуем?

Бак колебался. Она была напугана. Она не владела собой от страха. Но она была более опытна в таких вещах. И она знала Джемса Дентона. Бак никогда не выбрался бы из «Видеоскоп Интернэйшнл» без ее помощи.

— Если вы считаете, что это необходимо,— попробуем.

— Мне надо одеться.

Она осторожно выглянула за дверь и сразу вернулась: страх пересилил стыдливость.

— Нет. Идемте.

Бак и мисс Мэннинг не спеша прошли по коридору к запасному выходу, обменялись кивком с двумя телохранителями, которые сидели наготове, внезапно нырнули в дверь и побежали. Позади раздался удивленный возглас, и ничего больше. Они изо всех сил помчались по переулку, повернули, добежали до следующего перекрестка и остановились в нерешительности.

— Движущийся тротуар в той стороне,— задыхаясь, шепнула она.— Если мы добежим до него...

— Пошли!

И они побежали дальше, держась за руки. Переулок впереди расширялся в улицу. С беспокойством Бак искал глазами флаеры, не догоняют ли, но не увидел ни одного. Он не знал точно, куда они попали.

— Погони нет?

— Кажется, нет. Ни одного флаера, и я никого не заметил позади, когда мы останавливались.

— Значит, мы удрали!

Футах в тридцати от них из рассветных теней вдруг выступил человек. Охваченные паникой, они остановились, а он шагнул к ним. Шляпа была низко надвинута на лицо, но улыбку нельзя было не узнать. Джемс Дентон.

— Доброе утро, красавица,— произнес он.— «Видеоскоп Интернэйшнл» много потерял без тебя. Доброе утро, мистер Бак.

Они стояли молча. Мисс Мэннинг вцепилась в плечо Бака, а ногти ее через рубашку вонзились ему в тело. Он не шевелился.

— Я знал, что ты попадешься на эту маленькую хитрость, красавица. Я знал, что ты уже как раз достаточно

напугана, чтобы на нее поддаться. У каждого выхода мои люди, но я благодарен тебе, что ты выбрала именно этот. Очень благодарен. Я предпочитаю лично сводить счета с предателями.

Вдруг он повернулся к Баку и прорычал:

— Убирайся отсюда, Бак. До тебя очередь еще не дошла. Для тебя я приготовил кое-что другое.

Бак стоял, как прикованный к сырому тротуару.

— Шевелись, Бак, пока я не передумал!

Мисс Мэннинг отпустила его плечо. Ее голос сорвался на прерывистый шепот.

— Уходите! — сказала она.

— Бак!

— Уходите, быстро! — снова шепнула она.

Бак нерешительно сделал два шага.

— Бегом! — заорал Дентон.

Бак побежал. Позади раздался зловещий треск выстрела, крик — и наступила тишина. Бак запнулся, увидел, что Дентон смотрит ему вслед, и снова побежал.

— Так вот, трус, — сказал Бак.

— Нет, Бак, — Лэнки медленно покачал головой. — Ты смелый человек, иначе ты не ввязался бы в это дело. Это не была бы смелость — пытаться что-нибудь там сделать. Это была бы глупость. Виноват я. Я думал, что он прежде всего займется рестораном. Теперь я кое-что должен за это Дентону, Бак, а я из тех, кто платит свои долги.

Обезображенное лицо Лэнки озабоченно нахмурилось. Он как-то странно посмотрел на Бака и почесал свою лысую голову.

— Она была красивая и храбрая женщина, Бак. Но я не понимаю, почему Дентон отпустил тебя.

Трагедия, нависшая над рестораном Лэнки в тот вечер, никак не сказалась на посетителях. Они встретили Бака, вышедшего к мультикорду, громом оваций. Когда он остановился, нерешительно кланяясь, его окружили три полисмена.

— Эрлин Бак?

— Да.

— Вы арестованы.

Бак усмехнулся. Дентон не заставил ждать своего следующего хода.

— В чем меня обвиняют? — спросил он.

— В убийстве.

В убийстве Мэриголд Мэннинг.

Лэнки прижался к решетке печальным лицом и неторопливо заговорил.

— У них есть свидетели, — сказал он, — честные свидетели, которые видели, как ты выбежал из этого переулка. У них есть несколько лжесвидетелей, которые видели, как ты стрелял. Один из них — твой друг Халси, которому как раз случилось совершать свою раннюю утреннюю прогулку по той аллее — во всяком случае, он в этом присягнет. Дентон, наверное, не пожалел бы миллиона, чтобы засадить тебя, но в этом нет нужды. Нет нужды даже в том, чтобы подкупить суд. Настолько чисто дело против тебя.

— А как насчет револьвера? — спросил Бак.

— Его нашли. Конечно, никаких отпечатков. Но кое-кто заявит, что ты был в перчатках, или окажется, что кто-то видел, как ты его обтирал.

Бак кивнул. Теперь он уже был не в силах что-нибудь изменить. Он служил делу, которого никто не понимал, — может быть, он и сам не понимал, что пытался сделать. И он проиграл.

— Что будет дальше?

Лэнки покачал головой.

— Не умею я скрывать плохие вести. Это означает пожизненный приговор. Тебя сошлют на Ганимед в рудники пожизненно.

— Понятно, — сказал Бак. И добавил с беспокойством: — А ты собираешься продолжать наше дело?

— А чего ты, собственно, хотел добиться, Бак? Ты ведь работал не только на ресторан «Лэнки». Я никак не мог в этом разобраться, но я-то был с тобой потому, что ты мне нравишься. И мне нравится твоя музыка. Так чего же ты хотел?

— Не знаю.

Концерт? Тысяча человек, собиравшихся, чтобы слушать музыку? Этого он хотел?

— Музыки, наверное, — сказал он. — Избавиться от коммерсов — или хоть от некоторых из них.

— Да. Да, кажется, я теперь понял. Ресторан «Лэнки»

будет продолжать, Бак, пока я жив. Этот новый мультикордист не так уж плох. Конечно, не то, что ты, — но ведь такого, как ты, больше никогда не будет. Мы все еще не можем удовлетворить все заявки на места. Еще несколько ресторанов покончили с видеоскопом и пытаются нам подражать, но мы далеко впереди. Мы будем продолжать то, что начал ты, а твоя треть дохода будет идти тебе. Ее будут отчислять на твой счет. Ты станешь богатым человеком, когда вернешься.

— Когда вернусь?

— Ну, пожизненный приговор не обязательно означает приговор на всю жизнь. Смотри, веди себя как следует.

— А как же Вэл?

— О ней позаботятся. Я дам ей какую-нибудь работу, чтобы занять ее.

— Может, я смогу посылать тебе музыку для ресторана, — сказал Бак. — У меня будет много времени.

— Боюсь, что нет. От музыки-то они и хотят тебя держать подальше. Так что писать будет нельзя. И к мультикорду тебя не подпустят. Они думают, что ты сможешь загипнотизировать стражу и освободить всех заключенных.

— А мне разрешат взять мою коллекцию пластинок?

— Боюсь, что нет.

— Понятно. Что ж, если так...

— Да, так. Теперь за мной уже второй долг Дентону.

У Лэнки, обычно не склонного к проявлениям чувств, были слезы на глазах, когда он отвернулся.

Суд совещался восемь минут и вынес обвинительный приговор. Бак был приговорен к пожизненному заключению. Хозяева видеоскопа знали, что жизнь в рудниках Ганимеда частенько оказывалась очень короткой.

Среди простых людей все ширерасходилась слух, что этот приговор был оплачен заказчиками и хозяевами видеоскопа. Говорили, что Эрлину Баку пришили дело за музыку, которую он дал народу.

В тот день, когда Бака отправили на Ганимед, было объявлено о публичном выступлении мультикордиста Х. Вэйла и скрипача Б. Джонсона. Вход — один доллар.

Лэнки старательно собрал материал, перекупил одного из подкупленных свидетелей и подал кассационную жа-

лобу. В пересмотре дела отказали. Один за другим тянулись годы.

Был организован Нью-Йоркский симфонический оркестр из двадцати инструментов... Один из роскошных воздушных автомобилей Джемса Дентона разбился, и он погиб. Несчастный случай. Миллионер, который однажды слышал, как Эрлин Бақ играл по видеоскопу, основал десяток консерваторий. Они должны были носить имя Вака, но один историк музыки, который ничего не слышал о Баке, переименовал имя на Баха.

Лэнки умер, и его зять продолжал завещанное ему дело. Была проведена подписка на строительство нового концертного зала для Нью-Йоркского симфонического оркестра, который теперь насчитывал сорок инструментов. Интерес к этому оркестру рос, как лавина, и, наконец, место для нового зала выбрали в Огайо, чтобы туда легко можно было добраться из любой части Североамериканского континента. Был сооружен зал Бетховена на сорок тысяч человек. За первые же сорок восемь часов после начала продажи билетов были разобраны все абонементы на первую серию концертов.

Впервые за двести лет по видеоскопу передавали оперу. Там же, в Огайо, был выстроен оперный театр, а потом институт искусств. Центр рос — сначала на частные пожертвования, потом на правительственную субсидию. Зять Лэнки умер, управление рестораном «Лэнки» перешло к его племяннику вместе с делом освобождения Эрлина Бака. Прошло тридцать лет, потом сорок.

Через сорок девять лет, семь месяцев и девятнадцать дней после того, как Баку был вынесен пожизненный приговор, его помиловали. Ему все еще принадлежала треть дохода самого преуспевающего ресторана в Манхэттене, и капитал, который накопился за много лет, сделал его богатым человеком. Ему было девяносто шесть лет.

Зал Бетховена снова переполнен. Отдыхающие со всей Солнечной системы, любители музыки — владельцы абонементов, старики, которые доживают жизнь в Центре — вся сорокатысячная толпа нетерпеливо колыхалась в ожидании дирижера. Когда он вышел, со всех двенадцати ярусов грянули аплодисменты.

Эрлин Бақ сидел на своем постоянном месте в задних рядах партера. Он навел бинокль и разглядывал оркестр, снова размышляя о том, на что могут быть похожи звуки

контрабаса. Все его горести остались на Ганимеде. Жизнь его в Центре стала нескончаемым потоком чудесных открытий.

Разумеется, никто не помнил Эрлина Бака, музыкодела и убийцу. Уже целые поколения людей не помнили ком-мерсов. И все же Бак чувствовал, что всего этого добился он — точно так же, как если бы он построил это здание и сам Центр собственными руками. Он вытянул перед собой руки, изуродованные за многие годы в рудниках. Его пальцы были расплющены, тело изувечено камнями. Он не жалел ни о чем. Он сделал свое дело как следует.

В проходе позади него стояли два билетера. Один указал на него пальцем и прошептал:

— Ну и тип, вот этот! Ходит на все концерты. Ни одного не пропустит. Просто сидит тут в заднем ряду да разглядывает людей. Говорят, он был одним из прежних музыкоделов много-много лет назад.

— Может, он музыку любит? — сказал другой.

— Да нет. Эти прежние музыкоделы ничего не понимали в музыке. И потом — он ведь совсем глухой.

*Перевод с английского Г. Усовой
под редакцией А. Иорданского*

Артур Кларк

СТЕНА МРАКА

Рассказ

Многочисленны и удивительны миры, плывущие подобно пузырькам пены по Реке Времени. Иные, их очень мало, движутся против или поперек течения; еще меньше таких, что находятся вне его пределов и не ведают ни будущего, ни прошлого. Маленькая вселенная Шервана в их число не входила, ее своеобразие было иного рода. Она насчитывала всего один мир — планету племени Шервана — и одну лишь звезду, великое солнце Трилорн, дающее планете свет и жизнь.

Шерван не знал, что такое ночь, ибо Трилорн всегда парил высоко над горизонтом, спускаясь к нему только в долгие зимние месяцы. Правда, в Стране Вечной Тени каждый год бывала пора, когда Трилорн исчезал за краем планеты и наступала тьма, в которой ничто не могло жить. Но и тогда мрак не был полным, хоть и не было звезд, чтобы его рассеять.

Один в своей маленькой вселенной, вечно обращенный одной и той же стороной к своему одинокому солнцу мир Шервана был последней и наиболее странной причудой творца звезд.

И, однако же, мысли, которые наполняли голову Шервана, когда он глядел на земли своего отца, могли ро-

даться в сознании любого из детей человеческого рода. Он ощущал благоговение, и любопытство, и немного страха, но надо всем преобладало стремление изведать огромный мир, окружающий его. Пока он был слишком юн для этого, но старинный дом стоял на самой высокой на много миль вокруг точке, и во все стороны открывался вид на край, которым ему владеть. Если повернуться лицом на север, к Трилорну, то вдаль можно было разглядеть длинную гряду гор, которые уходили вправо, становясь все выше и выше, пока не терялись в даях за его спиной — там, где начиналась Страна Вечной Тени. Когда-нибудь, став постарше, он пройдет через эти горы, через перевал, что ведет в обширные страны востока.

Слева — всего несколько миль — океан; иногда Шерван слышал даже рокот волн, катящихся на пологий песчаный берег. Никто не знал, как далеко протянулся океан. Корабли выходили в его просторы и плыли на север, но Трилорн все выше поднимался на небе, все сильнее и сильнее становился жар его лучей. И задолго до того, как могучее солнце достигало зенита, кораблям приходилось поворачивать вспять. Так что, если мифическая Огненная Страна и впрямь существует, никому не суждено достичь ее пылающих берегов. Правда, есть легенды, они говорят, будто некогда были быстроходные металлические суда, которые могли пересечь океан наперекор палящим лучам Трилорна и достигали земель на том краю света. Теперь туда можно попасть только после долгого путешествия по суше и по морю, а если пожелаешь хоть немного сократить путь, надо следовать севернее, насколько хватит отваги.

Все обитаемые земли мира Шервана лежали в узком поясе между палящим зноем и нестерпимым холодом. В каждой стране крайний север — это неприступная область, опаленная гневом Трилорна. А к югу от всех государств раскинулась огромная и мрачная Страна Вечной Тени, где Трилорн — всего лишь бледный диск над самым горизонтом, а то и вовсе исчезает из виду.

Все это Шерван узнал в годы своего детства, и в ту пору его не влекло за пределы обширной страны между горами и океаном. Издревле его предки и предшествовавшие им племена упорно трудились, стремясь сделать эти земли самыми прекрасными на свете, и они добились своего — или почти добились. Удивительные цветы украшали сады;

лаская мшистые утесы, тихо журчали потоки, которые вливались в прозрачное, не ведающее приливов море. Поля шелестели колосьями на ветру, словно поколения еще не родившихся семян перешептывались между собой. На просторных лугах и под сенью деревьев, мыча и блея, лениво бродили послушные стада. А еще был большой дом с огромными залами и бесконечными коридорами, который ребенку казался исполинским. Вот в каком мире рос Шерван, какой мир он знал и любил. И то, что находилось за родными рубежами, его пока не занимало.

Но мир Шервана был подвластен времени. Урожай созревал, и хлеб засыпали в амбары; Трилорн медленно плыл по своей короткой небесной дуге; сменялись времена года, крепили тело и дух Шервана. Теперь родной край уже не казался ему таким огромным, горы подступили ближе, и до океана было рукой подать от большого дома. Он начал познавать мир, в котором жил, готовясь исполнить предназначенную ему роль в судьбах этого мира.

Кое-что ему поведал отец, Шервал, но главным наставником был Грейл, который пришел из-за гор в дни отца его отца и воспитал уже три поколения в их роду. Мальчик привязался к Грейлу (хоть было много такого, чему он учился без всякой охоты), и годы детства текли безмятежно. Но вот настала пора Шервану отправиться через горы в соседнюю землю. Много веков назад его род пришел из великих стран востока, и с тех пор в каждом поколении старший сын совершал туда паломничество, проводя год юности среди сородичей. Это был мудрый обычай, потому что в стране за горами еще сохранили память о знаниях, коими обладали древние; к тому же можно было встретить людей из других земель, изучить их обычаи.

Весной того года, когда пришел срок сыну отправляться в путь, Шервал призвал к себе трех слуг, взял несколько животных (назовем их для простоты лошадьми) и поехал вместе с Шерваном в те части родной страны, которых юноша еще не знал. Сперва они ехали на запад, потом, спустившись к морю, много дней следовали вдоль берега. Трилорн заметно приблизился к горизонту, но они продолжали путь на юг, и тени у их ног становились все длиннее и длиннее. И только когда лучи солнца, казалось, вовсе утратили свою силу, путники повернули на восток. До Страны Вечной Тени оставалось совсем немного, и

было бы неразумно ехать дальше на юг, пока не наступило лето.

Шерван ехал рядом с отцом, жадно рассматривая все новые ландшафты с любопытством мальчика, который впервые попал в незнакомую страну. Отец говорил ему о почве, о том, какие злаки можно здесь выращивать, а какие не привьются. Но мысли Шервана были заняты другим — он смотрел туда, где начинались пустынные земли Страны Вечной Тени, пытаясь представить себе, далеко ли она простирается и какие тайны хранит.

— Отец,— заговорил он наконец,— если ехать на юг все прямо и прямо, через Страну Вечной Тени, попадешь на противоположную сторону мира?

Отец улыбнулся.

— Люди много веков задают себе этот вопрос,— сказал он.— Но есть две причины, из-за которых им никогда не узнать ответа.

— Какие причины?

— Во-первых, разумеется, мрак и холод. Даже здесь никто и ничто не может жить зимой. Но есть и более веская причина, хотя Грейл, насколько я понимаю, не говорил тебе о ней.

— Кажется, не говорил, во всяком случае я не припомню.

Шервал помолчал. Привстав в стремях, он обвел взглядом земли, простершиеся к югу.

— Когда-то я хорошо знал эти места,— сказал он наконец Шервану.— Поедем, я тебе кое-что покажу.

Они свернули с тропы и несколько часов ехали спиной к солнцу. Местность постепенно повышалась, и Шерван увидел, что они поднимаются вдоль гребня вершины, которая напоминала кинжал, нацеленный в самое сердце Страны Вечной Тени. Стало слишком круто для их коней, тогда они соскочили на землю и оставили животных на попечение слуг.

— Здесь можно обойти кругом,— объяснил Шервал,— но лезть напрямик быстрее, чем вести коней в обход.

Вершина была хоть и крутая, но не очень высокая, и они за несколько минут поднялись на нее. Сперва Шерван не заметил ничего необычного: та же самая дикая пересеченная страна, только чем дальше от Трилорна, тем мрачнее и суровее.

Он в замешательстве повернулся к отцу, но Шервал поднял руку, указывая на юг, и пальцем отчеркнул линию горизонта.

— Это не сразу рассмотришь, — тихо произнес он. — Мой отец показал мне как раз отсюда, за много лет до того, как ты родился.

Напрягая зрение, Шерван всматривался в сумрак. Небо на юге было темное, почти черное там, где встречалось с краем земли. А впрочем нет, не встречалось: вдоль горизонта, разделяя небо и землю, широкой дугой протянулась полоса еще более густого мрака, черная, как ночь, которой Шерван не знал.

Долго и пристально глядел он на нее, и, видимо, в душу Шервана вкралось предчувствие, потому что угрюмый край вдруг словно ожил, маня его. И когда он наконец оторвал от него взгляд, то — хоть и был слишком юн, чтобы истолковать загадочный зов, — знал: отныне все будет представляться ему иначе.

Так Шерван — впервые в своей жизни — увидел Стену.

Ранней весной он простился с родными и, сопровождаемый слугой, направился через горы в великие страны восточного мира. Здесь Шерван встретил людей одной с ним крови, и здесь он изучил историю своего народа, узнал искусства и ремесла, уходящие корнями в древность, науки, направляющие жизнь людей. В местах учения он завязывал дружбу с юношами, что прибыли из стран, лежащих еще дальше на восток; мало кого из них он мог надеяться увидеть вновь в будущем, но одному суждено было сыграть неожиданно большую роль в жизни Шервана.

Отец Брейлдона был прославленный зодчий, однако сын явно готовился превзойти его. Он путешествовал из страны в страну и неустанно учился, наблюдал, задавал вопросы. И хотя он был всего несколькими годами старше Шервана, но бесконечно больше него знал о мире — во всяком случае, так казалось более молодому.

Беседуя, они весь мир разбирали на составные части и собирали вновь так, как хотелось им. Брейлдон мечтал о городах с широкими проспектами и величественными башнями, которые затмят все чудеса прошлого; Шервана

занимала судьба людей, которым предстояло населять эти города, устройство их жизни.

Они часто говорили о Стене; Брейлдон знал о ней из преданий своего народа, но сам ее не видел. Далеко-далеко на юге, за всеми странами — как в этом убедился Шерван — тянется она подобно могучему барьеру поперек Страны Вечной Тени. Летом можно ее достигнуть, но с превеликим трудом, пересечь же Стену невозможно, и никому не ведомо, что лежит за ней. Сама будто целый мир, сплошная, без единого уступа, стократ выше человека, она пересекает неприветливое море, омывающее берега Страны Вечной Тени. Путники, едва согреваемые последними бледными лучами Трилорна, достигали этих пустынных берегов и видели, как Стена вздымается из воды, равнодушная к волнам, омывающим ее подножье. И на других далеких берегах другие путники видели, как она шагает через океан, смыкаясь в сплошное кольцо в своем кругосветном обхвате.

— Один из братьев моего отца, — рассказывал Брейлдон, — в молодости доходил до Стены. Он побился об заклад и десять дней ехал верхом, чтобы достичь ее. Огромная, холодная, она вызвала в нем страх. Он не мог сказать, из металла она или из камня, и когда он кричал, эха не было, звук голоса затухал, словно Стена его поглощала. У нас есть поверье, что там край света и дальше ничего нет.

— Будь это так, — возразил Шерван очень рассудительно, — океан хлынул бы через край, прежде чем построили Стену.

— А если Стену воздвиг Кайрон, когда сотворил мир? Но Шерван стоял на своем:

— У нас верят, что Стена создана людьми, возможно мастерами времен Первой Династии, они ведь делали такие замечательные вещи. Если у них и вправду были корабли, способные достигнуть Огненной Страны — даже летать! — они, наверное, обладали достаточной мудростью, чтобы построить Стену.

Брейлдон пожал плечами.

— Видимо, у них была на то причина, — сказал он. — Но мы все равно не узнаем ответа, так зачем ломать себе голову?

Шерван уже успел убедиться, что у обыкновенных людей он, кроме этого разумного практического совета, ни-

чего не почерпнет; только мыслителей занимают вопросы, на которые нет ответа. Большинство людей совершенно безучастно относились к загадке Стены, как и к загадке жизни. А философы, коих он встречал, отвечали ему каждый по-своему.

Начать с Грейла, к которому он обратился, возвратившись из Страны Вечной Тени. Старик спокойно поглядел на Шервана и сказал:

— За Стеной, насколько мне известно, кроется только одно: безумие.

Был он и у Артекса, древнего старца, который едва расслышал взволнованный голос юноши. Старец долго смотрел на Шервана из-под опущенных век, чересчур утомленных, чтобы открываться полностью, наконец ответил:

— Кайрон воздвиг Стену на третий день сотворения мира. А что за ней, мы узнаем, когда умрем, ибо туда уходят души умерших.

Однако Ирген, живший в том же городе, сказал совсем иное.

— Только память может ответить на твой вопрос, сын мой. Ибо за Стеной находится страна, где мы обитали до нашего рождения.

Кому верить? Ясно: ответ не известен никому из них. Даже если его когда-то знали, это знание утрачено много веков назад.

Но хотя поиски Шервана были бесплодными, он приобрел немало знаний за год учения. И когда вновь наступила весна, он попрощался с Брейлдоном и другими друзьями, с которыми только-только успел сблизиться, и по древней дороге направился домой, на родину. Опять совершил он трудный переход через высокий перевал в горах, где сверху угрожающе свисали глыбы льда. Дальше Шерван достиг того места, откуда извилистая дорога снова шла под уклон, спускаясь к людям. Здесь было тепло, струились шумные потоки и не перехватывало дыхание от морозного воздуха, и отсюда, с уступа, после которого дорога устремлялась вниз, в долину, открывался вид на предгорья и на равнину, вплоть до мерцающего вдали океана. И там, у края неба, взгляд Шервана различил во мраке смутную тень — его родину.

Он спускался по могучему каменному ребру, пока не достиг моста, перекинутого людьми через теснину еще в

древности, когда землетрясение разрушило единственную в этих горах дорогу. Но мост исчез: весенние бури и лавины снесли одну из могучих опор, и чудесная металлическая радуга обратилась в груды лома, омываемую неистовым пенистым потоком на дне тысячефутовой пропасти. Только к концу лета путь будет открыт опять... Поворачивая обратно, опечаленный Шерван знал, что пройдет еще год, прежде чем он сможет увидеть родной дом.

Долго простоял он на верхнем изгибе дороги, глядя на недостижимую страну, где находилось все, что дорого его сердцу. Но вот сгустившийся туман скрыл ее, и Шерван решительно двинулся к перевалу. Равнина исчезла из виду, снова его со всех сторон обступили горы.

Брейлдон был еще в городе, когда вернулся Шерван; он удивился и обрадовался, увидев друга. Вместе они обсудили, чем заполнить предстоящий год. Родичи Шервана успели привязаться к своему гостю и были только рады ему, однако он холодно принял их совет еще год посвятить учению.

Замысел Шервана постепенно созревал, вопреки всем препятствиям. Даже Брейлдон на первых порах колебался, и понадобились долгие уговоры, чтобы привлечь его на свою сторону. Зато после этого нетрудно было добиться согласия всех остальных, от кого зависел успех.

Близилось лето, когда двое юношей выехали в путь, направляясь в страну Брейлдона. Они торопили коней, потому что путь был долгий и его надо было завершить до того, как Трилорн начнет клониться к горизонту, возвещая приход зимы. Достигнув мест, знакомых Брейлдону, они стали добиваться от жителей кое-каких сведений, и те сперва только кивали, но в конце концов дали точные ответы, и вскоре друзья очутились в Стране Вечной Тени. А затем Шерван во второй раз в жизни увидел Стену.

Когда она предстала их глазам, высясь над пустынной, скудной равниной, то казалось — до нее не так уж далеко. Однако пришлось еще очень долго ехать по равнине, прежде чем Стена заметно приблизилась. Зато потом вдруг оказалось, что они почти у ее подножья; невозможно было оценить расстояние, пока не подойдешь вплотную, так что можно коснуться Стены рукой.

Глядя на черную плоскость, столь сильно занимавшую его мысли, Шерван чувствовал, что она словно нависает над ним, готовая упасть и сокрушить его своей тяжестью.

Лишь с трудом оторвал он взгляд от гипнотического зрелища и подъехал еще ближе, чтобы понять, из чего сложена стена.

Как и говорил ему Брейлдон, она была холодная на ощупь, холоднее, чем можно было ожидать. Не мягкая и не твердая; ее покров каким-то непонятным образом ускользал от осязания. У Шервана было такое чувство, будто что-то мешает ему по-настоящему ощутить поверхность; и однако же он не видел никакого просвета между Стеной и своими пальцами, когда прижимал их к ней. Всего удивительнее была жуткая тишина, о которой рассказывал дядя Брейлдона: каждое слово тонуло, всякий звук затухал с неестественной быстротой.

Брейлдон снял с вьючных коней привезенный инструмент и принялся исследовать поверхность Стены. Очень скоро он убедился, что ни сверло, ни долото не оставляют на ней следа. И Брейлдон заключил то же, что Шерван: Стена не только несокрушима — она неприкасаема.

С досадой взял он наконец совершенно прямую металлическую линейку и приложил ее ребром к Стене. Шерван зеркалом направил на черту соприкосновения отраженный свет тускнеющего Трилорна, а Брейлдон смотрел с другой стороны линейки. Так и есть: чрезвычайно тонкая сплошная полоска света просачивалась между двумя поверхностями.

Брейлдон задумчиво взглянул на друга.

— Шерван,— сказал он,— мне сдается, Стена сделана не из той материи, которая известна нам.

— Тогда, быть может, правы легенды, говоря, что ее никто не строил, что она была создана такой, какой мы ее видим.

— Мне тоже так кажется,— ответил Брейлдон.— Мастера Первой Династии могли решать такие задачи. В моей стране есть очень древние здания, будто разом отлитые из вещества, на котором не заметно никаких следов износа. Будь они черные, а не цветные, я бы сказал, что тот материал очень похож на вещество Стены.

Он убрал бесполезный инструмент и стал устанавливать простой переносный теодолит.

— Если больше ничего не выходит,— сказал он, криво усмехаясь,— то хоть ее высоту определю!

Когда они, возвращаясь, в последний раз оглянулись на Стену, Шерван думал о том, что вряд ли увидит ее

вновь. Больше ничего не выведаешь, остается только забыть свою нелепую мечту когда-нибудь раскрыть ее секрет... А может быть, никакого секрета и нет, может быть, за Стеной снова тянется Страна Вечной Тени, огибая кривизну мира, пока с другой стороны опять не упрутся в Стену. Да, скорее всего так и есть. Но если это так, то зачем она сооружена и кем?

Усилием воли, чуть ли не сердясь, он отогнал прочь эти мысли и пришпорил коня навстречу Трилорну, размышляя о будущем, в котором Стене отводилось не больше места, чем в жизни любого человека.

Итак, два года минуло, прежде чем Шерван смог вернуться на родину. За два года, особенно когда вы молоды, многое забывается, тускнеют даже самые дорогие сердцу образы, и трудно представить их себе отчетливо. Когда Шерван, выехав из предгорий, вновь очутился в стране своего детства, радость смешивалась в его душе со странной печалью. Забыто много такого, что некогда казалось ему навеки запечатленным в памяти...

Весть о возвращении Шервана опередила его, и вот уже он видит вдали скачущих навстречу коней. Он и сам поехал быстрее, надеясь, что это Шервал; оказалось, однако, что кавалькаду возглавляет Грейл.

Шерван остановил коня, как только старик поравнялся с ним. Грейл положил руку юноше на плечо, но отвернулся и заговорил не сразу.

Вот когда Шерван узнал, что прошлогодние бури разрушили не только мост: молния разбила вдребезги его отчий дом. Задолго до назначенного часа все земли, принадлежавшие Шервалу, перешли во владение сына. И не только они: ведь когда пламя пало на большой дом, в нем собрались, по заведенному обычаю, на ежегодную встречу все члены семьи. Так в одно мгновение весь край от гор до океана стал собственностью Шервана. Он оказался самым богатым человеком на памяти людей — и все это богатство Шерван охотно отдал бы за то, чтобы еще раз взглянуть в спокойные серые глаза отца, которого ему не суждено было больше увидеть.

Трилорн уже много раз совершил свой годичный путь в небесах с тех пор, как Шерван на дороге у подножья

гор расстался с детством. Все эти годы страна процветала; земли, что вдруг перешли к Шервану, постоянно росли в цене. Он рачительно управлял ими, и теперь у него снова появилось время мечтать. Больше того, он располагал средствами, чтобы осуществить мечту.

Из-за гор часто доходили вести о работах, которыми руководил Брейлдон в стране на востоке, и хотя друзья юности не встречались, они постоянно обменивались посланиями. Брейлдон достиг заветных целей: не только начертил планы двух крупнейших зданий, воздвигнутых со времен древности, но задумал построить целый город — правда, он не мог рассчитывать, что это будет завершено при его жизни. Слыша все эти новости, Шерван вспоминал мечты своей юности, и мысли его вновь и вновь обращались к тому дню много лет назад, когда друзья стояли вместе перед могучей Стеной. Долго он боролся сам с собой, боясь понапрасну пробудить старые стремления. Но в конце концов решился и написал письмо Брейлдону; ибо что толку от могущества и богатства, если нельзя при их помощи воплотить свою мечту?

И Шерван стал ожидать ответа, беспокоясь: уж не забыл ли Брейлдон о былом за все эти годы, увенчавшие его славой. Ему не пришлось ждать долго. Брейлдон сообщил, что не может прибыть тотчас, нужно довести до конца большие работы, но как только они будут завершены, он приедет. Шерван задал ему достойную задачу — ее выполнение сулило зодчему высшую радость, какую ему когда-либо довелось испытать.

Брейлдон прибыл в начале лета; Шерван встречал его на дороге ниже моста. Они были юношами, когда расстались, теперь уже почти достигли средних лет, и все-таки, приветствуя друг друга, оба чувствовали себя так, словно и не было долгой разлуки, и каждый, глядя на друга, втайне радовался тому, сколь бережно Время коснулось знакомых черт.

Много дней они совещались, обсуждая составленный Брейлдоном план. Замысел был обширнейший, рассчитанный на много лет упорного труда, но вполне доступный для столь богатого человека, как Шерван. Прежде чем сказать последнее слово, он повел друга к Грейлу.

Старик уже несколько лет жил в маленьком доме, который построил для него Шерван. Он давно отдалился от

высших кругов, однако всегда был готов помочь советом, и советы его оставались неизменно мудрыми.

Грейл знал, для чего приехал Брейлдон, и не удивился, когда архитектор развернул перед ним свои чертежи. На самом большом чертеже был намечен профиль Стены, а рядом с ней от подножья возвышалась огромная пологая лестница. В шести местах, разделенных совершенно равным расстоянием, наклонная плоскость переходила в просторные площадки; последняя из них немного не достигала верхней кромки Стены. По всей длине лестницы отходило десятка два аркбутанов, которые сперва показались Грейлу чересчур тонкими и хрупкими. Но затем он понял, что могучее сооружение будет главным образом опираться на собственное основание, а с одной стороны сама Стена примет на себя боковой распор.

Некоторое время он молча разглядывал чертеж, наконец негромко заметил:

— Ты всегда умел настоять на своем, Шерван. Я должен был предвидеть, что кончится этим...

— Значит, ты одобряешь наш замысел? — спросил Шерван.

Он никогда не шел наперекор советам мудрого старца, и на этот раз ему хотелось получить его одобрение. Как обычно, Грейл тотчас схватил суть.

— Сколько это будет стоить?

Брейлдон ответил, на мгновение воцарилась выразительная тишина.

— Сюда входит, — поспешно добавил архитектор, — стоимость хорошей дороги через Страну Вечной Тени и жилищ для работников. Лестница будет сложена из примерно миллиона больших одинаковых кирпичей. Если тщательно подогнать их, получится очень прочно. Я рассчитываю, что сырье для кирпичей мы найдем в Стране Вечной Тени.

Он тихо вздохнул.

— Конечно, я предпочел бы лестницу из соединенных вместе железных брусьев, но это станет еще дороже, ведь придется все железо везти из-за гор.

Грейл изучил чертеж более тщательно.

— Почему вы останавливаетесь, не доходя кромки? — спросил он.

Брейлдон перевел взгляд на Шервана, который ответил с некоторым замешательством:

— Я хочу один ступить на кромку. Последний кусок преодолею на подъемнике, мы установим его на верхней площадке. Один потому, что дальше может оказаться опасно.

Это была неединственная причина, но достаточно веская. За Стеной, как однажды сказал Грейл, человека подстерегает безумие. Если это так, незачем еще кому-то подвергать себя опасности.

Снова заговорил Грейл спокойным, чуть ли не сонным голосом:

— В таком случае твой замысел не назовешь ни хорошим, ни дурным, ибо речь идет о тебе одном. Если Стену соорудили, чтобы от чего-то оградить наш мир, с той стороны все равно ничто не проникнет.

Брейлдон кивнул.

— Мы это предусмотрели,— произнес он не без гордости.

— Если понадобится, лестницу можно мгновенно уничтожить: мы заложили в самых уязвимых местах взрывчатое вещество.

— Хорошо,— ответил старик.— Хотя я и не верю всем этим рассказам, лучше быть начеку. Надеюсь, я еще буду жив, когда вы закончите работу. А теперь попытаюсь вспомнить, что я слышал о Стене, когда был таким же молодым, каким был ты, Шерван, когда впервые спросил меня о ней.

Еще до начала зимы провели дорогу к Стене и начали строить жилища для работников. Большую часть того, в чем нуждался Брейлдон, было легко раздобыть, в Стране Вечной Тени было изобилие всякого камня. Он успел также обмерить Стену и выбрать место для лестницы. И когда Трилорн стал спускаться к горизонту, Брейлдон был доволен своими трудами.

К следующему лету были изготовлены, испытаны и одобрены Брейлдоном первые большие кирпичи; в том же году их сделали несколько тысяч и до зимы начали класть основание. Брейлдон оставил за себя надежного человека и возвратился на родину к прерванным там работам. Когда будет приготовлено вдоволь кирпичей, он придет опять, а до тех пор в его надзоре нет нужды.

Шерван дважды или трижды в год отправлялся верхом к Стене, наблюдал, как вырастают пирамиды готовых кир-

пичей. А через четыре года вместе с ним туда снова приехал Брейлдон. Вдоль Стены поползли вверх ряды кладки, один за другим изогнулись в воздухе стройные аркбутаны. Поначалу лестница росла медленно, но чем уже она становилась, тем быстрее тянулась ввысь. Третью часть года длился вынужденный перерыв, и в тревожные зимние месяцы Шерван не раз стоял возле рубежей Страны Вечной Тени, прислушиваясь к бешеному вою ветра в гулком мраке. Но Брейлдон строил надежно, и каждую весну, оказывалось, что постройка стоит невредимая, точно она готовилась поспорить незыблемостью с самой Стеной.

Последние кирпичи легли на место через семь лет после начала работ. Стоя в миле от Стены, чтобы видеть постройку в целом, Шерван с удивлением думал о том, что все это вышло из нескольких чертежей, которые показывал ему Брейлдон. И он ощутил нечто вроде того, что испытывает художник, воплотив заветный замысел. А еще он вспомнил день, когда мальчиком, стоя рядом с отцом, впервые увидел Стену вдали, на фоне сумеречного неба Страны Вечной Тени.

Верхняя площадка была огорожена, но Шерван не стал подходить к краю. Стараясь не думать о головокружительной высоте, он помог Брейлдону и работникам установить несложный подъемник, который должен был пронести его остающиеся двадцать футов. И когда все было сделано, Шерван стал на платформу и, призвав на помощь все свое самообладание, повернулся к друзьям.

— Я всего на несколько минут,— сказал он с напускной небрежностью.— Что бы я ни нашел, вернусь немедленно.

Мог ли он знать, что у него просто не будет выбора.

Грейл к этому времени уже почти ослеп и не надеялся дожить до следующей весны. Но он узнал приближающиеся шаги и окликнул Брейлдона по имени прежде, чем тот успел заговорить.

— Я рад, что ты пришел,— сказал он.— Я размышлял обо всем, что вы мне говорили, и мне кажется, я теперь знаю истинный ответ. Возможно, и вы его уже угадали.

— Нет,— ответил Брейлдон.— Я боялся об этом думать.

Старик чуть улыбнулся.

— Зачем бояться чего-то лишь потому, что оно необычно? Стена замечательна, спору нет, но в ней ничего страшного для того, кто готов бестрепетно бросить вызов ее тайне. Когда я был мальчиком, Брейлдон, мой старый учитель однажды сказал мне, что время не может уничтожить истину, может только скрыть ее под покровом легенд. Он был прав. Из всех мифов, повествующих о Стене, я извлек теперь зерна истины... Давным-давно, Брейлдон, в пору расцвета Первой Династии, Трилорн давал больше тепла, чем теперь, и Страна Вечной Тени была плодородна и обитаема — какой, возможно, станет Огненная Страна, когда Трилорн еще состарится и потускнеет. В то время никакая Стена не преграждала людям путь на юг. И многие, видимо, шли туда в поисках новых земель. А там с ними происходило то же, что произошло с Шерваном, и у людей мутился рассудок. Число жертв было так велико, что ученые Первой Династии воздвигли Стену, чтобы обуздать безумие. Мне-то это кажется неправдоподобным, но легенды утверждают, будто Стена была создана в один день, без применения труда, из облака, которое опоясало весь мир...

Грейл впал в задумчивость, и Брейлдону не хотелось ему мешать. Мысленно он перенесся в далекое прошлое, и собственный мир представился ему в виде парящего в космосе шара, вдоль экватора которого сгушался созданный Древними обруч мрака. И хотя этот образ был неверен в самом главном, Брейлдон после так и не смог совершенно стереть его в своей памяти.

По мере того, как уходили вниз последние футы Стены, Шервану пришлось собрать все свое мужество, чтобы не закричать: «Спускайте обратно!» Вспомнились страшные рассказы. Некогда он встречал их смехом, ибо в его роду не было суеверных — но вдруг они окажутся правдой, вдруг Стена и впрямь создана для того, чтобы скрыть от мира нечто ужасное?

Шерван попытался выбросить из головы подобные мысли — ему это удалось, когда он поднялся над верхней кромкой Стены. В первый миг Шерван никак не мог осмыслить картины, представшей его глазам, затем он понял, что перед ним непрерывная черная поверхность, но протяженность ее определить было невозможно.

Подъемник остановился; Шерван с восхищением отметил, сколь точны были расчеты Брейлдона. А затем, еще раз сказав напоследок что-то успокоительное ожидающим внизу, он ступил на Стену и решительно зашагал вперед.

На первый взгляд плоскость казалась бесконечной, он не мог даже различить, где она смыкается с небом. Однако Шерван продолжал упорно идти вперед, обратившись спиной к Трилорну. Жаль, что нельзя узнать направление по собственной тени: она терялась во мраке под ногами.

Что-то не так, отметил Шерван, с каждым шагом кругом все темней и темней... Встревоженный, он обернулся назад и увидел, что диск Трилорна стал бледным и мутным, точно он смотрел на него через закопченное стекло. Но это еще не все: с нарастающим чувством тревоги Шерван понял, что *Трилорн меньше того солнца, которое он знал всю жизнь.*

Он сердито, упрямо потряхнул головой. Вздор, игра воображения. Все это настолько не отвечало всему его жизненному опыту, что страх каким-то образом исчез, и Шерван, еще раз оглянувшись на солнце, решительно пошел дальше.

Но когда Трилорн обратился в точку, и Шервана со всех сторон обступил густой мрак, пришла пора отбросить притворство. Более рассудительный человек тут бы и повернул обратно; Шерван, словно в кошмаре, увидел себя затерявшимся в вечном сумраке между землей и небом, бессильным одолеть обратный путь — путь к безопасности. Затем он вспомнил, что куда хоть немного виден Трилорн, ему ничто не грозит.

Уже не так бодро Шерван продолжал путь, поминутно озираясь на едва приметный свет. Диск Трилорна скрылся, на его месте осталось лишь слабое зарево в небесах. И вдруг исчезла надобность в этом маяке: далеко впереди виднелся на небосводе другой свет.

Сперва Шерван уловил чуть заметное, неверное сияние, и когда он удостоверился, что это не обман зрения, Трилорн окончательно погас. Но теперь он уже чувствовал себя увереннее. С каждым шагом свет становился ярче, и его страхи поумерились.

Когда он увидел, что идет навстречу другому солнцу, когда стало совершенно очевидно, что оно растет, как не-

задолго перед тем уменьшался Трилорн, Шерван заставил себя не удивляться. Сейчас — только наблюдать, запоминать. Осмысливать он будет потом. В конце концов можно же представить себе, что в его мире два солнца, каждое из которых освещает свою сторону мира.

Наконец Шерван сквозь мрак различил черную линию, обозначающую край Стены. Скоро он будет первым за много тысяч лет, если не вообще первым человеком, который увидит страну, отделенную Стеной от его мира. Так ли она прекрасна, как его родина, есть ли там люди, встреча с которыми принесет ему радость?..

Мог ли он предвидеть — кто и как его будет ждать!

Грейл протянул руку к шкафу и нащупал рукой большой лист бумаги, лежащий сверху. Брейлдон молча ждал; старик снова заговорил:

— Как часто все мы слышим суждения о протяженности вселенной, есть ли у нее границы! Космос представляется нам бесконечным, однако наша мысль восстает против представления о бесконечности. Некоторые философы предположили, что космос ограничен кривизной в некоем высшем измерении. Ты, конечно, слышал об этой догадке. Она верна, быть может, для других вселенных, если они существуют, для нас же ответ более прост. *Вдоль линии, обозначенной Стеной, Брейлдон, наш мир кончается — и не кончается.* Пока не воздвигли Стену, не было рубежа, не было ничего, что мешало бы идти вперед. Стена — барьер, созданный человеком и наделенный свойствами среды, в которой он расположен. Эти свойства всегда существовали, Стена не внесла ничего нового.

Он поднял лист бумаги вверх и медленно повернул его.

— Вот, — сказал он Брейлдону, — плоский лист. У него, разумеется, две стороны. *Можешь ты представить себе лист без двух сторон?*

Брейлдон удивленно воззрился на него.

— Это невозможно... смехотворно!

— Так ли? — мягко произнес Грейл.

Он еще раз протянул руку к шкафу, взял из ящика длинную полоску бумаги и обратил невидящий взгляд на молчаливо ожидающего Брейлдона.

— Мы не можем сравниться умом с людьми Первой Династии, но что они понимали прямо, мы можем постичь

сопоставлением. Простой фокус, по видимости такой ненаучный, поможет тебе приблизиться к пониманию.

Он провел пальцами вдоль бумажной полоски, затем соединил ее концы так, что получилось замкнутое кольцо.

— Ты видишь нечто очень знакомое тебе — часть цилиндра. Я провожу пальцем с внутренней стороны... вот так. Теперь с наружной стороны. Две отдельные поверхности, перейти с одной стороны на другую можно только через толщину полоски. Согласен?

— Разумеется, — подтвердил Брейлдон, все еще озадаченный. — Но что это доказывает?

— Ничего, — ответил Грейл. — Однако смотри теперь...

Шерван сказал себе, что новое солнце — двойник Трилорна. Мрак совершенно рассеялся, и у него уже не было необъяснимого ощущения, будто он идет по бесконечной плоскости.

Шерван пошел медленнее, ему вовсе не хотелось вдруг очутиться на краю головокружительного обрыва. А затем на горизонте показались низкие холмы, такие же голые и бесплодные, как те, которые он оставил позади. Это его не обескуражило: ведь первое впечатление от собственной страны было бы не более отрадным.

И Шерван продолжал идти. Вдруг словно ледяная рука сжала его сердце, но он не остановился, как поступил бы на его месте менее храбрый человек. Полный прежней решимости, смотрел он на потрясающе знакомый ландшафт впереди... Вот и равнина, откуда он начал свое восхождение, вот огромная лестница, и вот, наконец, озабоченное лицо ожидающего его Брейлдона.

Грейл снова соединил вместе концы бумажной полоски, но сперва один раз перекрутил ее.

— Проведи теперь пальцем, — тихо сказал Грейл.

Брейлдон не стал этого делать, он и без того понял, что подразумевает старый мудрец.

— Я понимаю, — произнес он. — Больше нет двух отдельных плоскостей. Теперь — одна сплошная поверхность, *односторонняя плоскость*, хотя на первый взгляд это кажется совершенно невозможным.

— Да, — мягко ответил Грейл. — Я так и думал, что ты

поймешь. *Односторонняя плоскость*. Может быть, тебе теперь ясно, почему в древних религиях так распространен символ перекрученной петли, хотя смысл ее был совершенно утрачен. Разумеется, это всего-навсего грубая, упрощенная аналогия, пример в двух измерениях того, что на деле существует в трех. Но это наибольшее приближение к истине, на какое способен наш разум.

Последовала долгая, задумчивая тишина. Грейл глубоко вздохнул и повернулся к Брейлдону, будто все еще мог видеть его лицо.

— Почему ты возвратился прежде Шервана? — спросил он, хотя отлично знал ответ.

— Мы вынуждены были сделать это, — печально произнес Брейлдон, — но я не мог смотреть, как разрушают мое творение...

Грейл сочувственно кивнул.

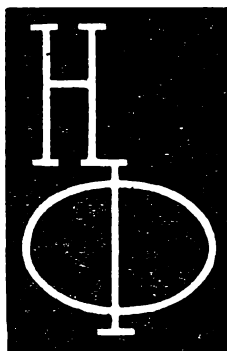
— Понимаю...

Шерван скользнул взглядом вверх вдоль длинной череды ступеней, по которым не суждено было больше ступать никому. Ему не в чем упрекнуть себя: он сделал все, никто на его месте не добился бы большего. Он победил, насколько тут вообще можно говорить о победе.

Он медленно поднял руку, подавая знак. Стена поглотила взрыв, как поглощала все звуки, но Шерван на всю жизнь запомнил неспешную грацию, с какой длинные пролеты кладки надломились и рухнули вниз. На миг ему с мучительной отчетливостью представилось странное видение: другая лестница, на глазах у другого Шервана, распадается на такие же обломки по ту сторону Стены.

Но он сам понимал, сколь нелепа эта мысль: ибо кто лучше него мог знать, что у Стены нет другой стороны.

Перевод с английского Л. Жданова



Альманах
научной
фантастики
выпуск 3

СОДЕРЖАНИЕ

О. ЛАРИОНОВА	
Леопард с вершины Килиманджаро	3
Г. ГОР	
Ольга Нсу	162
И. ВАРШАВСКИЙ	
Предварительные изыскания	181
А. ШАЛИМОВ	
Концентратор гравитации	197

ЗАРУБЕЖНАЯ ФАНТАСТИКА

Л. БИГГЛ	
Музыкадел	215
А. КЛАРК	
Стена Мрака	259

Составители Е. БРАНДИС,
В. ДМИТРЕВСКИЙ

Редактор Г. МАЛИНИНА
Рисунок на обложке Л. ЗОБЕРН
Художественный редактор Л. МОРОЗОВА
Технический редактор Л. АТРОЩЕНКО
Корректор В. КАЗАКОВА

Сдано в набор 14/IV 1965 г. Подписано к печати
17/VII 1965 г. Изд. № 104. Формат бумаги
84×108¹/₁₆. Вум. л. 4,375. Печ. л. 8,75. Условн.
печ. л. 14,35. Учетно-изд. л. 14,51. А01263.
Цена 58 коп. Тираж 115 000 экз. Заказ № 2514.

Опубликовано: Темплан 1965 г. № 18,

Издательство „Знание“. Москва, Центр, Новая
пл., д. 3/4.

Первая Образцовая типография имени
А. А. Жданова Главполиграфпрома Государствен-
ного комитета Совета Министров СССР по печати.
Москва, Ж-54, Валовая, 28.

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

*Просим отзыв об этой книге
и свои предложения присылать
в издательство «Знание» по
адресу:*

*Москва, Центр, Новая пло-
щадь, дом 3/4.*

